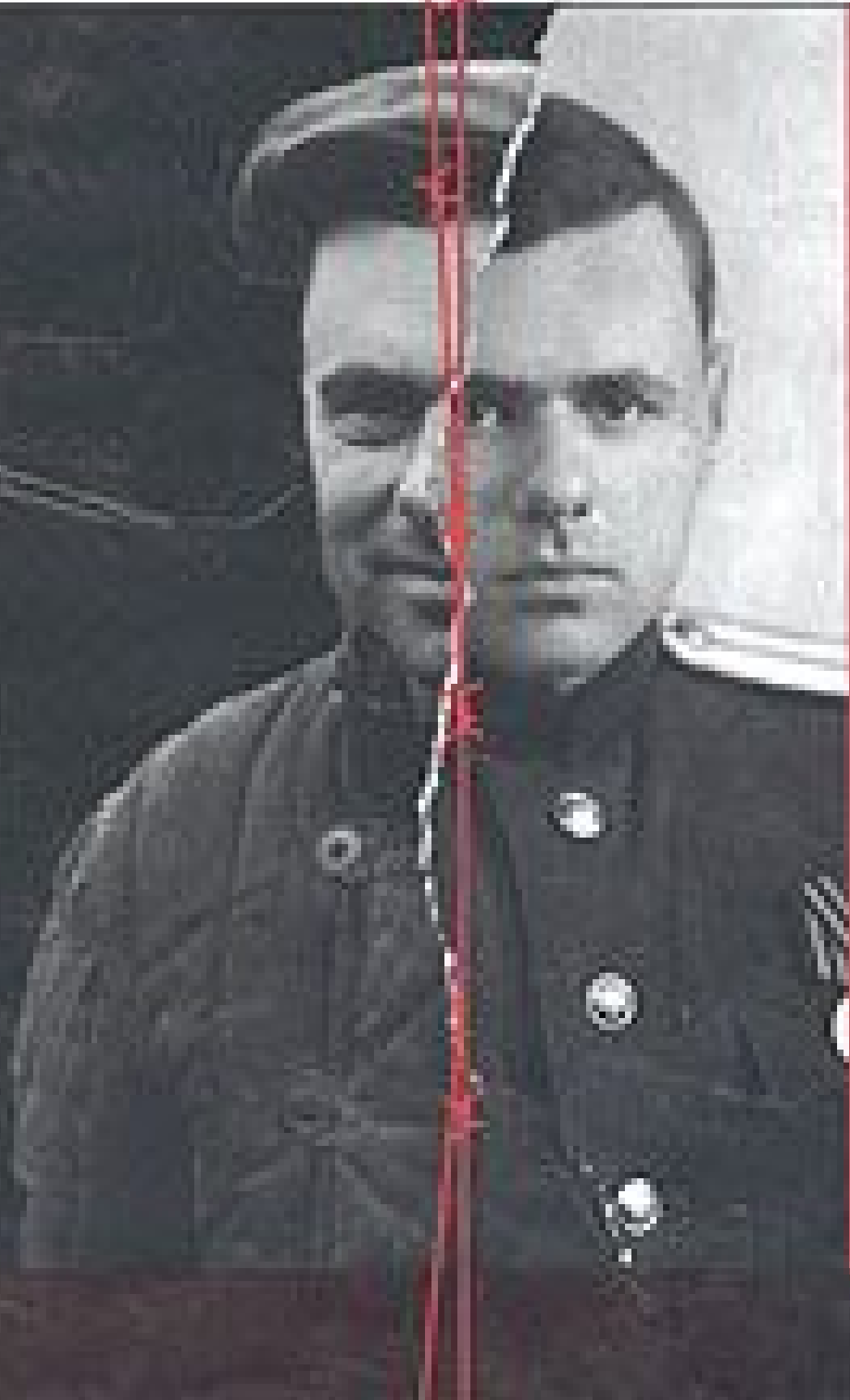


Исаак Фильштинский

МЫ ПЛАТАЕМ ПОД КОНВОЕМ



ЛЕНТА.РФ



Фильштинский Исаак Моисеевич

Мы шагаем под конвоем

Фильштинский Исаак Моисеевич — филолог-востоковед, автор нескольких книг по истории арабской литературы, многочисленных вступительных статей к различным памятникам этой литературы, а также их переводов, в настоящее время профессор Московского университета. Он родился в 1918 году в Харькове, в 1941 году окончил исторический факультет ИФЛИ, был призван в армию и направлен на военный факультет Института востоковедения (позднее — Военный институт иностранных языков). В апреле 1949 года И. Фильштинский, работавший тогда преподавателем Военного института, был арестован. Первый следственный год он провел в тюрьмах на Лубянке и в Лефортово, а затем отбывал свой десятилетний срок по статье 58,10 в Каргопольлаге, в Архангельской области, до пересмотра дела в 1955 году. Любопытный, наблюдательный, склонный к психологическому анализу и обобщению молодой ученый впитывал разнообразные впечатления, которые в изобилии поставляла лагерная жизнь. В после лагерные годы бдительные стражи режима не оставляли И. Фильштинского без внимания.

За участие в правозащитной кампании 1968 года он подвергался всякого рода преследованиям и в частности был отстранен от своего любимого дела — преподавания (до этого он читал в МГУ ряд курсов по истории арабской литературы и культуры, руководил научной работой студентов и аспирантов), а в 1978 году у него на квартире был проведен обыск с изъятием «крамольной» самиздатской литературы, после чего тогдашний директор Института востоковедения АН СССР Е. М. Примаков счел за лучшее уволить «компрометировавшего» его сотрудника. Однако И. Фильштинский продолжал работать и публиковать свои труды по арабистике. В 1989 году он отвлекся от своих научных занятий, чтобы написать книгу о лагерном опыте, созревавшую в его сознании на протяжении многих лет. Рассказы И. Фильштинского можно назвать беллетризованными воспоминаниями. Тонкое понимание человеческой психологии и глубокое сострадание к своим соотечественникам по лагерю сочетается в них с аналитическим мышлением и мягким юмором. Это лагерь глазами интеллигента и вместе с тем живого участника всего происходящего.

Основная тема книги — лагерь, а через него и вся наша жизнь как трагический абсурд. Рассказы И. Фильштинского разнообразны и по тематике, и по тону, и по построению: среди них есть и структурированные новеллы о судьбах или событиях, и зарисовки отдельных сцен, часто комических, или скорее трагикомических. Автора интересуют не ужасы лагерной жизни — их в книге практически нет, — а раскрытие человеческой природы в экстремальных и нелепых условиях. Пестрая амальгама рассказов и зарисовок И. Фильштинского, обрамленных авторским введением и эпилогом и объединенных личностью и судьбой автора, которому он скромно отводит в своем повествовании лишь периферийное место, складывается в целостную картину, рисующую лагерную жизнь в совершенно новом ракурсе, — и это существенно отличает книгу И. Фильштинского от всей известной нам до сих пор

лагерной прозы.

Жене и другу Анне Рапопорт посвящается

Мой лагерь

О советских репрессиях и лагерях много пишут и говорят, горькую тему эту нелегко исчерпать. Слишком густо вплетена она в общественную память, слишком неразрывно срослась с историей нашего отечества. Однажды я оказался свидетелем своеобразного социологического эксперимента: в собравшейся в одном московском доме компании заговорили о прошлом, и выяснилось, что примерно из трех десятков человек восемь побывали в местах заключения, у семерых погиб кто-то из родителей, а у многих других близким родственникам довелось хлебнуть тюремной и лагерной похлебки. Из моих тридцати двух соклассников по средней школе в разное время было арестовано пятеро, причем двое из них погибли в лагере. В результате лагерная мораль, психология и лексика прочно вошли в быт всех слоев общества. Даже в детских садах дети научаются выражаться по-лагерному. Как-то я прогуливался с женой по университетскому парку на Ленинских горах, рядом, на стадионе, студенты играли в футбол, сопровождая чуть ли не каждый удар по мячу смачным лагерным сленгом, весьма странно звучащим на фоне величественного здания цитадели науки.

Лагерный срок заключенные проходили по-разному — одних непосильные испытания сломили, другие сумели их вынести, а третьи прошли свой путь сравнительно благополучно. Это зависело от многих причин: от статьи срока, местонахождения, психофизических данных, наконец, от возраста. И все же судьбы зека во многом между собой схожи, почти подобны. Несмотря на это, как и во всякой экстремальной ситуации, опыт каждого по-своему уникален.

Мне сравнительно повезло — я провел в тюрьмах и в лагере всего шесть лет, с 1949 по 1955 год. О своем лагерном опыте я не жалею: лагерь помог мне проверить свои возможности и избавил от многих заблуждений.

Я узнал, что булки на деревьях не растут и что очень многие из так называемых «всемирно-исторических достижений», о которых всю мою предшествующую жизнь бубнили институтские профессора, пресса, радио, кино и театр, часто результат нечеловеческого труда миллионов рабов-заключенных. Телами их вымощены и колымские золотые прииски, о которых писал В. Т. Шаламов, и Караганда, и Печора, и Инта, и Норильск, и Воркута и другие бесчисленные лагеря по всей стране.

Меня в лагерной жизни спасало два обстоятельства — сравнительно молодой возраст, и, как это ни покажется читателю этих строк странным, любопытство, интерес к жизни. В повести американского писателя Сэлинджера «Над пропастью во ржи» героя беспокоит судьба уток, плавающих летом в пруду, в холодное время года. Его мучает вопрос: «Куда деваются утки зимой?» На протяжении многих лет, еще в школе, когда арестовывали родителей моих соучеников, а потом и их самих, в московской коммунальной квартире, откуда в ночную пору увозили людей, о чем утром шепотом сообщала отцу мать, в институте, когда то и дело

исчезали профессора и студенты, а на комсомольских собраниях прорабатывали и исключали детей «врагов народа», и я сам чудом избежал ареста, наконец, в армии, я все время задавал себе вопрос: куда же девались эти люди, так таинственно уходившие в небытие в ночную пору? В их виновность я никогда не верил и с детских лет прекрасно понимал ложь обвинений и неестественность так называемых признаний на публичных процессах, но не мог объяснить себе причину творившейся вокруг сатанинской жестокости.

Я знал одну даму, весьма нацеленную на карьеру, в доме у которой на всех семейных торжествах первый бокал поднимали за здоровье Сталина. Выходя с партийного собрания в весьма почтенном учреждении, на котором сотрудникам зачитали доклад Хрущева на XX съезде партии, она воскликнула: «Какой ужас!» — «А ты что, раньше обо всем этом не знала?» — с раздражением ответила ей коллега. «Что-о-о, — заорала дама на весь служебный коридор, — а ты знала и молчала?» Она, как и всегда, оказалась права и чиста, а все вокруг виноваты. Разумеется, все она, как и многие другие, прекрасно знала, но страх, карьерные соображения, надежда, что их минует чаша сия, заставляли людей надевать на глаза черные очки и затыкать уши ватой, дабы отогнать крамольные мысли, которые, если иметь мужество додумать их до конца, должны были подвинуть порядочного человека на столь опасное противодействие злу.

Так вот, куда же деваются утки? Сидя на Лубянке и в знаменитой, недоброй памяти Лефортовской тюрьме, путешествуя в столыпинском вагоне и видя вокруг себя в лагере тысячи людей, я, наконец, узнавал судьбу своих предшественников, сам двинувшись по Дантову кругу.

Судьба оказалась ко мне милостива. Я не попал ни в Колымские лагеря, ни на страшную 501-ю стройку железной дороги, которая по чьему-то нелепому замыслу должна была пересечь всю северную часть Сибири. Лагерь, в котором я оказался, был рядовой, в нем отбывали срок от 20 до 30 тысяч человек. По нормам ГУЛага он был столь незначителен, что в предназначенном для служебного пользования справочнике вообще не значился. Он входил в систему ГУЛПа (подразделение ГУЛага — Главное управление лагерей лесной промышленности). На многочисленных отдельных лагерных пунктах — ОЛПах — заключенные валили лес, который подвозили с лесоповальных ОЛПов на лесопильный завод, выпускавший пиломатериалы для авиационной, автомобильной, вагоностроительной и других отраслей промышленности, а также шахтовку для угольных разработок, шпалы, мебель и вообще все, что делается из дерева. На этом лесопильном заводе я провел большую часть срока своего заключения. Но у нашего лагеря была одна особенность — в него свозили из других лагерей и колоний тех, кто совершил какое-либо внутрилагерное преступление (убийство, грабеж, поджог и т. п.). Поэтому через расположенную на нашем ОЛПе пересылку проходил специфический человеческий материал.

Но в основном заключенные в моем лагере мало чем отличались от людей, живших в то время на воле. В нем были представлены разнообразные социальные и национальные группы и профессии, в нем отбывали срок за все виды перечисленных в уголовном кодексе того времени преступлений, действительных или мнимых. Люди были, как и на воле, хорошие и плохие, храбрые и малодушные, осторожные и отчаянные, образованные и полуграмотные. Свообразие их состояло лишь в том, что, оказавшись в пограничной ситуации, они более отчетливо проявляли как хорошие, так и плохие стороны своей натуры. Все жили друг у друга на виду и представляли отличный предмет для наблюдения психолога и социолога. Здесь было над чем поразмыслить. В своих записках я не претендую на всестороннее описание лагерной жизни. Я лишь хочу на конкретных примерах, в живых картинах поделиться некоторыми наблюдениями — результатом моего личного опыта в том виде, в каком он утвердился в моей памяти, в надежде, что в своей совокупности рисуемые мною эпизоды и отдельные личные характеристики дадут читателю представление о рядовом, обычном, не слишком страшном и трудном, но отнюдь и не слишком легком лагере моего времени.

Превращения

Я познакомился с ней случайно. Сравнительно еще теплым осенним утром нашу бригаду вывели на работу, но не погнали сразу, как обычно, на лесопильный завод, а остановили перед вахтой женской зоны. В те годы кое-где в лагерях еще сохранялись порядки военного и послевоенного времени, и запрет на всяческие контакты заключенных мужчин и женщин действовал не столь строго. В тех же случаях, когда на производстве была потребность в дополнительной рабсиле, лагерная администрация не спешила строго следовать правилам, и женские бригады часто выводились для работы вместе с мужчинами. Вот и на этот раз небольшую группу женщин присоединили к нашей бригаде, и, перемешавшись, общая колонна двинулась на завод. Бригада состояла почти исключительно из старых лагерниц-уголовниц, все они имели знакомых среди зека-мужчин и сразу почувствовали себя в нашей колонне среди своих.

Она испуганно оглядывалась по сторонам. Мрачный облик и жадные, ищущие взгляды изголодавшихся по женщинам старых лагерников, откровенно и хищно оглядывавших вновь прибывшую и отпускавших по ее адресу скабрзные шутки, — все это могло внушить страх кому угодно. Картину дополняла одежда заключенных: ушанки двадцать пятого срока, которые порой не снимались все лето, рваная обувь. Особенно неприглядны были грязные бушлаты или телогрейки с торчащими из дыр во все стороны кусками обгорелой ваты. Во время работы в лесу повсюду горят костры, ватные бушлаты легко загораются от разлетающихся искр и вата тлеет часами, так что в бушлатах образуются большие дыры, с обгорелыми бурыми разводами по краям. Вдобавок, заметив испуг женщины, бригадный остряк «мора» (так обычно именовались в лагере цыгане), сверкая черными глазами, сдвинувши для устрашения шапку набекрень так, что шнурок от нее сползал на глаза, стал медленно пробираться к ней через толпу.

В эти дни я находился в карантине, особой внутрилагерной зоне, потому что и сам прибыл в лагерь недели за полторы до этой встречи. Я не успел получить обычное лагерное обмундирование, на мне были шинель и офицерская шапка, в которых я проходил все месяцы следствия на Лубянке и в Лефортово. Поэтому моя внешность заметно отличалась от облика старых зека, что, по-видимому, и побудило молодую женщину сделать попытку пробиться ко мне через толпу. Я уловил ее робкий, испуганный взгляд и, приблизившись к ней, спросил:

— Недавно с воли?

— Вчера этапом из тюрьмы.

— Где вы сидели?

— В Москве, на Малой Лубянке (следственная тюрьма московского МГБ) и в Бутырках.

— Пятьдесят восьмая?

— Да, пятьдесят восемь, пункт десять, пять лет.

В это время колонна двинулась, мы пошли рядом, и женщина рассказала свою по тем временам достаточно банальную историю. Ей двадцать шесть лет, она художница, работала

по оформлению каких-то выставок, была замужем, у нее есть ребенок, мальчик трех лет. В Бутырках следователь ей сообщил, что муж вскоре после ее ареста подал на развод, а сына взяла на воспитание мать мужа. О ребенке она ничего не знает. Сидит потому, что что-то сказала подруге-художнице, а та донесла «куда надо». А еще в 37-м году арестовали отца, заведующего закрытой столовой, его обвинили в намерении отравить каких-то начальников, которых потом самих арестовали и расстреляли. А теперь вот и она созрела для ареста, и ей, дочери врага народа, легко было пришить, как и отцу, террористические намерения. Но следователь оказался сочувствующим и добрым человеком и посадил ее по статье «за антисоветскую агитацию» всего лишь на пять лет. «Следователь меня спас, — сказала моя новая знакомая, — он мне объяснил, что, если я признаю свои разговоры с подругой, отпадет статья о терроре и меня не расстреляют».

«Ох уж эти добряки-следователи», — подумал я, но разочаровывать ее не стал, ведь коль скоро она попала в тюрьму, ей все равно было не миновать лагерного срока.

Всю дорогу, испуганно оглядываясь, женщина, в нарушение конвойных правил, держала меня под руку. К счастью, путь до лесопильного завода был не столь уж долог, и конвой не обратил на нас внимания. В заводской зоне женщин отделили от мужчин, поставили на штабелевку досок и для порядка назначили им в качестве охраны одного солдата.

Когда после окончания рабочего дня бригады стали собираться у заводской вахты, ожидая, чтобы их отконвоировали в жилую зону, моя новая знакомая, отыскав меня в толпе, немедленно ухватила за мою руку. Окружающие нас работяги сочувственно гоготали: «Ишь, только приехал, а уже бабу...»

Во время работы моя новая знакомая получила наглядный урок лагерных нравов. Не прошло и десяти минут, как то одна, то другая женщина незаметно удалялась, а спустя десять-пятнадцать минут возвращалась, получив тут же, за штабелями, порцию мужской ласки от случайных встречных из числа заводских работяг. Вернувшись в бригаду, искательницы земных радостей спешили поделиться пережитым с товарками, не пренебрегая в своих рассказах самыми интимными подробностями.

Некоторые отправлялись за штабеля по многу раз, ибо, как они говорили: «Когда еще дорвешься до мужского...» И сетовали на одинокую бабью долю в лагере. Обо всем этом молодая женщина рассказывала сбивчиво и взволнованно.

Надо сказать, что положение мое в это время было не из легких. Месяцы тяжелого следствия в Лубянской и Лефортовской тюрьмах сделали свое дело, а после рабочего дня на спортплощадке (мы ее называли спортплощадкой), где с семи утра и до шести вечера приходилось стаскивать с непрерывно движущегося конвейера шестиметровые доски, «пятидесятку» и «дюймовку», и укладывать их по сортам в пакеты (так называемые сани), я еле волочил ноги. На роль доблестного и бесстрашного защитника женщин и угнетенных я в это время едва ли тянул, но тем не менее те полторы недели, в которые женскую бригаду выводили на лесозавод, я неизменно шел на работу и с работы в сопровождении своей дамы и терпеливо выслушивал ее рассказы о прошлой жизни, о детстве, которое выглядело в ее освещении вполне лучезарным, о бросившем ее муже и оставленном ребенке, о том, каково ей жить среди солагерниц-уголовниц и как страдает она от царящего вокруг разврата и цинизма.

Тюрьмы и лагеря то сводят людей в одной камере или зоне, то разлучают их по капризу следователей или администрации, и часто им больше не суждено встретиться. Поэтому я нисколько не удивился, когда однажды бригаду моей случайной знакомой перестали выводить на завод, а через некоторое время женскую зону близ нашего лагпункта вообще ликвидировали. Всех женщин перевели на другие подразделения лагеря, отдельные лесопо-вальные пункты которого тянулись вдоль железнодорожной ветки на десятки

километров. И, как это всегда бывало при исчезновении встреченных в мутном потоке лагерной жизни людей, я напрочь забыл о своей спутнице.

Шло безрадостное лагерное время, и вот однажды, года через три после нашей первой встречи, мою бригаду гнали с работы в зону. Это был летний, относительно для Севера жаркий день, темнело в это время года довольно поздно, и в седьмом часу солнце еще светило вовсю. По дороге мы должны были пересечь полотно железнодорожной ветки, и тут я увидел возле шлагбаума одинокую женскую фигуру. По внешнему виду было легко определить, что это бесконвойница. Администрация лагеря постоянно нуждалась в индивидуальном труде заключенных, например, для вывозки из леса пиловочника, для работы на железной дороге и на других объектах. Вместе с тем она была не в состоянии обеспечить всех единичных заключенных конвоем. Поэтому на подобные работы назначали осужденных на небольшие сроки или отсидевших большую часть срока зека, которым выдавали пропуск, позволявший в определенные часы и по строго определенному маршруту передвигаться за пределами зоны без конвоя. Бесконвойники были привилегированной частью лагерников. Они имели возможность заработать немного денег, купить за зоной кое-что из еды, в том числе и спиртное, а при некоторой ловкости обеспечить себе и «личную жизнь».

Женщина у шлагбаума была одета в новенькую телогрейку, аккуратно подогнанную по росту и фигуре, с щегольским воротничком, на голове у нее вместо традиционного лагерного, сшитого из портяночного материала капора был берет, а на ногах вместо лагерных ботинок туфли. Я бы не обратил на нее внимания, если бы один щеголеватый, одетый в красную рубаху блатнячок из нашей колонны неожиданно не окликнул ее по имени. Женщина ответила, и между собеседниками начался обычный в среде уголовников короткий диалог, состоявший из блатного жаргона, матерной брани и псевдолюбовных откровенностей. Из непродолжительного обмена репликами можно было понять, что переговаривавшиеся состояли раньше в любовной связи, но ныне парня законвоировали за какие-то режимные провинности. Женщина обещала в рабочее время пробраться на лесозавод, где для их свидания можно было найти подходящую «заначку». Вся их речь, обильно пересыпанная непристойными шуточками, свидетельствовала о прочной и длительной связи женщины с уголовным лагерным миром. Во время короткой остановки перед шлагбаумом конвоиры также приняли живое участие в беседе, сообщив ей особую остроту и пикантность угрозами устроить чете свидание, отправив возлюбленных вместо «заначки» в штрафной изолятор. Казалось, конвоиры наслаждались этой потехой и отводили душу, цинично сквернословя.

Я пригляделся к женщине и узнал в ней мою старую знакомую художницу. За прошедшие годы она растолстела, лицо приняло грубое и даже вульгарное выражение, брови были по лагерной моде выщипаны и наведены карандашом, а щеки покрывал довольно толстый слой белил и румян. Вдруг ее беспокойно прыгающий и ищущий взгляд скользнул по колонне и встретился с моим. Она сразу замолкла, и сквозь белила и румяна проступили красные пятна. Несколько секунд она молчала, а затем, выпалив в адрес ухажера целую тираду непристойностей, отвернулась и быстро зашагала, почти побежала прочь от колонны. Нас погнало дальше, и женщина скрылась из виду.

Прошло еще два года. Я работал тогда на заводе, на бирже готовой продукции, стал опытным бракером по лесу, перешел в категорию «придурков» и заведовал отгрузкой готовой пилопродукции, которую в соответствии с сортностью и спецификациями отправляли с завода в разные концы страны. В мои обязанности входило также выдавать отходы лесопильного цеха на топку местным жителям, большая часть которых состояла из работников лагерного управления, вольнонаемных, офицеров охраны и надзирателей-сверхсрочников, получивших в поселке жилье.

Однажды на лесобиржу пришел человек средних лет и предъявил наряд на машину дров. Мы разговорились. Он оказался инженером-путейцем, бывшим заключенным набора 37-го года,

лишенным права покинуть район лагерного поселка. Мой собеседник работал по найму на строительстве железнодорожной внутрилагерной ветки, которая отходила от основной магистрали Москва — Воркута в глубь Архангельской области по мере того, как вокруг вырубался лес и основывались новые лагпункты. Он спросил о моей специальности и, узнав, что до войны я принимал участие в археологических экспедициях, поинтересовался, знаком ли я с работой геодезиста. Разумеется, в этом деле я ничего не понимал, но уж очень был велик соблазн переменить участь, во мне сработал комплекс старого лагерника, который всегда все умеет делать, и я ответил на его вопрос утвердительно.

— Нам на строительстве ветки нужен бесконвойный геодезист для прокладки трассы. Я попытаюсь добиться для вас расконвоирования, — сказал он.

Незнакомец оказался человеком слова, и месяцев через шесть я действительно получил пропуск. Однако администрация завода не отпустила меня, тогда уже хорошо освоившего специальность мастера леса, на строительстве железной дороги, и я продолжал работать на лесобирже, но уже в качестве бесконвойного.

Как-то из-за очередной неурядицы с подачей порожняка для погрузки пиловочника начальник лесобиржи, вольняшка, послал меня в местное управление товарной станции для каких-то «выяснений». Я зашел в контору и вздрогнул от неожиданности. За большим конторским столом не сидела, а восседала с надменным видом моя старая знакомая. Она была одета, как мне, старому лагернику, тогда показалось, по последней столичной моде. Так, во всяком случае, я, возможно по неведению, оценил ее кастрюлевидную шляпу и платье выше колен. Она отчитывала диспетчера-заклученного за неверную адресовку вагонов на какую-то лесоповальную точку.

— Ты, что, — грозно кричала она, — хочешь залететь еще на червонец? Это я могу тебе сделать!

Потом она мельком взглянула на меня и, по лагерной телогрейке признав во мне зека, грубо спросила:

— А тебе что надо?

Я вежливо объяснил причину своего визита и, подучив отрицательный ответ от большого начальства на все претензии заводской лесобиржи, понял, что беседа окончена. Я уже собирался, как бы мы сказали, откланяться и приоткрыл дверь, чтобы выйти, как вдруг во мне проснулось какое-то злое озорство. Я вернулся и сказал:

— А ведь мы с вами когда-то встречались! Вы меня не узнаете?

— Почему же, узнаю. Вы — доходяга, я вас встретила в первый день.

— Вы, что ж, освободились?

— Да, как видите.

— И замуж вышли?

— Да!

— А кто же ваш муж?

— Заместитель начальника лагеря по режиму, майор Л. Моя собеседница говорила все это спокойно, с чувством собственного достоинства и с сознанием того, что ныне она надежно защищена в жизни. Майор Л. был хорошо известной в лагере фигурой. Это был злой и жестокий человек, начавший свою карьеру простым надзирателем еще в 30-е годы, на его

совести было много жертв. Ходили слухи, что в прошлом он лично осуществлял лагерные расстрелы.

Говорить с ней мне было не о чем, и я вновь направился к выходу, но уже в дверях еще раз оглянулся и на секунду замер от неожиданности. На меня смотрели широко открытые глаза, полные безграничной тоски, и, как мне почудилось, в них что-то блеснуло. Это продолжалось одно мгновение. Взгляд снова стал спокойным и жестким, подбородок выдвинулся вперед и обрел квадратную форму, губы плотно сжались в ниточку. Я повернулся к двери и, больше не оглядываясь, вышел из конторы.

Семья

Я работаю на окорке шпал, то есть срезаю с них кору. Шпала укладывается концами на два сбитых из дерева козла, и я с помощью струга — заточенной пластинки, на концах которой закреплены деревянные рукоятки, энергичными движениями на себя сдираю верхний слой древесины. Сперва я очищаю одну сторону шпалы, затем переворачиваю ее и очищаю другую. Болят и горят руки. Хотя я работаю в рукавицах, ладони покрылись ссадинами, а кое-где выступила кровь.

Всего одна неделя прошла с тех пор, как меня привезли в лагерь, и я еще числюсь в карантине. Но тем не менее нас выгоняют на работу — завод не выполняет план, и надо спешно подготовить шпалы для отправки. Кроме меня, на эту работу поставили еще нескольких заключенных, и я вижу, как где-то в отдалении маячат фигуры двух других моих сотоварищей по карантину. За многие месяцы пребывания в тюрьме я ослаб и изголодался. Рабочий день на заводе продолжается одиннадцать часов. Во время небольшого перерыва нам привозят жидкую кашу из плохо вываренной пшеницы без жиров, и я с жадностью ее поедаю.

Норма на окорку большая — за смену я должен зачистить сорок шпал, сложить их в штабель и убрать образовавшийся мусор. Прошла уже большая часть рабочего дня, а я с утра закончил только седьмую. Обессиленный, я присел рядом со своей продукцией. С грустью взираю на груды лежащих поодаль неокоренных шпал.

Шагах в десяти от меня сидит на бревне какой-то паренек и изредка бросает на меня несколько недоуменный взгляд. Он тоже прибыл в карантин недавно. По виду это мелкий воришка, которых в карантине немало. Пареньку можно дать лет семнадцать. Он небольшого росточка, худенький, с правильными чертами лица, на котором еще сохраняется юношеский румянец, с красивыми серыми глазами и чудной копной светлых, цвета соломы, волос, пряди которых выбиваются из-под маленькой кепочки, лихо заломленной на затылок. Паренька можно было бы назвать красивым, если бы не глубокий свежий шрам, начинающийся у подбородка и протянувшийся по всей щеке, делающий его старше своих лет. Белая, не первой свежести рубаха надета поверх брюк. Он разут, и его голые загорелые ноги покрыты толстым слоем пыли.

Паренек подходит ко мне.

— Покурить есть?

У меня с собой махорка, и я, радуясь предлогу на некоторое время уйти от работы, вынимаю пачку, и мы курим.

— Небось, из Москвы? Политик?

— Да.

— Пятьдесят восьмая, пункт десять. Разговорчики?

Я улыбаюсь проникательности паренька.

— Из ученых! Ну я так и знал! Я по лагерям вашего брата много повидал. Люди все хорошие, честные, не ругаются, не то что мы, ворье.

Паренек подымает с земли струг и, осмотрев его, говорит:

— Плохо заточен. Ну ладно, попробую. Он подходит к лежащей на козлах шпале, делает какое-то едва уловимое движение, и тут происходит чудо. Струг легко, как по маслу, скользит по шпале, снимая ровным слоем кору, которая длинными тонкими полосками падает на землю. Проходит несколько минут, и одна сторона шпалы очищена от коры. Паренек переворачивает шпалу, и вот уже зачищена и другая сторона. Паренек скидывает шпалу и кладет на козлы новую. Я с изумлением смотрю на происходящее чудо. В какие-то пятнадцать-двадцать минут паренек делает то, над чем я бьюсь более двух часов.

— Как это у тебя получается?

— Да просто. Тут главное — хорошо наточить струг и направить его. Я ведь здешний, архангельский, деревня наша километров двадцать отсюда будет. У меня и братеня здесь, в лагере, надзирателем служит. С малых лет мы всей семьей в лесу работаем.

— Ну, а свою работу ты как, уже выполнил?

— Я! — паренек даже хмыкнул от злости. — Чтобы я на начальничка работал, да еще в карантине?! — Паренек замысловато, по-лагерному, выматерился. — Я этот лес не сажал, почто пилить его буду?! Просто вижу, мучаешься ты с этим, — он ткнул пальцем в сторону шпал, — жалко стало, вот я и помог. Срок у меня не очень большой, верно, расконвоируют и возчиком пошлют. Ну это еще куда ни шло. А там посмотрю, что делать.

— Ты, что ж, вор в законе?

— В законе, не в законе, но особо рогами упираться не буду. Пусть начальничек упирается. Я ведь третий срок тяну. Первый раз в четырнадцать лет в колонию попал, потом опять в колонию, а сейчас вот сюда прислали. Дали за карман четыре года как рецидивисту. Ну, да не впервые.

— А что у тебя за свежий шрам на щеке?

— Да на пересылке в Вологде одна сука меня бритвой резанула. Чуток выше — и глаз бы вытек. Ну, ничего, обошлось.

Удивительно милая, почти детская улыбка осветила лицо паренька, и он, неожиданно поднявшись, зашагал куда-то в сторону лесоцеха.

Вечером в карантине мы перебросились еще несколькими словами, а утром паренька взяли на этап. Во время вечерней переключки по формулярам я услышал его фамилию — Красношерстов, которая прочно засела в моей памяти.

Прошло несколько лет. Я работал тогда в бригаде лесо-биржи. Как-то я оказался свидетелем необычного зрелища: на телеге с раздвинутыми осями, запряженной худой, только кожа да кости, лошадежкой, в лагерных бушлате и кепчонке, приехал какой-то худенький старичок. Он восседал на двух шестиметровых бревнах. Приехавший вручил заведующему лесобиржи, также заключенному, какую-то бумагу. Заведующий велел старику отвезти бревна к

сортировочному бассейну лесоцефа и сбросить их в воду.

— А документик? — забеспокоился старик.

— Не нужно документа, не обманем тебя, — сказал, улыбаясь, заведующий.

— Вы уж меня, старика, не обидьте! — униженным, просительным голосом сказал старик и повез бревна к бассейну.

Оказывается, жившие в лесу обитатели архангельских сел и деревень не имели права рубить и пилить лес для своих нужд. Если кто-либо нуждался для своего хозяйства в нескольких досках, он должен был получить специальное разрешение, чтобы срубить с ведома лесничего несколько деревьев, и другое разрешение на распиловку этих деревьев на лесопильном заводе. Наш завод, перемалывавший сотни кубометров пиловочника в сутки, должен был выдать взамен привезенных бревен несколько досок соответствующей кубатуры.

Мужик сбросил свои бревна в бассейн и вернулся к нам на биржу за досками. Он страшно боялся, что его обманут и не отдадут положенного. Бедняга так привык к тому, что его везде обманывают и мучают, что и здесь ожидал подвоха.

Заведующий биржей поручил мне отпустить старику доски. Оформляя документы, я случайно взглянул на фамилию: Красношерстов.

— Уж не твой ли сынок был у нас в карантине несколько лет тому назад? — спросил я.

— Он, он, — забормотал наш гость, — сидит тут недалече, еще годик остался. Два сыночка у меня, один сидит, а другой тут в охране служит. Школу МВД кончил, лейтенант.

Я почувствовал, что старик не знает, каким способом лучше заслужить мое благорасположение. С одной стороны, видно, я заключенный и, следовательно, должен сочувствовать отцу зека, а с другой стороны — хоть и маленькое, но начальство — выдаю доски, а стало быть, должен ублажить отца лейтенанта. Но тут подоспело время обеда, и я пригласил мужика в курилку.

Надо сказать, что, по лагерным понятиям, наша бригада на бирже жила неплохо. Заслуга в этом принадлежала дневальному лесобиржи, пожилому человеку из Подмосковья, некоему Ивану Ивановичу, в прошлом хозяйственному работнику, получившему по указу «за расхищение социалистической собственности» высшую меру, замененную ему на двадцатипятилетний срок заключения. «Решили продлить мне жизнь», — грустно острил семидесятилетний старик. Человек хозяйственный и расторопный, он организовал быт нашей бригады, варил из чего попало на печке в курилке обед, и мы на работе всегда были сыты. Где-то он доставал крупу и картошку, а кому-то из дома присылали сало и консервы. Вот и в этот день наш Иван Иванович соорудил в огромном котле жирную и густую затируху, в которой плавали кусочки сала и мяса, и вся бригада собралась в курилке, ожидая обеда. Привел я и старика.

Лагерники, особенно уголовники, — народ беспощадный, многолетняя жизнь в заключении не делает человека добрее. Работяга-мужик, с точки зрения жулья, — существо глупое и жалкое, имущество которого воры имеют право изъять на том основании, что они «щедрые, широкодушные и им ничего не жалко». Все это, конечно, вымысел любителей чужой собственности, которым иногда хочется иметь моральное оправдание их доблестной профессии. Вот и на этот раз старик стал объектом насмешек, особенно когда выяснилось, что сын его служит в охране. Однако бедняга терпеливо и безропотно сносил все, что ему говорилось, всячески желая добиться благорасположения работяг в надежде, что они его не обидят с пиломатериалом.

В это время на биржу привезли на лесовозе пакет досок, и я отправился «отоваривать» старика. Я помог ему погрузить на телегу доски, объем которых в несколько раз превышал то, что ему полагалось. Радости его не было предела, он только что не плакал.

Между тем подросла похлебка Ивана Ивановича, все сели за стол. Налили миску и нашему гостю. Он съел одну тарелку, ему налили другую, он съел одну пайку хлеба, ему сунули еще один ломоть — он и его умял. Старик был доволен, он даже как-то вдруг помолодел. Выяснилось, что он вовсе не стар, — ему оказалось чуть больше пятидесяти лет. Он постепенно отошел от сковывавшего его страха и стал рассказывать о своей жизни. Работал в колхозе, причем за свой труд почти ничего не получал, а жил с небольшого участка возле дома, который обрабатывал в праздники и по ночам, а в зимнее время немного промышлял охотой и рыбной ловлей. В общем, кое-как перебивался и не всегда был сыт.

— А ты к нам в лагерь переходи, — зло острили работяги, — будешь всегда накормлен по норме и одет по сезону!

— Братишки, — вдруг прорвало старика, — я и сам иногда об этом думаю, так эта жизнь надоела. Да старуху как же одну оставить?!

— Ну а сын-то твой, лейтенант, тебе хоть помогает? — спросил кто-то.

— Да что вы, братцы, сын, сын. Я его три года как в глаза не видел, — со злобой сказал старик, — он говорит, что мы с Сашкой его копромитируем. Дескать, в семье уголовник, а он с преступным миром войну ведет. Вот ведь какие дела.

Постепенно насмешки над стариком как-то сами по себе прекратились. На всех, видно, произвел впечатление его рассказ. Да и зрелище того, с какой жадностью он ест, явно оказало свое влияние. При всей своей черствости лагерники хорошо понимали, что такое чувство голода. Все как-то присмирели, а один изрек:

— Да-а-а, житуха!

Сытый и довольный, старик уехал, увозя свои доски.

В народе существует множество поговорок типа «гора с горой не сходятся, а человек с человеком всегда сойдутся» или «тесен мир». И действительно, для законченного представления о семье Красношерстовых мне не хватало третьего, и он, наконец, появился.

Однажды к нам на биржу пожаловал красивый, стройный и молодцеватый блондин, старший лейтенант. Он был одет в хорошо пригнанный новенький китель с розовыми погонами. Все пуговицы горели золотым огнем, а сапоги были начищены до такого блеска, что, казалось, в них можно смотреться вместо зеркала. Кожаная портупея и кобура с пистолетом придавали ему лихой, воинственный вид. Он предъявил справку о том, что строит в поселке дом и нуждается в пиломатериалах, с визой-приказом начальника лагеря, предписывавшего лесобирже выдать ему требуемое. В документе стояла уже знакомая мне фамилия. Подкатила и машина, на которую мы начали грузить доски. Старший лейтенант суетился, с пристрастием опытного бракера осматривая каждую доску и отбрасывая ту, в которой находил малейший брак. Он прикрикивал на нас, грузчиков, но при этом на его губах блуждала знакомая мне семейная улыбка. Он заставил нас полностью перегрузить машину, дабы вторично осмотреть получаемый пиломатериал.

— Хоть табачком угости, начальничек, — пропел один из зека.

Наш гость в ответ только пожал плечами.

Во мне проснулась злость. Я подошел к нему и громко, так, чтобы слышали все

присутствовавшие, сказал:

— А ведь я имел случай познакомиться с вашим младшим братцем и бабушкой. Очень симпатичные люди. Братишка ваш тут работал со мной в одной бригаде, на заводе, а бабушка приезжал за досками, жаловался, что вы его совсем позабыли, не посещаете. А ведь он живет тут недалеко, можно было бы и навестить старика!

Эффект от моего заявления намного превзошел мои ожидания. Лицо нашего гостя утратило все свое самодовольство и перекопилось. Можно было подумать, что ему пришлось откусить что-то ужасно горькое. Он посмотрел на меня с ненавистью, явно имея намерение к чему-либо придраться, но оснований для этого в моих словах не было. Тогда он, ничего не ответив, круто повернулся и быстро зашагал по направлению к вахте. Уже погруженная к этому времени машина последовала за ним.

Так завершилось мое знакомство с семейством Красношерстовых.

Художник

Мой новый сосед по нарам оказался тихим, спокойным и молчаливым человеком. Мы почти не разговаривали, и я, предпочитая в то время оставаться один на один со своими мыслями, был этому только рад. Недавно перед этим умерла моя мать, о чем я догадался по некоторым косвенным признакам, ибо отец, щадя меня, о ее смерти не писал. В то время осуждение человека на десять лет не без основания воспринималось как смертный приговор, мать не смогла перенести потерю единственного сына и ушла в небытие без явных признаков какой-либо определенной болезни. Тяжелый быт также не благоприятствовал человеческому общению. Изнурительная работа и недостаточное питание подтачивали силы, и я был рад, когда мне по возвращении в зону удавалось взгромоздиться на верхние нары в самом дальнем от входа углу и забыться в смрадном воздухе узкого барака, где помещалось более сотни заключенных.

Уголовники — народ весьма наблюдательный, их профессия способствует развитию внимания к окружающему. И хотя сосед вроде бы не проявлял ко мне большого интереса, он был, по-видимому, полностью в курсе моего несложного быта. Как-то он углядел меня стоящим в толпе зека в столовой с миской в руках, и вид мой показался ему достаточно красноречивым. В 1949 году голода в лагере в точном смысле этого слова уже не было, но, конечно, на казенной кормежке при работе в лесу или на лесопильном заводе прожить было нелегко. Он подошел и спросил:

— Есть хочешь?

— Да, — ответил я.

— На, возьми, — сказал сосед и протянул мне миску, доверху полную кашей.

При виде такого богатства я остолбенел.

— А как же ты? — растерявшись, спросил я. Сосед только махнул рукой.

— Я здесь не обедаю.

Вечером в бараке я впервые поговорил с Сергеем «за жизнь».

— У тебя чая нет? — спросил он.

Иметь чай в лагере запрещалось, так как уголовники изготавливали нечто вроде слабого наркотического снадобья — чифирь — чайный напиток очень высокой концентрации, и я, естественно, решил, что ему нужна целая пачка.

— Есть, но только всего на одну, обычную заварку.

— Я не чифирию. Просто люблю побаловаться чаем. Сергей сбегал на кухню за кипятком, и, устроившись на верхних нарах по-турецки, друг против друга с кружками в руках, мы повели неторопливую беседу. Уголовники любят покрасоваться и рассказывать о своих былых профессиональных подвигах разные небылицы, но в данном случае речь зашла совсем о другом.

— Мне на кухне повар даст все, что я пожелаю, я для этих обормотов делаю карты.

Я заинтересовался.

Усмехнувшись, мой собеседник извлек из-под матраца папку с листами ватмана, обрывок какого-то журнала, палочку с резинообразным наконечником, чем-то смазал наконечник, поколдовал над ним, прижал палочку к журнальному листу и к вырезанному квадратику ватмана и через минуту, как фокусник, протянул мне бумагу с оттиском, ничем не отличающимся от типографского. Затем он сделал несколько карандашных штрихов, и на бумаге появился бородастый король с короной на голове, скипетром в одной руке и булавой в другой. Это была настоящая игральная карта, ее оставалось только раскрасить.

— Вообще-то мне это все не нужно, я в нашу столовую не хожу, ем на заводе. Мне вольные приносят все, что надо, — сказал он.

— А что у тебя там еще в папке?

— Да так, всякая ерунда.

— Может, покажешь?

Сергей вновь вытащил папку и небрежным жестом выкинул из нее целую пачку карандашных набросков на ватмане. Это были странные портреты с вытянутыми снизу вверх или растянутыми справа налево лицами, как в зеркалах комнаты смеха. Рисунки походили на нечто среднее между дружеским шаржем и карикатурой. Приглядевшись, я стал узнавать тех, кого художник пытался изобразить. Это были обитатели нашего барака, причем отличительные черты каждого из них были гипертрофированы до предела. Но более всего меня поразило то, с каким мастерством Сергей передал внутренний облик своих персонажей. На меня смотрели характерные для уголовного мира лица с маленькими лбами, выдающимися массивными челюстями, жестким взглядом слегка прищуренных глаз. Портретист как бы увидел их изнутри, и в трактовке были одновременно и ирония, и сочувствие. Мне стало ясно, что передо мной настоящий художник. Недостаток технических навыков и знаний Сергей компенсировал своеобразным, вполне сложившимся, очень личным видением мира.

— Ты кому-нибудь показывал свои рисунки?

— Да, показывал, — как-то вяло и равнодушно ответил Сергей.

Эпически неторопливо он начал свое повествование:

— Волжанин я, из-под Саратова, родился в деревне. Образование какое, сам знаешь, сельская школа. Уж я и не помню, когда начал рисовать. Наши деревенские смеялись: не

похоже, а я все рисовал и рисовал.

Призвали в армию, а как отслужил — приехал в Москву, хотел поступить в художественное училище. Пришел, показал рисунки. Какой-то хмырь в очках посмотрел и говорит: «Ты же не реалист», — и опять их вечно: «Не похоже». А я ведь точно знаю, что именно у меня все очень похоже. Но по-настоящему я это только потом понял. А другой еще говорит: «Это ты под влиянием Модильяни». А я об этом художнике в то время и слыхом не слыхал. Словом, меня даже до экзамена не допустили. Походил я в Москве по музеям и выставкам. Ну и рисовал, конечно. А тут еще женился, и ребенок народился. А у меня, да и у жены ни прописки московской нет, ни жилья. Так мы и скитались, снимали комнату, а у одной бабки просто угол. На окраине города это было. Я ей и дрова колол, и воду таскал. А зарабатывал тем, что афишки для кино рисовал. Там один запойный пьяница числился, а я, так сказать, был при нем вроде субарендатора. Как-то привел ко мне дружок, так же, как и я, вольный художник, знатока. Посмотрел тот мои картины, поохал и отвалил мне сразу за все тысячу рублей. По тем временам хватило их нам, конечно, ненадолго. Но жить надо, деньги во как были нужны. А у меня руки хорошие, дружки говорили — золотые. Тут попалась мне книжечка про заграничных преступников. Детектив. Я вообще-то эту литературу особо не жалую. Дома обычно жена читала. А тут как-то не спалось, я и схватил. И надоумила меня эта книжка сделать одно дельце. Только нужен был для этого чистый паспорт.

Сергей на минуту замолчал, задумался, что-то припоминая.

— Съездила жена к себе на родину, в Малоярославец. Пришла в милицию, дескать, потеряла паспорт. Ну, конечно, сунула кому надо. Помуржили малость и выдали новый. Я взял старый, смыл все, что там про нее было записано. Для этого пришлось с химией повозиться, новой специальностью овладел. Вписал туда чужие имя и фамилию, и все другое. Приехал в Куйбышев. По поддельному паспорту положили в разных сберкассах по сто рублей на аккредитив. Тут я попрактиковался немного и овладел ремеслом, у меня это хорошо получается. Были аккредитивы по сто рублей, стали по тысяче. Все там было честь по чести, даже водяные знаки в порядке — не придерешься. Сели мы в самолет — ив Тбилиси. Проехали по сберкассам, сняли по тысяче и в Крым. Там и засели. Я рисую, жена с сыном пляжата. Очень мне эта вольная жизнь показалась. Я до денег особо не жаден, однако свободу ценю. Жили скромно, но рано или поздно, сам знаешь, всякие деньги приходят к концу. Тут мы в новый рейд, на этот раз на Урал и в Сибирь. А потом снова в Крым. Так лет шесть жили. Там бы я и по сей день горя не знал. Жена мне друг, меня понимает и сочувствует. И всегда говорила: «Ты, Серега, главное, рисуй, а о жизни меньше думай, как-нибудь проживем».

Но заскучал я в Крыму без выставок и музеев. Ведь все это только в Москве и в Ленинграде. Стал я теребить жену — переедем да переедем. Ладно, перебравшись в Москву, снова поселились у бабки. А тут жена забеременела. Присмотрел я одну старушку, договорился за полсотни в месяц, чтобы приходила жене помогать, стирать там, готовить. А ты наш народ знаешь. Все друг за дружкой следят и все завидуют. Сидят кумушки у ворот и обсуждают: «Нигде не работает, а живет хорошо и еще прислугу заимел!» Кто-то стукнул, за мной и пришли. А потом и жену взяли. Предъявили мне мои аккредитивы, ну, может быть, одну десятую, остальное не раскопали. Сам знаешь, как они работают. Экспертиза была, прижали, и я раскололся. А жена в несознайку, она за меня горой. Дали нам очную ставку. А я так подумал: жена ждет ребенка, и ее скоро, как мамку, и так могут отпустить, а мне все равно сидеть. Зачем же ее зря мучить? Я ей знак дал, дескать, говори. Ее, и верно, вскорости отпустили, а мне вот двадцать лет отвалили по указу. Да я и здесь не пропаду, работаю слесарем в ремонтно-механических мастерских. Для вольных делаю то одно, то другое — копейка всегда есть, и жратья принесут. Одно лишь плохо, рисовать нет условий.

Сергей умолк.

Я подумал: а что, если бы приемная комиссия художественного училища не мерила бы столь жестко искусство начинающих художников-абитуриентов соцреалистическим аршином и проявила бы большую широту вкусов и отзывчивость? Может быть, не сидел бы сейчас передо мной на нарах мошенник, а на выставках висели бы картины оригинального художника?

Мы пьем чай в притихшем бараке. Порой кто-то вскрикивает и сквозь сон что-то бормочет. Заключенные спят беспокойно, по ночам часто кричат — все то, что днем таится в подсознании, вылезает наружу. Душно. Мы оба страдаем от духоты. Поэтому у меня с Сергеем тайный уговор: всякий раз ночью, когда один из нас выходит из барака, мы, возвращаясь, оставляем дверь настежь открытой. Вот и сейчас я выхожу проветриться. На улице сорок пять градусов. Клубы холодного воздуха пробиваются сквозь спертый воздух, и на несколько минут становится легче дышать. Потом кто-либо из спящих у двери просыпается от холода, встает, ругаясь, и закрывает дверь. За ночь мы повторяем эту операцию несколько раз.

Игрок

Первая лагерная зима 1949–1950 годов была для меня особенно тяжелой. Я не имел профессии, которая могла бы в лагере пригодиться, и меня гоняли по разным общим работам с места на место «пилить, носить, тащить, толкать» и т. д., словом, куда только не придет в голову нарядчику. Вообще, в лагере были три-четыре специальности, которые могли избавить заключенного от порой непосильных работ и создать ему не только более или менее приемлемые условия существования, но даже в какой-то мере стать источником обогащения. Я, конечно, оставляю в стороне такую, к сожалению, не слишком дефицитную «профессию», как служба у «кума», которая могла обеспечить привольное житье даже при полном отсутствии какой-либо специальности. Для осведомителей предназначались должности дневальных в бараках, пожарников, кладовщиков и т. п., на которых можно было кантоваться. Впрочем, эта служба была не только не приемлема для уважающего себя человека по моральным соображениям, но и не всегда безопасна. Человек, скомпрометировавший себя доношением или даже подчас несправедливо заподозренный в этом, рисковал однажды стать жертвой упавшего бревна на погрузке или другого «несчастливого случая». Перспективными были профессии врача, в крайнем случае фельдшера, бухгалтера-экономиста, инженера, иногда — парикмахера. Мне, филологу-востоковеду, в лагере, естественно, ничего не светило.

В середине зимы бригадир лесоцеха на лесопильном заводе определил мне работать наколыщиком на сортировочном бассейне. «Это самая легкая работа», — сказал он. Однако меня сразу же насторожило то, что никто из старых зека на эту работу особенно не рвался.

Близ лесопильного цеха был вырыт котлован в форме прямоугольника, примерно 150 метров в длину и 30 метров в ширину, над которым были навешены деревянные мостики. Образовавшийся бассейн был заполнен водой, причем в зимнее время сюда подавали горячую воду с электростанции. Прибывавшие с лесопильных лагпунктов железнодорожные вагоны с пиловочником около бассейна разгружали, а бревна сбрасывали в воду. В воде же их и сортировали, промерзшие бревна отмокали и, попав на пилораму, не так сильно тупили пилы.

На сортировочном бассейне работали четыре человека, вооруженные длинными баграми. Один из бригады подгонял плоты с бревнами к сортировщику, другой, сортировщик, разворачивал их тонким концом в направлении бревнотаски, а комлем в обратном

направлении и в соответствии с выпиливаемым ассортиментом, строго по диаметру, досылал их двум наколыцникам, которые «накальвали» их на непрерывно движущиеся бревнотаски, доставляющие бревна в цех на пилорамы.

Поскольку в ту зиму в Архангельской области стояли устойчивые морозы в сорок-сорок пять градусов, над бассейном все время висел густой пар. Было одновременно и очень сыро и холодно. Наколыцику приходилось стоять почти неподвижно, как часовому, у бревнотаски и одиннадцать часов подряд, орудуя багром и двигая лишь руками, нанизывать одно подплывающее бревно за другим на движущуюся цепь. Работа была не очень тяжелая, однако через тридцать-сорок минут все тело пронизывала и обволакивала сырость, оставляя изморозь на бороде, усах и ресницах и проникая до самых костей сквозь жалкую лагерную одежку. Отойти для того, чтобы размяться и согреться, разумеется, было невозможно.

Опытные лагерники меня предупреждали, что в холодные дни при работе в лесу или вообще где-либо на воздухе ни в коем случае нельзя подходить к костру или к печке. Это может повлечь за собой воспаление легких, а при лагерной медицине — даже смерть. Человеческий организм так устроен, что, как бы ни было телу холодно, оно приспосабливается и привыкает. Этому мудрому правилу я следовал в лагере всегда и никогда не простужался. Я не имел возможности посмотреть на себя со стороны, но подозреваю, что выглядел, как немецкие военнопленные из-под Сталинграда. Еще в карантине мне выдали грязные бушлат и телогрейку, а вдобавок я выпросил у каптерщика еще одну телогрейку огромного размера. Все это я напяливал на себя. Моему приятелю, студенту, приехавшему из Лефортовской тюрьмы одним этапом со мной, прислали белые щегольские валенки, которые оказались ему малы, и он уступил их мне. Но самым большим моим украшением была совершенно невероятная шапка-ушанка огромного размера, вся в каких-то бурых пятнах, с выдранными клочками ваты, которую мне подсунули в каптерке. Я напихал в нее газетной бумаги для тепла и в таком виде выходил на работу. Получилось настоящее чучело, и, помню, на разводе я очень стеснялся молодой фельдшерицы Искры, которой вменялось в обязанность присутствовать около вахты в момент выхода заключенных на работу, дабы следить за тем, чтобы все были одеты «по сезону».

Со мной в паре у второй бревнотаски работал симпатичный и интеллигентный литовец Линкавичюс, осужденный почему-то «за измену родине» на десять лет как пособник литовских партизан, в свое время боровшихся с немецкими оккупантами. Одетый в аккуратную, изящную, легкую, домашней выделки телогрейку, он страшно мерз на работе и часто обращался ко мне с просьбой подменить его на несколько минут.

— Филыптинскис, — говорил он, придавая моей фамилии литовское окончание, — я только на минуточку схожу на электростанцию погреться у котлов.

— Не ходи, Линкавичюс, — отвечал я, — ты разогреешься, а потом здесь, на морозе, простудишься.

Но Линкавичюс меня не слушал и убегал, я же носился от одной бревнотаски к другой, нанизывая и его и свои бревна, и здорово разогревался.

Как я и предвидел, судьба моего напарника сложилась трагически. Он заработал гнойный плеврит, который лагерная медицина сперва не заметила, потом запустила, а потом начала варварски лечить, ломая ребра и выкачивая гной. Несчастный был доведен до такого состояния, что его сочли возможным активировать, после чего он вскоре, не покидая местной больницы, умер.

Мое появление на сортировочном бассейне было воспринято, как мне тогда показалось, несколько необычно. Уже минут через десять после начала работы на меня обрушился поток матерной брани, не вполне обычной даже для лагерной среды. Сортировщик Яша Желтухин

поливал меня последними словами за какие-то истинные или мнимые промахи в работе. Сперва я был несколько обескуражен, но когда к нам подошел бригадир лесоцеха, мой и Яшкин начальник, и Яшка обрушил на него еще больший град непристойностей, я сообразил, что это для него обычная форма самовыражения. И действительно, во время короткого обеденного перерыва (на завод привозили в канистрах жидкую кашу) он подошел ко мне и угостил меня луковицей, а о своих претензиях ко мне во время работы даже и не упомянул.

Яша Желтухин был, несомненно, одной из самых красочных фигур того не совсем обычного мира, с которым меня столкнула лагерная судьба.

Точно воспроизвести рассказ Яши я, к сожалению, ввиду чрезмерного богатства его лексики не имею возможности и ограничусь лишь некоторыми штрихами из его биографии, с которой он меня познакомил.

— Я из-под Харькова, в ломовиках был. Возили за деньги что ни попадя, разную кладь. Потом, как стали прижимать частный промысел, — продал лошадь и пошел в артель работать. Ну, как известно, пьянство, драки. Я там одного шкодника ножом колонул. Пошел за хулиганство. Отправили на Дальний Восток строить Ком-сомольск-на-Амуре. Твои б...и-писатели что пишут? Комсомольцы, комсомольцы! Хрен им. Яшка Желтухин Комсомольск строил, а когда дома и судостроительный завод построили — комсомольцы приехали, а нас дальше погнали, в тайгу. Первый срок был детский — два года. Там дальше пошло. Пять судимостей у меня, все драки по пьянке. Словом, хулиган. А как война началась, меня из лагеря взяли и на фронт. Попал я в плен к финнам, батрачил там у одного. Я ведь из деревни, в тех делах понимаю. Полол, косил, делал, что придется. Ничего, на хозяина не жалуюсь. Как война кончилась, финны нас всех сдали Советам, я получил десятку за измену родине. Попал в политики. Так-то.

Яша был человек хозяйственный. Он нашел место близ запретки, на территории завода, и развел небольшой огород. Заводское начальство и надзор делали вид, что этого не замечают, — его крестьянская деловитость вызывала уважение.

Но что создавало Яше особую известность в зоне, а среди уголовников вызывало неприязнь и презрение, так это его специфический промысел. Яшка был золотарем и занимался в жилой зоне очисткой выгребных ям. Разумеется, никакой канализации в зоне не было, ямы под стоящими по углам зоны деревянными домиками быстро наполнялись, и от вредных запахов нас спасало лишь то, что лагерные бараки были выстроены на холме, овеваемом постоянно дующими с Ледовитого океана и создававшими естественную вентиляцию ветрами. Когда ямы наполнялись, Яшка, которого для этого освобождали от работы на заводе на целый день, получал телегу с лошадью, большой ковш и вывозил нечистоты в поселок, где у него их охотно покупали местные огородники из числа вольнонаемных и надзирателей. Лагерная администрация также платила ему отдельно за эту работу. Все это Яшка делал не из жадности, деньги нужны были ему для совсем особой цели.

Он месяцами копил их, работая на заводе, продавая картошку с собственного огорода, вывозя нечистоты, и все это для того, чтобы раза четыре в год предаваться своей фатальной страсти. Яшка не пил, не курил, почти не тратил денег на текущие нужды. Он был яростным картежником.

В лагере, в карты обычно играли блатные — это входит в ритуал их взаимоотношений. Встретившись и выяснив между собой старшинство, они садились в кружок и играли сперва на свои, потом на чужие деньги и вещи, которые они тут же отнимали у «фраеров», а порой даже и на чужие жизни. Яшка, хотя и не был вором в законе, принимал в их играх самое активное участие.

Подготовка к очередному картежному игрищу начиналась обычно заблаговременно.

Намечалась компания, договаривались о месте. Игра Яшки носила характер запоя, он не мог остановиться, пока не проигрывал все до копейки. Блатные обычно неохотно приглашают в свою компанию «мужиков», но в данном случае делалось исключение, ибо представлялась возможность обчистить Яшку до нитки. Яшка знал, что дело обязательно кончится полным проигрышем, но, видимо, удержаться от игры не мог.

Компания собиралась в глубине одного из барачков, к дверям ставился нанятый за деньги дозорный, который должен был предупредить игроков в случае появления надзирателей. Игра шла непрерывно всю ночь, и, если Яшка оказывался в выигрыше, она возобновлялась и на следующую ночь, и так дело шло до тех пор, пока у Яшки оставались деньги.

Во время игры Яшка преображался, от былой неторопливости и флегматичности не оставалось и следа.

Менялись его речь и весь облик, в такие минуты он буквально вырастал в сказочного героя. Глаза его горели, каждую карту он высоко поднимал в воздух, прежде чем шумно опустить на нары, губы его шевелились, и, казалось, он вымалывал у судьбы победу. Если игра оканчивалась проигрышем, он приходил в барак, ложился лицом к стене, укрывался с головой бушлатом и неподвижно лежал весь следующий день. Нарядчику, приходившему в барак узнать, почему Яшка не вышел на работу, кто-нибудь говорил: «Проигрался!» — и нарядчик молча уходил. Все уважали его страсть. Жизнь для Яшки была кончена до следующей карточной битвы.

Однажды привычный ритм Яшкиной жизни оказался нарушенным. Во время очередного карточного состязания надзиратели, видимо, заранее извещенные о намечающейся игре барачными стукачами, незаметно подкрались и стремительно ворвались в барак, прежде чем караульный сумел предупредить ее участников. Яшку схватили и, несмотря на яростное сопротивление, потащили в штрафной изолятор. И здесь мы увидели, как страсть может превратить сравнительно мирного в быту человека в грозного зверя. Яшка вырывался и рычал, страшные ругательства срывались с его уст. Ведь его пытались оторвать от наивысшего для него, почти физического наслаждения! Никакие угрозы и побои не могли удержать этого разъяренного льва. Но тут в бессвязных выкриках Яшки появились и новые нотки. Все увидели Яшку с иной, незнакомой стороны. Из страстного картежника Яшка буквально на глазах вырастал в бунтаря, не желавшего мириться с несправедливыми, навязанными ему нормами жизни. Люди приходят к пониманию права на личную свободу разными путями, и пожизненный зека Яшка неожиданно для меня также нагледел свой путь. Почему, собственно, он не имеет права играть в карты на свои, заработанные честным трудом деньги? Он, что, кого-либо убил, обманул или обидел? Он, хоть и не очень грамотный, но человек, не желающий подчиняться правилам, продиктованным ненавистным режимом. Все эти мысли он выражал достаточно ясно на своем, не слишком изысканном языке. По дороге в штрафной изолятор, а дело было уже ночью, он так кричал, что разбудил всю зону. На него надели наручники, в изоляторе связали и избивали. Еще долго оттуда раздавался нечеловеческий крик.

На следующий день Яшка присмирел. Он отсидел свои пятнадцать суток и возвратился в барак мрачный и опустошенный, как будто после большой пьянки. Порыв Яшки к протесту увял, и его потребность в самоутверждении вылилась в традиционные, привычные для него формы. И месяца через два в углу нашего барака всю ночь раздавались голоса и выкрики играющих. Прислушиваясь к выделявшемуся из общего хора басу Яшки, я невольно вспомнил игроков Достоевского с их неизбывной, все пожирающей страстью.

Вселение Мишки в барак сопровождалось шумом, выкриками и матом надзирателя. Мишка качал права, что-то доказывал, ссылаясь на какие-то пункты правил содержания заключенных в исправительно-трудовых лагерях и инструкции ГУ Лага. На все эти Мишкины вопли надзиратель неизменно отвечал: «Вот посажу на пятнадцать суток в ШИЗО, будешь знать законы». — «Не имеете права, — кричал Мишка, — есть инструкция ГУ Лага за номером... о правилах помещения заключенных в штрафные изоляторы», В конце концов, то ли восхищенный Мишкиной юридической осведомленностью, то ли сочтя ниже своего достоинства продолжать спор с каким-то зека, надзиратель замолк, и Мишка был водворен на нижние нары у входа в барак, где на время угомонился.

Мишка был, как он выражался, «питерский». Наш лагпункт, подобно Ноеву ковчегу, содержал, как говорится, «всякой твари по паре», но город на Неве поставлял сюда, пожалуй, наибольшее число своих граждан. Возможно, сказывалась относительная близость Ленинграда и удобство транспортировки зека из города в Архангельскую область по железной дороге. Впрочем, надо отдать должное широкодушию диспетчерской службы ГУЛага, транспортные расходы эту организацию никогда не останавливали. Были случаи, когда за неделю до окончания срока заключенного из центральных районов этапировали на Дальний Восток, а если находили это нужным, отправляли на этап и по воздуху.

Судьба Мишки была несколько необычной. Делец, всю жизнь работавший хозяйственником, прорабом, завхозом и на других должностях, которые при отсутствии щепетильности могут приносить их обладателю немалый доход, и неоднократно судимый за различного рода хищения, он на этот раз залетел по пятьдесят восьмой статье. Вообще-то уголовникам и проворовавшимся хозяйственникам политическую статью давали нечасто. Все они рассматривались в качестве согрешивших «друзей народа», которые, в отличие от политических преступников, так называемых фашистов, могли, а согласно трудам разных теоретиков, и должны были «стать на путь исправления». Для того чтобы оскоромиться и схватить пятьдесят восьмую статью, они должны были совершить нечто необычное. Уголовники часто отпускали в адрес властей такие шуточки, за которые наш брат мог легко сработать новый срок. Однако им все сходило с рук, и в деле угнетения политических они у лагерного начальства играли роль первых помощников.

Мишка сумел пробиться в «политики» главным образом из-за своей совершенно патологической болтливости. Сев в очередной раз за мошенничество, он получил пятьдесят восьмую статью уже в лагере в результате своих яростных полемик с надзором по всякому поводу. Желая избавиться от досаждавшего ей крикуна, администрация намотала ему новый срок через суд.

С того момента как Мишка появился в бараке, он непрерывно говорил, мало заботясь о том, слушает его кто-либо или нет. В сферу его разносторонних интересов входило все: экономическое состояние страны, ее история, культура, политическое положение. В общем потоке его речи все это подавалось весьма неожиданно, в весьма субъективной интерпретации, и часто, при всей моей снисходительности, не вызывало у меня сочувствия. Однако это Мишку не останавливало, мое общество почему-то казалось ему особенно привлекательным. Не ожидая особого приглашения, он, усевшись возле меня на нары, пускался в долгие рассуждения и, произнося свой бесконечный монолог, полагал, что обменивается со мной мнениями. «Люблю поговорить с интеллигентным человеком», — говорил он при этом без тени юмора.

Мишка был убежденным сторонником свободного общества, но свободу при этом понимал весьма своеобразно. Он считал, что люди должны обогащаться, для чего следует расхищать государственную собственность, чем он, собственно, на протяжении всей своей жизни и занимался. «Не воруйте у людей, — кричал он на весь барак, — крадите у государства. Государство богатое, у него на всех хватит».

Будучи человеком с широкими экономическими интересами, Мишка задался целью выяснить, выгодна ли государству и обществу охватывавшая всю страну система так называемых исправительно-трудовых лагерей, и доказывал всем и каждому, что государство несет от них одни лишь убытки. Упреждая теоретические выкладки зарубежных и наших отечественных «зеленых», он с цифрами в руках объяснял, что природные ресурсы в стране не бесконечны и что вскоре, как он кричал, и жрать будет нечего, и гвоздя нельзя будет найти, чтобы доску прибить.

Не был чужд Мишка и проблем моральной ответственности. Самым большим преступлением он считал донос на казнокрадов и хозяйственных жуликов. Таких доносчиков, по его мнению, нужно было убивать. Всех же остальных нарушителей правопорядка он призывал после совершения первого проступка отпускать, а после повторного не отправлять ни в какие лагеря, а без промедления казнить. К ним он относил тех преступников, которые, как он говорил, посягают на личность: хулиганов, воров, грабителей и убийц.

Но главной темой Мишкиных откровенностей была, как он сам выражался, проблема прекрасного пола. Вообще, отношение к женщинам старых лагерников было весьма противоречиво, в их разожженном длительным воздержанием воображении женщина рисовалась либо чистой, почти неземной непорочной девой, либо закоренелой, погрязшей в грехе распутницей, только и мечтающей о том, как бы изменить попавшему в беду мужу или возлюбленному. Мишка в своих представлениях умудрялся сочетать эти две полярные точки зрения.

На стене, над головой Мишки, висела доска, покрытая стеклом, под которым в живописном беспорядке были размещены женские фотографии. Была у Мишки и специальная папка, где грудями лежали фотографии и вырезки из газет и журналов с изображениями женщин разного возраста, по тем или иным причинам не удостоившихся места на главном Мишкином иконостасе.

В те мрачные и тоскливые годы газеты и журналы были полны скучными рассказами о сельских и городских ударницах, прославленных свинарках, доярках и фабричных работницах, выполнявших и перевыполнявших всевозможные планы и программы. Ловкие журналисты изощрялись в разыскании подобных тружениц села и города, кропали о них и об их достижениях стандартные статьи, часто сопровождая их фотографиями героинь. Мишка знал, по каким дням в КВЧ (культурно-воспитательная часть) обычно приносили газеты, прибежал за ними первый и, опережая курильщиков, выдирал из них нужный ему материал.

Получив необходимые сведения, Мишка сочинял первое письмо. Текст его был более или менее однотипным, но обращения тонко различались в зависимости от социального уровня адресата. «Дорогая Клава (или Клавдия Павловна), — писал он. — Я узнал из газеты о твоих (Ваших) трудовых подвигах и очень хотел бы с тобой (Вами) познакомиться. Твоя (Ваша) фотография мне очень понравилась. Мне сорок лет. Если ты (Вы) не возражаешь, напиши мне по адресу (следовал номер нашего почтового ящика). Михаил».

Обычно корреспондентки, увидев Мишкин адрес, принимали его за военнослужащего и присылали ответ. Если они сообщали, что у них есть муж. Мишка, как он говорил, списывал их в брак. Но если ответ его удовлетворял, следовало новое письмо, которое, как он считал, должно было «надорвать душу» всякой женщины. Это был трогательный рассказ о молодом неопытном человеке, совершившем ошибку, приведшую его в тюрьму, о его раскаянии и о

страстном желании порвать с прошлым и впредь вести праведную жизнь. Автор предавался размышлениям о грустной доле обманутого женой человека и где-то, между прочим, намекал, что сидеть ему в тюрьме осталось недолго, что он вот-вот должен освободиться и мечтает создать прочную семью. А взглянув на фотографию своей корреспондентки, он понял, что это и есть та спутница жизни, которая уготована ему судьбой. Если на письмо приходил ответ, то это, по словам Мишки, означало, что баба на крючке.

В послевоенные годы было много обездоленных женщин, но среди корреспонденток Мишки оказывались и сердобольные, которые просто жалели несчастенького, сбившегося с пути «преступничка» и готовы были ему помочь.

Как и на все в жизни, у Мишки насчет его походов была своя особая теория. «Я же благодетель, — орал он на весь барак, — они же одиноки и этого дела никогда не видят. А я — мужчина в соку, я многое могу. А ведь женщине что главное — чтоб ее любили и она чувствовала, что нужна. А здесь страдалец за правду, как не посочувствовать и не помочь бедняге?! Ведь и они там, на воле, все воруют, что ж, она не понимает? А потом женюсь я или не женюсь — дело десятое, а пока она и помечтать может. Да за одно счастье помечтать она должна мне ножки целовать». Как видим. Мишка в своем деле был одновременно и философ, и психолог, и поэт.

Как и в прошлой жизни казнокрада-хозяйственника, Мишка и тут проявлял большую аккуратность в ведении дела. Учет всем дамам сердца велся очень строгий, для чего существовала особая тетрадь. Мишка не делал секрета из своих занятий и охотно показывал свое делопроизводство всем, кто хотел. Каждое письмо фиксировалось, и сюда же заносились все сведения о возлюбленной и тексты писем. Это было необходимо для того, чтобы не попасть впросак, что было бы губительно для дела: рыбка — по словам Мишки — сорвалась бы с крючка. Тронутая Мишкиными настойчивыми просьбами, возлюбленная обычно присылала ему фотографию, которая занимала почетное место под стеклом на стене. Надо отдать должное Мишкиной деликатности, он никогда не просил первым о присылке чего-либо материального, но требовал проявления возвышенных чувств и в своих письмах часто жаловался на холодок в посланиях возлюбленной. «Все придет в свое время», — говорил Мишка, сообщая о своих делах сочувствовавшим ему нетерпеливым соседям по барaku. И время это наступало. В бараке появлялся надзиратель и приглашал Мишку вечером в служебное помещение, где ему выдавалась посылка с дарами от очередной возлюбленной. «Мне много не надо, — говорил Мишка, — две-три посылки в месяц я всегда получу». Присылку даров Мишка умело регулировал и, демонстрируя перед дамами сердца свою скромность, иногда просил его посылками не баловать, что вызывало, естественно, еще большее уважение к страдальцу и отправку новых посылок. Мишка не был скрягой и охотно делился присланным с друзьями в бараке. «Ешь, ешь, — говорил он, — она еще пришлет!»

Кульминационным моментом каждой любовной интриги Мишки, ее итогом и желанным завершением был приезд его корреспондентки в лагерь на любовное свидание. Мероприятие это подготавливалось исподволь, надежды женщин систематически разжигались письмами с выражением роковой страсти и клятвами жениться сразу же после освобождения. Под напором пламенных призывов Мишки удержаться от рокового шага было нелегко, и в конце концов следовало согласие на встречу, после чего Мишка вступал в переговоры о семейном свидании с кем-нибудь из надзирателей. Такие свидания разрешались только близким родственникам. Но красноречивый Мишка умел убедить надзор, что приезжает невеста. «Что-то часто к тебе невесты приезжают, — говорили надзиратели, — и все разные», — но, предвкушая мзду за свой либерализм, давали возлюбленным возможность остаться наедине в комнате свидания на пару часов. С таких свиданий Мишка возвращался радостным, умиротворенным и до поздней ночи делился со своими соседями по нарам впечатлениями от встречи. Излишние натуралистические детали ничуть не шокировали присутствующих, которые жаждали все новых и новых подробностей, шумно сопереживая со счастливым. Разумеется, со свидания приносился обычно большой мешок со снедью, разными

домашними пирогами и закусками, так что все вокруг были вдвойне довольны.

Однажды летом, в воскресенье вечером, когда на улице было еще относительно светло, я, тогда уже бесконвойный, быстро шел по деревянному настилу (тротуары в северных поселках еще и поныне делаются из досок или бревен) на завод и по дороге встретил женщину, лицо которой показалось мне знакомым. Чисто автоматически я поздоровался, и она, не без некоторого удивления, ответила на мое приветствие. Женщина отошла уже на значительное расстояние, когда я вспомнил, где ее видел, — на Мишкином иконостасе. Я догнал ее и спросил:

— Вы приехали к Михаилу?

— Да, — ответила она, вопросительно на меня посмотрев.

— Я пойду его предупредить. Возвратившись в зону, я застал Мишку за сочинением очередного письма.

— Вот эта женщина к тебе приехала, — я ткнул пальцем в фотографию.

— Не может быть, она мне ничего не писала.

— Тем не менее я только что с ней говорил.

Мишка разволновался. Как потом выяснилось, он в это время ожидал приезда одной заочницы, и незапланированный приезд другой женщины мог привести к катастрофе. Однако все обошлось. Приехавшая оказалась сорокалетней бухгалтершей из Вологды, давно лишившейся мужа и жившей с двумя детьми. Житейски опытная, она сама, без помощи Мишки, организовала свидание, и через несколько часов Мишку вызвали на вахту, откуда он спустя некоторое время возвратился, нагруженный обильными приношениями. Я был признан важным звеном состоявшейся встречи, и, как я ни отбивался, мне была выделена особая часть даров.

— Ты нас обидишь, меня и Александру Ивановну, — говорил полностью вошедший в роль жениха Мишка.

Прошло много лет с амнистиями и реабилитациями. Как-то осенью я приехал в командировку в Ленинград и шел по Дворцовой набережной, мимо Эрмитажа, по направлению к Ленинградскому отделению Института востоковедения, когда со мной поравнялся хорошо одетый человек, в дорогом демисезонном пальто, сквозь вырез которого выглядывал модный пестрый галстук, и красивой фетровой шляпе с пижонски загнутыми полями. Неожиданно он кинулся ко мне, обнял и принялся врасос целовать.

— Мишка, — оторопело крикнул я.

— Был Мишка, а теперь Михаил Георгиевич, — с некоторой долей юмора, но не без достоинства ответил он.

Несмотря на сопротивление, я был втиснут в стоящую за углом машину, украшенную внутри всякими подвесками, плюшевым мишкой со светящимися глазами и другими многочисленными атрибутами современного мещанского быта. Мишка привез меня в богато обставленную квартиру, центральное место в которой занимали «горки» — шкафы, где под стеклом во множестве стояли хрустальные изделия всех фасонов и назначений. Тут я невольно вспомнил Мишкин иконостас. Но более всего меня поразила жена Мишки — ею оказалась та самая бухгалтерша из Вологды, которую много лет тому назад я встретил близ нашего лагеря. Александра Ивановна раздобрела, и с лица ее не сходила веселая улыбка сытой, ухоженной и чуть-чуть самодовольной женщины. Пока Мишка бегал за шампанским,

она ввела меня в курс семейной жизни.

— Михаил Георгиевич очень изменился. Сперва думал баловать, по бабам бегать, да и на работе хапнуть, что плохо лежит, — опять бы в лагерь загремел. Я ведь все это знаю, когда-то и сама сидела. Все это я порушила, порядок навела. Теперь он на моем моральном бюджете. Живем хорошо, он состоит по хозяйству на большом текстильном предприятии. Так что, если что надо из тряпья, — пожалуйста, сделаем. Дом, как видите, — полная чаша. У нас машина, дача на взморье. Мои дети вышли в люди: сын во флоте — офицер, дочь диссертацию пишет.

Александра Ивановна с гордостью посмотрела на меня.

— Переделала человека, теперь он у меня по струнке ходит!

Вечером Мишка отправился меня провожать.

— Поначалу было мне с ней трудно, женщина она сильная, ломала меня крепко. Ну, с бабами я, конечно, завязал сразу, да и возраст уж не тот. А вот с делами, — тут Мишка хитро улыбнулся, — она ведь битая и раньше в этом разбиралась, не зря сидела. Бухгалтер. С ней всегда посоветуешься, скажет, как надо. В общем, живем хорошо, денег хватает, навар есть, но все чисто, не подкупаешься. Я доволен, и другого мне не надо.

Я смотрел на Мишку и думал о том, сколь великую преобразующую роль играет женщина в судьбе нашего брата.

Братья

В бригаде его не любили. Это был высокий, широкоплечий верзила лет тридцати. Бригада плотников, в которой он работал, состояла в основном из жителей Западной Белоруссии, людей уже немолодых, мирных и законопослушных, отбывавших срок по пятьдесят восьмой статье. Многие из них были знакомы друг с другом еще до ареста, и в их среде никаких конфликтов никогда не было. В перерывах между работой они сидели в инструменталке, молча покуривали или вели неторопливую беседу, чаще всего о своих домашних делах.

Парень держался скромно и, казалось, ничем не должен был вызывать дурного к себе отношения. Среди плотников, в прошлом крестьян, еще сохранялись былые патриархальные нравы, и лагерная брань не вошла в обиход. Но когда речь заходила об этом парне, они теряли всякую деликатность и не стеснялись в выражениях, а бригадир, также из «западников», всячески к нему придирился и ставил его на самую тяжелую работу. Однако парень не противился и делал все, что от него требовали, не споря и не жалуясь. Когда в бригаду привозили «обед», то есть жидкую кашу, что случалось далеко не каждый день, он последним подходил с миской к раздатчику, а если каши на него не хватало, молча отходил в сторону и довольствовался куском хлеба, запивая его кипятком. Однажды во время переключки я узнал его имя: Василий Жмурко. Стандартная статья — пятьдесят восемь, пункт один «а» (измена родине). Срок — двадцать пять лет.

В придириках к Жмурко особенно усердствовал худенький, небольшого роста паренек лет двадцати пяти. Не довольствуясь обидными замечаниями в адрес Василия, паренек этот, проходя мимо, старался его как-нибудь задеть то плечом, то ногой, а иногда даже отвешивал

пинок или ударял по шее. Однако Жмурко все безропотно сносил и, вроде бы, даже испытывал какое-то удовлетворение от сыпавшихся на него оскорблений и колотушек. Казалось, он воспринимал все издевательства как заслуженные и постоянно ощущал себя в чем-то виноватым.

Подозревая недоброе, я как-то спросил доверявшего мне «западника», не связан ли Жмурко с «опером», то есть не из числа ли он обыкновенных лагерных стукачей. Ответ был отрицательный. «Так за что же вы его все так не любите?» — невольно вырвалось у меня. «Стало быть, заслужил!» — сквозь зубы пробормотал собеседник и отвернулся.

Всеобщий молчаливый заговор против парня меня заинтриговал. Поэтому я не раз подсаживался к Жмурко и пытался завести с ним беседу, но он лишь настороженно на меня косился, испуганно отворачивался, а то и просто вставал и уходил.

Однажды, при очередной грубой выходке ненавистника, я попытался вмешаться и спросил у присутствующих рабочих бригады, почему они терпят очевидную несправедливость, не заступятся за парня и не осадят его недруга?

— Ты не встревай, братья они. Петька — брат ему, — ответил один из рабочих.

— Родной брат? — с изумлением переспросил я.

— Двоюродный, свои у них счета, — сухо проговорил мой собеседник, — не нам их судить.

Как-то Василий сел в углу барака писать письмо.

— Все письма пишешь, подлюга, — прошипел проходивший мимо Петр и, сильно ударив брата ладонью по затылку, двинулся дальше.

Лицо Василия залилось краской от гнева и обиды. Но он сдержался и опустил голову, а через несколько минут залез на свое место на верхние нары, укрывшись с головой бушлатом и затих.

Заклученным из западных областей частенько приходили посылки от их сельских родственников. Присылали их и Василию. И однажды я видел, как он подошел к брату и передал ему в мешочке значительную часть полученного, а тот молча, как должное, принял дар, не сказав при этом ни слова благодарности. Этот эпизод еще более возбудил мой интерес к загадочному остракизму, который Жмурко так покорно принимал. И однажды, когда Петра прислали к нам на лесобиржу соорудать деревянные навесы над штабелями досок, я подошел к нему во время перерыва и напрямик спросил, почему в бригаде обижают его брата? Петр долго мялся, но, в конце концов, выложил мне всю историю.

— Мы — двоюродные братья, мой отец и его мать — брат и сестра. Мы из-под Любчи, есть такой городок в Белоруссии. Село наше находится в десяти километрах от него. Отец его пьяница, спился и помер, когда Василий еще мальчишкой был. Остался он с больной матерью. Отец пожалел их и принял в наш дом. Мы неплохо жили, в селе богатыми считались. Кроме меня, в семье еще два брата и сестра были. Отец не делал различия между Васькой и своими детьми. Он всякую работу делал в поле и по дому наравне с нами. Грянула война с Германией. У нас в Польше всех, кто только оружие мог держать, мобилизовали в армию. И недели не прошло, как ваши вступили в Польшу и мы оказались под Советами. Говорили, что освободить нас пришли от польских панов. Василий в одночасье переменялся. Вступил в комсомол, пролез в сельское начальство. Нас и знать больше не желал, даром, что столько лет наш хлеб ел.

Когда стали мужиков побогаче высылать на Восток, он, правда, нас прикрыл, тогда в конторе сельсовета служил, и из списков на высылку вычеркнул. Не потому, что особо нас любил или жалел, а чтобы самого не замели за родственные связи с кулаками. Отец мой, правда, в это

время прятался.

В сорок первом пришли немцы. Василий на Восток было подался, но не успел. И укрылся в селе, километрах в двадцати от нас. Мы его, конечно, выдавать не стали. Война разорила наше хозяйство. Сперва немцы бомбили, когда ваши пришли — все поотбирали, а потом и немцы похозяйничали. Братья мои и сестра разбрелись кто куда, а я решил податься на заработки в Германию. Попал к богатому хуторянину в Баварии, сыновей его забрали в армию, а ему разрешили держать батраков из западных областей России. У него я всю войну и проработал.

После войны захотелось вернуться на родину. У меня в Германии ведь никого не было, а жизнь там в сорок шестом году была не очень. Посылаю Ваське письмо, получаю от него ответ. Пишет, что жизнь налаживается, никого не трогают. Всем, кто и виновен в чем, амнистия вышла. А я ведь и вовсе ни в чем не был виноват. Правда, вокруг говорили, что того, кто во время войны у немцев работал, власти в России не жалуют. Подозрения и у меня были, что посадить могут. Осторожно в письме запрашиваю Василия. Он в ответ: «все брехня», «вражеская пропаганда». Насчет пропаганды мне и самому все было ясно. Газеты и перед войной и во время войны ввали, что в Германии, что в России. Я и поехал.

Приезжаю. Дом новая власть конфисковала. Жить негде. Стали меня таскать на допросы. Все дознавались, как я сотрудничал с врагами, как завербован был. Месяца три меня так маяли, а потом однажды ночью за мной пришли. Тут я, наконец, понял, что Васька с органами связан, письма по заданию пишет и одного уже до меня посадить успел. Человек получил от него письмо с приглашением приехать. Возвратился. А тут — хлоп, мышеловка захлопнулась. Дали мне четвертной как изменнику родины. В чем состояла моя измена, понять невозможно. Так братишка мне отплатил за все добро, что наша семья ему сделала. Потом и сам сел. Ведь у Советов правило такое: кто им служит, того надо выжать до предела, а потом посадить. Они и своих не щадят. Василий тоже под оккупацией был — вот вам и повод. Теперь у него хоть семья осталась на воле, жена, ребенок. Ему помогают, посылки шлют. Я же гол как сокол, один на всем свете. Сестра умерла. Братья куда-то уехали, а может, и в лагерях сидят.

Казалось, после разговора с Петром картина прояснилась: парня облагодетельствовали добрые родственники, а он при большевиках стал делать карьеру и ответил злом на добро. Действовал заодно с властями и способствовал аресту попавших в Германию земляков. Поэтому все в бригаде его и не любят. Однако что-то тут не очень ладилось. Василий явно не был связан с «опером», в лагере не устроился, подобно другим агентам-провокаторам, на легкую работу. Да и по типу своему, по моим представлениям, не соответствовал такой дурной характеристике. Первое впечатление часто обманывает. Лагерь научил меня не делать скороспелых выводов и не судить о людях сплеча. Поэтому мне хотелось выслушать и другую сторону. Такая возможность представилась.

Лагерное начальство почему-то решило отправить Василия на дальний этап. Об этом ему стало известно за день до отправки.

Накануне вечером обычно неразговорчивого, чуждающегося всякого общения с окружающими Василия что-то заставило самого ко мне обратиться. Он заметил, что я отношусь к нему с сочувствием и даже раз пытался заступиться за него перед собригадниками. Преодолев обычную робость, он подсел ко мне и рассказал свою историю.

— Завтра меня отправляют на этап, едва ли суждено снова встретиться. Ты, верно, думаешь, что я дурной человек, стукач. Расскажу тебе на прощание всю правду, а ты уж сам суди, в чем моя вина.

Из Белоруссии мы. Мне десять лет было, когда отец помер. Мать болела. Я вроде сироты

остался, и дядька взял нас в семью. У него хозяйство было, но он больше по торговой части действовал, зерном торговал. В селе слыл первым богачом. Жадный он был, хоть и жил в достатке, все ворчал, что мы его объедаем и ему приходится бездельников кормить. А я еще мальчишкой все работы по хозяйству делал, скотину пас, сено косил, картошку копал. Дядька все отдавал своим детям, а нам — что от обеда оставалось. Так лет шесть жили. Натерпелись. Потом, когда мать умерла, мне и вовсе житья не стало.

В тридцать девятом пришли русские. Я, ясное дело, поверил, что теперь наступает справедливость и всеобщее равенство. Мы ведь и прежде поляков не очень-то любили. Новая жизнь для меня пошла. В комсомол вступил. В вечерней учиться стал. Избрали меня в селе комсомольским секретарем, в сельсовет на работу устроили. А как начали богатых мужиков на Восток высылать, семья дядьки первой в список угодила. Я за них вступался, всячески укрывал и от высылки спас. Все же как-никак родня.

Началась война с Германией. Мне в райкоме комсомола поручили остаться на подпольной работе, паспорт на другое имя выправили. Но какая уж тут работа, ведь у нас немцев в первые дни как освободителей встречали! Я в другой район перебрался к знакомой бабке, жил с ней, работал у нее, так всю войну просидел.

Потом снова ваши пришли. Я вернулся в село. Женился. Однажды вызвали меня. «Ты где был, мать твою, в войну? Где твоя комсомольская совесть?» Посадить грозилась. Потом говорят: «Ты нам помочь должен. Многие в войну к немцам сбежали. Их надо домой вернуть. Вот тебе список. Ты узнай у родных их адреса и напиши им, что вышла амнистия для всех, чьи руки не замазаны кровью. Пусть приезжают».

Тогда я еще верил им, но все же как-то сомневался и писать письма мне не хотелось. К этому времени я уже кое-что понимать стал. А они все давили: «Пиши да пиши!» А я не пишу.

Вызвали меня снова. «Тебе что велено было сделать?» Я говорю: «Я писал, а они не отвечают!» «Ты, что, с нами в жмурки вздумал играть? Даром, что Жмурко! Больно ты хитрожопый. Не знаешь, что все письма за границу через наши руки проходят? У нас все на учете. Станешь ваньку ломать — тебя и жену посадим. Есть за тобой грешок. В войну обязался с нами работать, подписку дал, а сам на хутор сбежал бабу драть. Теперь будешь письма прямо нам приносить!»

Вот я и начал писать разным людям. За жену и ребенка боялся. Кто с малым останется, если заметут? Петька же мне сам первый написал. Я и адреса его не знал. Спрашивал, можно ли приехать. Я подумал, что вины за ним нет, с немцами он не сотрудничал. Вот я и написал — приезжай, мол, мы теперь живем хорошо. Кто в чем виноват, того советская власть простила. За тобой и грехов нет, только что уехал в Германию на работу.

Петька вернулся, месяцев пять погулял, а потом его и посадили. На следствии он на меня наговорил, будто я с немцами сотрудничал. Не мог простить мне моих писем. Знали все, что он врет, но все равно нам обоим по двадцать пять лет влепили. Будь она проклята эта ваша власть, сперва мне сказками голову задурила, а потом со мной же ни за что ни про что расправилась. Хотя, по совести сказать, виноват я, что служил этой власти, поверил ей, взял на душу грех. Да и жену с ребенком берег. Вот наши и ненавидят меня, и ругают, а то и бьют. А я и не сопротивляюсь. За дело бьют.

— Сколько же человек по твоим письмам возвратилось? — настороженно спросил я.

— Кроме Петьки, еще один из нашего села вернулся, другие не очень-то поверили. Его сперва посадили, а потом в скорости выпустили. Он и по сю пору в селе живет.

На следующий день Василия отправляли. Он стоял у вахты с несколькими бедолагами, также назначенными на дальний этап. Вещей у него не было, в руках он держал лишь маленькую

сумочку, из которой высовывался этапный паек — буханка черного хлеба. Поодаль стояла небольшая группа рабочих из бригады строителей. Сбившись в кучку, они молча наблюдали за происходящим. Среди них был и Петр. Вдруг Петр отделился от других и подошел к Василию. Некоторое время братья стояли и молча смотрели друг на друга. Меня поразило едва уловимое внешнее сходство между ними, хотя Василий был на голову выше брата.

Первым заговорил Петр:

— Значит, уезжаешь?

— Везут куда-то. Говорят, в воркутинские лагеря.

— Придется ли свидетелься еще?

— Кто знает. У обоих по четвертаку. Едва ли выживем.

— Ты, того, на меня зла не держи. Оба мы друг перед другом виноваты.

— Чего уж там виноватого искать. Жизнь зверюгами сделала.

Не сговариваясь, братья протянули друг другу руки и как-то неловко обнялись.

Этап построился и двинулся за вахту. Провожаящие еще немного постояли, а потом разошлись.

Малолетка

Ночью у меня украли шапку. Шапка служила последним свидетельством бывшего офицерского звания. Хромовые сапоги развалились еще в тюрьме, и во время этапа в лагерь я вынужден был подвязывать проволокой наполовину оторвавшуюся и болтавшуюся подметку, а теперь щеголял в выданных мне еще в карантине рваных, поношенных ботинках. Там же, в карантине, у меня украли и шинель. Отныне я мог себя чувствовать полностью демобилизовавшимся. Начиналась новая, весьма своеобразная жизнь в гражданке. Шапку мне было особенно жалко. Мех ее отливал голубизной, и она напоминала мое армейское бытие, казавшееся мне на фоне нового жизненного опыта не таким уж непривлекательным. Особенно обидно было и то, что один старик, отбывший полтора десятка лет и ожидавший освобождения, предлагал мне за нее целых двадцать рублей. А ведь сколько благ можно было обрести в лагерном ларьке на эти деньги, в первую очередь, разумеется, махорку!

Дневальный барака выслушал мои скорбные жалобы с олимпийским спокойствием. «Верно, фитиль спер, — резюмировал он результаты своих размышлений. — Пойди, посоветуйся с Малолеткой».

— А где он, этот Малолетка? — с недоумением спросил я.

— Там живет, — ткнул дневальный пальцем в глубь барака и отвернулся, видимо, считая разговор исчерпанным.

В дальнем углу барака, на нижних нарах, сидели три человека и пили чай с сушками, горка которых лежала рядом с одним из них. Такие сушки я видел накануне у одного молодого

москвича, получившего из дома посылку. Мне подумалось, что следует обратиться именно к обладателю сушек, и я не ошибся.

— Кто здесь Малолетка? — спросил я.

— Меня так кличут, — спокойно и с достоинством ответил тот. При этом он открыл впалый рот, в котором торчало несколько гнилых, вероятно, никогда не чищенных зубов. Худой череп его венчала огромная лысина, а по бокам торчали в разные стороны пучки седых волос. Человек показался мне стариком, хотя, как позднее выяснилось, ему было немногим более сорока. Все обличало в нем старого лагерника.

— Меня направил дневальный, хочу с вами поговорить, — сказал я.

— Отчего же не поговорить, поговорить всегда можно, — охотно откликнулся старик, продолжая надкусывать сушки боковыми зубами и запивать их чаем.

Я не знал, как начать разговор, но после небольшой паузы, преодолев замешательство, сказал:

— Тут ночью у меня шапку украли.

— Значит шапка, — глубокомысленно сказал Малолетка, — а может, шапки и не было? Я заверил его, что была.

— Это такая, офицерская, — вспомнил вдруг старик, продолжая жевать. — Хорошая шапка.

— Дневальный сказал, что вы можете помочь ее разыскать.

— Такие паскудники, все прут. По этой части здесь мастеров много, — продолжал говорить старик, казалось, отвечая не на мой вопрос, а на собственные мысли.

— Ну, а вы помочь могли бы? — повторил я.

— Отчего не помочь, хорошему человеку завсегда надо помочь.

Наступила пауза. Старик и его собеседники продолжали жевать. Наконец старик решил сам прийти мне на помощь.

— Видишь, какое дело. Мы тут собрались чайком побаловаться, а сахарка-то и нет. А без сахарка, какой же чай, сам знаешь. Ты, вроде, посылку получил, небось, сахарка положили. Угостил бы нас, уважил старика.

— У меня здесь нет, в каптерке лежит.

— Ну, вечером принесешь, — охотно согласился старик. — И то верно, разве в бараке можно что оставить? Все сопрут крохоборы. Я тут порасспрошу. А ты шагай на работу. И насчет сахарка не забудь!

Вечером, возвратившись в барак, я увидел на нарах, на самом видном месте, шапку, а после ужина пачка рафинада переключивалась из каптерки к старику.

— Вот и молодец, и шапочка нашлась, — осклабился старик, получая дар. — Для хорошего человека чего только не сделаешь!

Так состоялось наше знакомство.

Странное впечатление производил Малолетка, так быстро сумевший «разыскать» мое имущество. На работу он не ходил, хотя в инвалидах не числился. Его ближайшими друзьями

были два молодых парня, с которыми он постоянно беседовал и которые с уважением внимали его разглагольствованиам. Они были из того же воровского мира, только, по-видимому, рангом пониже. Дружил он, вроде бы, и с дневальным барака, но, как я позднее понял, тот его просто боялся и был у него на побегушках. Большой краснойбай. Малолетка любил поораторствовать, причем в сферу его интересов входило все, начиная от жизни нашего лагпункта и до истории нашего отечества.

В первое время я, неопытный лагерный юнец, полагал, что авторитет Малолетки связан с его многолетним уголовным прошлым и что он играет в криминальном обществе роль некоего «первого блатного», которому подчиняются все представители этой достойной корпорации. Со временем я понял, что влияние Малолетки основывалось не только на уважении к нему уголовников.

Место мое в бараке оказалось не очень удобным. Лагерный «новичок», я после выписки из карантина расположился, по указанию дневального, на нижних нарах, у самого входа в барак. В ночное время дверь барака открывалась несчетное число раз, с наступлением холодов я мерз и мечтал перебраться в другое место. Случай представился, и помог мне дневальный. После «кражи» шапки он проникся ко мне сочувствием и, по собственной инициативе, предложил перебраться подальше от двери.

— Слышь ты, тебе здесь, верно, холодно. Место наверху освободилось, одного латыша на этап выдернули. Переходи, если хочешь.

Я, разумеется, охотно согласился и, таким образом, Малолетка, спавший на нижних нарах наискось от меня, стал моим соседом. Успешно обменяв спрятанную шапку на пачку сахара, он, видимо, рассчитывал и впредь кое-чем попользоваться из посылок «богатого» москвича. Но вскоре разочаровался. Посылки приходили редко и «обжать» простака было не на чем. Зато Малолетка извлекал из знакомства с новым лагерником иной «профит». Представлялась возможность порисоваться перед неискушенным интеллигентом своей былой воровской удачей, и в моем лице, по крайней мере в первое время, он нашел благодарного слушателя. Правда, я довольно скоро раскусил Малолетку, но интереса к этому занятному продукту нашей социальной действительности не утратил и постепенно выпытывал у него все новые подробности былой лагерной жизни. Разумеется, Малолетка всячески старался приукрасить свой облик и представиться благородным вором, грабившим только толстосумов-богачей и заботившимся о бедных и неимущих. Однако это ему слабо удавалось. Слушая шамкающего Малолетку, я, в конце кондов, невольно стал знатоком его весьма пестрой биографии.

Как-то, лежа на нижних нарах, Малолетка пожелал ознакомить меня с главными событиями своей жизни.

— С девятого года я, — начал свою исповедь Малолетка. — В революцию отец с матерью померли. Уж я и не знаю — от тифа или от голодухи. Остался я сиротой. С пацанами-однолетками поворовывал. Спали на улице, в котлах, где днем топили асфальт и в ночное время сохранялось тепло. В начале двадцатых по приказу Ленина товарищ Дзержинский организовал в ГПУ отдел помощи малолетним беспризорным. Советская власть о нашем брате беспокоилась. Стали нас собирать, кормить, одевать, учить грамоте и разным ремеслам. Мне в ту пору и двенадцати не было. Про нас говорили, что мы дети революции и будем строить социализм.

Поначалу мне все это понравилось: всегда сыт, в тепле. Годы ведь тяжелые были. Потом заскучал. С малых лет привык к вольной, воровской жизни. По весне сбежал с приятелем из детского дома. Как раз нэп пришел, буржуев развелось видимо-невидимо. Мы ведь мужиков-трудяг не трогали, по нэпманам работали. Забирали у них то, что они у рабочего человека отнимали. Да и то верно — что взять у простого работяги?

В двадцать четвертом взяли нас. Помню, как сейчас, в ленинские дни это было. Мне тогда пятнадцать стукнуло. На краже попались. Плохого нам ничего не сделали.

Чекист-воспитатель сказал, что мы — дети трудового народа, что нас буржуазная власть испортила и нас нужно перевоспитывать. Три года мне дали и в колонию отправили. Вот когда житуха была! Никакого надзора, ходи, куда хочешь, только к поверке приходи. Кормили хорошо. Я тогда очень футболом увлекался. Нас в соседнюю колонию возили на соревнования. Меня старшим назначили среди малолеток. Из-за этого меня Малолеткой и прозвали. Правда, я пару раз из колонии убежал, но потом возвращался. Три года быстро пролетели.

Как освободился и огляделся, думать стал, как жить дальше. Все вокруг вкалывают. Как собаки на веревке в конуре сидят. Мне это дело не по вкусу пришлось. Опять стал поворовывать. В тридцатом арестовали. Теперь речь уже шла не о колонии, мне ведь за двадцать перевалило. При Ленине и Дзержинском к нашему брату из народа как относились? А тут режимчик усилили, прижимать стали. Дали пять лет лагерей. Правда, я и там особо не упирался, но и прежней вольности не было.

Как вышел, связался со знакомыми корешами. Еще в лагере дружбу завел. Решили мы одного старичка потрясти. А нас взяли и по десятке влепили. Я от звонка до звонка, с тридцать седьмого по сорок пятый, припухал в Сиблаге. В войну в лагере голод был, люди как мухи мерли. А я ничего. Меня начальник лагеря завпекарней назначил. Как сыр в масле катался. За эти годы я столько баб поимел, счету нет. За кусок хлеба давали. А как вышел — два года погулял и новую десятку схлопотал. Вот и сижу.

В рассказах Малолетки удивительным образом сочетались революционная фразеология первых лет советской власти, любовь к Ленину и Дзержинскому с изливаниями блатнячка, хваставшегося налетами и грабежами и предававшего романтическим воспоминаниям о прошлой вольготной воровской жизни с пьяными оргиями и любовными похождениями.

Иным представлялся Малолетка в своих интимных беседах с друзьями. Тогда в его речах вырисовывался лик хищного урки, особенно ненавидевшего людей образованных.

— В лагере с политиками надо с умом действовать, — учил он своих дружков. — Ежели попадется богатенький, его нужно обжать. Спервая пообещать устроить на легкую работу или еще чего. А потом через знакомого нарядчика на тяжелый этап спихнуть. На рудники там или в лес. Наши там с ним разберутся.

— Я против советской власти никогда не шел, — говорил он в другой раз. — Из-за кого наша жизнь такой тяжелой стала? Все враги народа, вредители, особенно из интеллигентов. Кто оказался предателем? Троцкисты, разные там радеки, зиновьевы. Правда, Сталин их крепко посек. И было за что! Многих из них в те годы я по лагерям повидал. От интеллигентов все зло, понимать надо. Если бы не они, трудовой народ вот бы как жил!

Однажды Малолетка раздобыл бутылку водки, которую распил со своими обычными дружками. Изношенному за годы скитаний по тюрьмам и лагерям организму этого оказалось достаточным, чтобы захмелеть. Событие это совпало с нерабочим днем на лесозаводе. За несколько часов дневного безделья я отоспался и, лежа на верхних нарах, оказался невольным слушателем его очередного рассказа. Интересно, что в беседах со мной он никогда не решался касаться некоторых подробностей своей биографии.

Оказалось, что арест Малолетки в тридцать седьмом году сопровождался любопытным эпизодом. Некий наводчик сообщил Малолетке, что где-то в Москве, в Замоскворечье, живет старичок, собирающий старинные монеты. Компания решила ограбить нумизмата. Нагрянули к старику поздно вечером, связали его и выгребли из шкафа большую коллекцию монет. Все сошло бы удачно, если бы, когда они уходили, случайно не вышла на лестничную клетку

соседка и не признала в одном из спускавшихся по лестнице парней сына дворника из соседнего дома, который и был наводчиком. Через несколько дней всю компанию выловили, и следствие пошло своим чередом. Но тут случилось нечто необычное.

«Сижу я в следственной камере, — рассказывал Малолетка, — следователь куда-то вышел, а затем возвратился с человеком в форме НКВД. Они тогда шинели мышинного цвета с меховым воротником носили. Тот со мной за ручку поздоровался, а потом спрашивает:

— Вы в лицо можете признать человека, у которого монеты нашли?

Отвечаю, что могу. Думаю, чего там запереться?! Все равно все раскрылось, свидетель был, темнить нечего.

— Вот мы его вам сейчас покажем, и вы его опознаете. Смотрю и глазам своим не верю! Заводят нашего старичка. Штаны руками поддерживает. Под глазом большой синяк. На ногах еле держится, видно, его крепко обработали.

— Вы узнаете этого человека? — спрашивает следователь.

— Узнаю.

— Что и где вы обнаружили, когда пришли к нему домой?

Я все рассказываю. Дескать, так и так. Мы взломали старинный шкаф, вынули из него большие папки с листами, на которых были закреплены чем-то вроде клея монеты. Под каждой было написано, откуда она и какого времени. Когда мы папки домой притащили, я всю писанину прочитал.

— Опознать папки с монетами можете?

— Могу.

Следователь извлек из ящика стола папки и показал их мне. Потом составил протокол, и я расписался. Затем он говорит:

— Будет суд. Вы выступите свидетелем. И все обращается ко мне вежливо, на «вы». Мой-то следователь меня все время материл.

На суде все открылось. У старика, оказывается, нашли старые царские монеты. Говорили, что были монеты времен Екатерины Второй. Вроде, он должен был их сдать на государственное хранение или зарегистрировать. Я уж там не знаю. Прокурор целую речь произнес, объяснял, что это — государственная ценность. Правда, и старичок на суде большой шухер поднял. Кричал, что в его коллекции были какие-то особенные монеты, что он их всю жизнь собирал, если бы не он, они бы давно пропали. Суд ему десятку вlepил.

В лагере меня начальник вызвал:

— В деле у тебя написано, что ты на суде себя правильно вел, помог органам разоблачить валютчика. Мы тебя в пожарную команду зачислим, будешь с нами работать.

В тридцать седьмом многих врагов народа в лагере постреляли. Нам в пожарке особое поручение дали — расстрелянных закапывать. Помню, на морозе их раздели. От холода дрожат, испугались. Один из них митинг хотел устроить. Стал кричать: «Красноармейцы, вас обманывают подлые изменники революции!» Его, правда, быстренько пришили, чикаться не стали.

Потом меня бригадиром поставили. В лесу работали. А в бригаде — сплошь интеллигенция

разная. Работать не привыкли. Друг друга по имени-отчеству величали. Помню, один профессор был. Норму, ясное дело, не выполняли. Я их крепко прижимал. Бывало, в мороз поставлю на пенек — стой, пока не околеешь! Конвой помогал мне. А то и дрыном, бывало, по спине погуляю. Многие из них там остались».

Конец авторитету Малолетки наступил совершенно неожиданно, причем я оказался свидетелем его унижения. Как-то в наш лагерный карантин пришел новый этап. Заключенных привезли из «закрытки», то есть из тюрьмы, где отбывали срок особо тяжкие рецидивисты. После тюрьмы их переводили в лагеря с повышенной режимностью. Обычно их держали у нас в карантине сутки или немного более, после чего отправляли в глубинку, на лесоповальные пункты. Санитарную обработку они проходили под наблюдением конвоя в лагерной бане.

В тот вечер мылись заключенные нашего барака. Малолетка, как всегда, занимал в моечной самое лучшее место и проводил там много времени. Я помылся, вышел в предбанник и уже оделся, когда из карантина в сопровождении двух надзирателей привели режимников.

Их было человек десять, и среди них выделялся невысокого роста крепыш, спина и грудь которого были густо разрисованы цветными наколками.

— Курить есть, батя? — спросил он меня. Я протянул ему мешочек с махоркой.

— Я смотрю, у вас тут порядочек, банька подходящая, — сказал парень, оглядывая помещение предбанника.

В это время из моечной вышел Малолетка. От жары он слегка одурел и в банном чаду не заметил вновь прибывших. Однако его хорошо разглядел мой собеседник.

— Вот ты где, однако, прячешься, Малолетка, — весело закричал крепыш. — Наконец-то я тебя нашел! Сорвался ты, сука, тогда с моего ножа, но теперь адрес твой известен. Не уйдешь!

Среди прибывших раздался сдержанный смешок.

Малолетка побледнел, как-то съежился, не одеваясь, в одних трусах, выскочил на улицу. На дворе стояла поздняя осень и было довольно холодно. Глядя на него, трудно было поверить, что он умеет так быстро бегать. Не останавливаясь, он домчался до вахты, а уже через минуту появились конвойные и увели этапников за зону. На этот раз Малолетка был спасен.

В лагере между уголовниками хорошо налажен беспроволочный телеграф, и уже на следующий день всем на ОЛПе стало известно много нового из биографии Малолетки. Оказывается, наш «старый лагерный волк» еще с тридцатых годов был связан с надзором, одно время даже состоял в самоохране, что доверялось обычно бывшим военным служащим, совершившим в армии мелкое уголовное преступление. Воров, да еще и рецидивистов в самоохрану, конечно, не брали. Словом, он был «сукой» со стажем.

После происшествия в бане всех режимников отправили на этап. Но отныне положение Малолетки в лагере коренным образом изменилось. Друзья его покинули, и он ходил по бараку, униженно заглядывая всем в глаза.

В ответ на всякое обращение он встречал презрительное молчание или даже угрозы. Правда, некоторое время он еще хорохорился, но, в конце концов, совсем сник. «Не жить Малолетке, — сказал мне один парень, сидевший за бандитизм. — Убьют его. Он в закрытку наших упек».

И действительно, однажды вечером, в темноте, Малолетку кто-то ударил по голове, и он

пришел весь окровавленный, а в другой раз, ночью, в барак заявили двое с лицами, вымазанными сажей, стащили Малолетку с нар и стали избивать. Никто в бараке не захотел ему помочь. Спас его надзиратель, совершавший в это время обход и услышавший его крики.

Наутро Малолетку куда-то этапировали.

Жизнелюб Шурик

С Шуриком я познакомился в самом начале своей лагерной карьеры. Я работал на сортировочной площадке лесопильного завода, в мою обязанность входило стаскивать с непрерывно движущейся ленты конвейера шестиметровые доски и укладывать их в пакеты, так называемые «сани». Работа на конвейере не давала ни минуты передышки, и я, привыкший все делать добросовестно, метался по эстакаде из последних сил, стараясь не отставать от его движения. Пробегавший мимо по заводским делам Шурик почему-то посочувствовал мне: может, мое потное, измученное лицо вызвало у него жалость, а может, его внимание привлекло мое одеяние — рваная, грязная от пыли телогрейка и нелепая, не по размеру огромная шапка-ушанка. Подойдя ко мне, он изрек:

— Ты, мужик, особо не старайся, а то на весь срок тебя не хватит. Дергай доски по силам, а какие не успеешь — пропускай.

— Но тогда конвейер остановится! — испуганно пробормотал я.

— Ну и хер с ним, с твоим конвейером. Учат вас, дураков-интеллигентов, учат, а вы все никак не поймете!

— Десятник матерится, — возразил я.

— Десятник — сука. Он двадцатипятилетний из проворовавшихся ответственных товарищей и выслуживается, чтобы его дальше в тайгу не угнали. Будет цепляться, пошли его подальше. Куда он, гад, денется? Остановит конвейер и пришлет в помощь человека.

Слова Шурика оказались пророческими, и после многоступенчатой матерной брани с неизменным упоминанием не умеющей работать вшивой столичной интеллигенции десятник вынужден был поставить на мой участок еще одного человека. Так состоялось мое знакомство с Шуриком.

Шурик работал на ремонтно-механическом заводе и был на время прикреплен к нашей лесопилке для какого-то срочного ремонта. Как мне позднее говорил знакомый инженер, Шурик был, что называется, «мастером на все руки». Не имея специального технического образования, он успешно справлялся с труднейшими производственными заданиями. О своих способностях сам он отзывался так:

— Ты у Лескова читал, как русский умелец блоху подковал? Не очень-то это у него получилось. Возьмись я за дело, она бы у меня еще и запрыгала!

Коренной москвич, Шурик, как и я, был лагерником послевоенного набора и ко времени моего ареста уже отбыл около двух лет. Это был высокий парень лет двадцати пяти с веселым открытым лицом. Поведением и лексикой он заметно отличался от старых лагерников,

обычно мрачноватых и не склонных к шуткам. О себе он всегда говорил с оттенком легкой иронии, при этом его голубые глаза как-то по-особому насмешливо и таинственно смотрели на собеседника, будто их обладатель постиг и бережно хранил тайну человеческого счастья. Вероятно, Шурик был одним из самых оригинальных персонажей, с которыми меня сталкивала судьба на лагерном пути. Когда Шурик в рабочем одеянии и в неизменной, лихо одетой набекрень кепчонке проходил мимо, его легко можно было принять за рядового московского разнорабочего, грузчика в каком-либо продовольственном магазине, склонного выпить с приятелями возле попавшегося на пути уличного ларька. Тем удивительней было услышать от него меткие оценки и рассуждения об искусстве и литературе, свидетельствующие о немалой эрудиции. При этом его своеобразные замечания обличали в нем ум, большой жизненный опыт и наблюдательность.

Шурик обладал отличными музыкальными способностями. Часто в бараке я слышал, как он искусно насвистывал мелодии не только из репертуара эстрадных певцов, но и из классических опер. Тихонько подпевая себе, он играл на гитаре, а как однажды выяснилось, и на фортепиано, причем выучился этому сам, подбирая на слух случайно услышанные мелодии, и однажды даже принял участие в самодеятельности, аккомпанируя какому-то лагерному певцу. Нотами он не пользовался, ибо читать их не умел, а аккомпанемент подобрал сам и справился со своей задачей не хуже профессионала.

На воле Шурик был завзятым театралом и рассказывал мне с удивительным пониманием специфики сценического искусства о спектаклях, известных мне только понаслышке. Вместе с тем и закулисная жизнь большого города была ему хорошо знакома. Он прекрасно разбирался в особенностях столичных ресторанов и нравах их постоянных посетителей. В числе знакомых Шурика были известные люди. Среди тех, с кем ему довелось, по его рассказам, встречаться, числились обласканные властью советские писатели, художники и киноактеры. Мелькали также имена выдающихся спортсменов и даже дипломатов. Выходило, что со всеми ними он был в разное время знаком, а с некоторыми — на дружеской ноге, причем многим из них давал убийственные характеристики.

Как-то в бараке зашел разговор об иностранных посольствах в Москве, и тут Шурик также обнаружил недюжинную осведомленность.

— Ты, что же, в советской разведке работал? — настороженно спросил я.

— Нет, не работал, но об этих умниках из посольств кое-что знаю, — загадочно проговорил Шурик.

Повествуя о долагерной жизни, заключенные обычно многое приукрашивают, часто даже сочиняют. Это делается не обязательно умышленно, но в результате некоего психологического сдвига, меняющего отношение человека к его прошлому. Фантазируя, люди придумывают разные истории из своей жизни на воле, а позднее эти вымыслы прочно закрепляются в сознании, их создатели начинают сами в них верить. Инстинкт самосохранения побуждает хотя бы мысленно искать в выдуманном прошлом компенсацию за унижительное настоящее. Вымышленное дает выход накопившимся и невостребованным эмоциям и тем самым облегчает существование. Поэтому подлинность рассказов Шурика о его жизни на воле при первом знакомстве вызвала у меня известные сомнения, которые, впрочем, со временем рассеялись.

Шурик родился и вырос в Замоскворечье, дед его до революции занимался крупной оптовой торговлей, часто бывал по делам за границей и знал иностранные языки. Разумеется, в первые годы революции он бесследно исчез где-то в недрах Лубянки. Мать Шурика бедствовала и, скрываясь, переезжала с места на место, а мальчика воспитывала бабушка, обучившая внука французскому языку. Хорошие языковые способности и любознательность побудили юношу во время гражданской войны в Испании, в середине тридцатых годов,

записаться в кружок по изучению испанского языка, который ему позднее пригодился.

Кое-как окончив школу, Шурик поступил в политехникум связи. Болезнь, а потом и смерть бабушки вынудили его окончательно бросить учебу и устроиться на работу в какую-то ремонтно-строительную организацию, где вскоре оценили его способности. Однажды поступило заявление из посольства одной латиноамериканской страны с просьбой прислать мастера для ремонта и переделки системы освещения в посольском здании. Шурика отправили с заданием. Веселый и контактный парень проработал в посольстве месяц и сумел подружиться со многими сотрудниками, в чем ему помогли скромные познания в испанском языке. Через месяц он уже мог довольно свободно общаться с молодыми работниками посольства. Ему очень пригодилось умение играть на гитаре и петь испанские песни, с которыми он выступал на вечерах еще тогда, когда учился в школе. Его стали охотно приглашать на праздничные приемы, куда обычно приходили и сотрудники посольств других стран Латинской Америки. Выданный советскими властями пропуск для работы облегчал ему доступ в посольство, стоявшие там милиционеры к нему привыкли и пускали без особой проверки как сотрудника, а с некоторыми из них он даже завел знакомство и вступал в дружескую беседу.

— Не может быть, чтобы ты не состоял по совместительству на работе в соответствующих органах, — сказал я, слушая рассказы парня.

— А вот, представь, не состоял, — со смехом отвечал Шурик. — Мы ведь думаем, что они следят за всем и знают все. На самом деле там работают такие же лопухи и чиновники, как в любом советском учреждении.

На приемы в посольство по случаю разных памятных дат приглашались многие деятели искусства, ученые и дипломаты. Общительный парень легко заводил знакомства и в конце концов стал привычным участником всех торжественных собраний. Разумеется, немалую роль играло умение Шурика петь под гитару испанские песни, о чем его неизменно просили. Словом, Шурик «втерся в доверие». Возможно, некоторые из приглашенных советских граждан подозревали, что он присутствует на приемах не случайно, но молчали об этом. Перезнакомился Шурик и с сотрудниками других латиноамериканских посольств и стал и от них получать приглашения в юбилейные дни. Позднее он приходил и без приглашения в разные «дни независимости», и его всегда охотно принимали.

— Я и график составил, в какой стране и по каким числам празднуют национальные и религиозные праздники, а их у католиков-латиноамериканцев полно, и приходил, когда по приглашению, а когда и без спроса, брал с собой гитару, и меня всегда встречали с распростертыми объятиями, — рассказывал мне Шурик. — Там и поешь, и вина попьешь всласть, и с интересными людьми познакомишься. Хотелось немного развлечься, ведь жизнь была такая тоскливая. Слова не с кем было сказать. Главное было не опоздать к началу банкета и пройти, смешавшись с группой приглашенных. Возьмешь кого-либо из знакомых под руку, начнешь лопотать по-испански и проходишь как «свой». Люди, конечно, догадывались о моих маневрах и старались помочь как могли. Они ведь знали наши порядки. Ну а милиция в такие минуты не очень-то проявляла бдительность. Бывало, что остановят. Покажешь пропуск. А что он просрочен — до этого никому не было дела.

Вечно такое поведение Шурика ускользать от внимания бдительных советских органов, конечно, не могло, и наступил день, когда на парня обратили внимание.

Обвинение, предъявленное Шурику во время следствия, не показалось бы чем-то необычным в тридцатые годы, когда следователи давали волю своей фантазии и всем подряд приписывали шпионаж, вредительство и другие страшные преступления. В послевоенные годы мода на нелепые вымыслы прошла, ибо оказалось, что человека можно осудить решением Особого совещания, не слишком изощряясь в выдумках. Поэтому, для начала

обвинив в шпионаже или в намерении заниматься шпионажем в пользу неизвестной страны и помотав год на тяжелых допросах в знаменитой, недоброй памяти следственной Сухановской тюрьме, Шурика осудили по банальной статье пятьдесят восемь, пункт десять, за «антисоветскую агитацию» на срок десять лет.

Изобретательный, никогда не унывавший и склонный к смелым авантюрам Шурик и в лагере сумел обеспечить себе некоторые житейские радости. Его возвышения, падения и новые возвышения происходили на моих глазах. Как-то в местном поселковом клубе испортилась киноаппаратура, и заведующий клубом через лагерное начальство попросил прислать с завода толкового мастера. Шурик узнал об этом деле и, хотя не имел никакого опыта обращения с подобной аппаратурой, сообразив, что представляется хороший шанс, сам вызвался исправить несложный механизм. Покопавшись день, он во всем разобрался, все исправил и тут же получил новое поручение — починить бездействовавшую уже много лет клубную радиолу. Он и здесь не оплошал, и с той поры его стали постоянно приглашать в дома начальников для всяких ремонтных работ с техникой. Веселый и разбитной парень быстро перезнакомился со многими местными девицами. Как-то на майские праздники ему даже доверили электрификацию поселка, для чего разрешили ходить без конвоя.

Сославшись на необходимость постоянного наблюдения за изношенной, некачественной киноаппаратурой, Шурик стал регулярно посещать клуб, и именно от него я впервые услышал о фильме «У стен Малапаги», содержание которого он мне доложил умело и красочно. Словом, Шурик начал процветать.

Но и на этот раз пользоваться представившимися возможностями Шурику помешал его неуемный характер. Как в известной сказке, ему захотелось стать еще «царицею морскою». Дочь одного из заместителей начальника Каргопольлага не отказала ему в своем внимании. Он стал наведываться к своей пассии в вечернюю пору, когда отец бывал на работе, а мать, дама, видимо, весьма легкомысленная, также куда-то уходила. Связь Шурика с девицей вскоре обнаружилась. Шурик попался, как говорят, «с поличными». Дело усугублялось тем, что девица оказалась беременной. Отца ее погнали с должности за потерю «бдительности».

Шурика этапировали в отдаленную штрафную зону, и накануне вечером, прощаясь со мной, он, со своей обычной веселой улыбкой, сообщил, что отправляется «для продолжения службы» на новое место, где его ожидают новые испытания. В его серых глазах не было ни страха, ни грусти из-за расставания со столь вольным житьем. Он не кокетничал и не храбрился, хотя знал о царящих в штрафной зоне нравах. Казалось, он жаждал новых впечатлений и приключений.

Я потерял Шурика из виду на несколько лет. О штрафной зоне, куда этапировали Шурика, рассказывали ужасные вещи: сплоченная группа блатных сумела объединить вокруг себя всю уголовную братию и установить полнейший произвол. Началось с того, что публично казнили несколько человек, которых их «суд» обвинил в соучастии с надзором. Блатные в зоне не работали, хотя конвой и выводил их в лес, а бандиты-бригадиры избивали работающих, требуя, чтобы они выполняли норму за блатных. Начальство до времени смотрело на происходящее сквозь пальцы и следило лишь за тем, чтобы пиловочник исправно поступал на лесобиржу. Но наступил момент, когда пресловутый план вовсе перестал выполняться, и начальство вынуждено было принять меры: в жилую зону вошел конвой, бандитов разбили на несколько групп и разослали по разным лагерям Дальнего Севера.

Однажды Шурик вновь появился в нашей зоне. Он был все такой же, как и раньше, с веселой улыбкой и неизменной кепочкой набекрень. Я поспешил к нему.

— Как ты пережил этот блатной беспредел? — спросил я;

— Мне там сперва досталось. Их «Центральный Комитет» приговорил меня к смерти за отказ

выполнять чужую норму. Уже, как полагается, спросили, что я предпочитаю: чтобы меня казнили или искалечили, переломав топором руки и ноги. Но я прочел им целую лекцию о невинно осужденных и получивших реабилитацию лишь после казни, вспомнил графа Монте-Кристо и другие случаи и так их заинтересовал, что меня помиловали. А потом стал регулярно рассказывать о своих встречах на воле, банкетах в посольствах и другие разные истории, и, в конце концов, их главварь проникся ко мне такой симпатией, что сделал меня своим ближайшим другом. Все любят рассказы о красивой жизни, после них человеку кажется, что он и сам испытал ее. Ну а потом, когда блатных из зоны убрали, я стал электропилы чинить, вновь получил пропуск и с одной хорошей девчонкой из вольнонаемных познакомился.

— А тебе страшно не было? — спросил я.

— Чуток, — весело ответил Шурик. — Надо же было вляпаться в такое приключение.

— Ну, ты никогда и нигде в жизни не пропадешь! — с восхищением заметил я.

— Шекспир говорил, что жизнь есть театр, а люди в нем актеры. Важно только не опоздать к началу банкета, — подмигнув, сказал Шурик и пошел прочь.

Инопланетянин

— Кто тут у вас на бирже главный дирижер?

— У нас нет дирижера, мы — Персимфанс, — бурчу я, не подымая головы. У меня скверное настроение. С утра бригада занята бессмысленной работой. Устраняя брак лесосоцеа, мы отпиливаем ножовками гнилые концы досок, делаем целый день то, на что в цеху завода ушел бы всего час.

— А что такое «Персимфанс»?

— Первый симфонический ансамбль, — объясняю я, продолжая пилить. — Был такой в тридцатые годы. Первый скрипач подавал знак, и оркестр играл без дирижера.

— Интересно, — замечает невидимый собеседник, — я занимался когда-то музыкой, а об этом не слышал.

— Много, друг Гораций, есть на свете дел, нам неведомых, — философствую я.

Наконец я отрываюсь от работы и поднимаю голову. Надо мной стоит, точнее возвышается, почти двухметровый человек, прямой как жердь, тощий и, как мне кажется, очень старый. Над узкими плечами торчит маленькая, круглая, наголо остриженная головка. Лицо и высокий лоб изрыты многочисленными морщинами, а из-под густых, рыжеватых бровей на меня смотрят с легкой иронией веселые серо-голубые глаза. Видно, моя нелепая согбенная фигурка кажется старику смешной. Пришелец одет в ветхую, рваную, с бахромой по краям, заляпанную машинным маслом телогрейку, которая, и по лагерным нормам, выглядит уж очень убогой. На голове его торчит странная, маленькая, похожая на блин шапчонка, прикрывающая одну лишь макушку. Я смотрю на него с удивлением, и, видимо, уловив мой молчаливый вопрос, человек представляется:

— Йозеф Дитрикс. Занимаю на заводе высокий пост заведующего и единственного рабочего инструменталки. Ваша бригада уже второй месяц не сдает в конце рабочего дня инструменты. Это непорядок.

Я с любопытством разглядываю незнакомца. В лагере много странных людей, но этот уж слишком необычен. Размышления мои прерывает главный остряк и резонер бригады, мелкий воришка Петька или, как к нему все в бригаде полуиронически адресуются, Петр Федорович.

— А, шпион Йоська собственной персоной к нам в бригаду пожаловал! Как там дела на нашем шпионско-диверсионном фронте? Заводик сегодня взрывать будем или обождем, когда министр Абакумов с ревизией прибудет, тогда уж заодно?

Содержательную речь Петьки прерывает подошедший бригадир. Он всегда находится в состоянии крайнего возбуждения. Как и многие уголовники, невропат, он, подбегая, уже начинает орать:

— Ты что тут лазаешь, шпион, фашист хуев?! В прошлый месяц составил акт, что в бригаде инструменты пропадают, и меня к начальнику таскали. Какого хера все ходишь и нудишь?! Отдадим тебе твои паршивые инструменты.

— Ишь ты, шпион, а о народной собственности печется! Маскируется, — вторит ему, ухмыляясь, Петька. — Я, к примеру, эту самую народную собственность в гробу видел. Пусть начальник за ней смотрит. Он для этого дела поставлен.

— Порядок должен быть. Вот и приходится вам все вновь и вновь об этом напоминать. Повторение, как известно, мать учения, — назидательно замечает старик и неожиданно добавляет:

— «Гутта кават лапидем...» («Капля долбит камень...») Чисто механически, не задумываясь, я заканчиваю строку из стихотворения римского поэта Овидия, которая сохранилась в моей памяти со времен студенческих занятий латынью:

— «...нон ви, сед сепе кадендо» («...не силой, но частым падением»).

Старик несколько озадачен:

— А что, в России есть еще люди, которые знают латынь?

Я раздосадован. Этот тип, кажется, нас за дикарей держит! По этому случаю считаю уместным произнести короткую патриотическую речь в защиту наших исконных национальных культурных традиций:

— Да у нас в России каждый второй говорит по-латыни похлеще Цицерона или там Юлия Цезаря! Вы пообщайтесь с нашим выдающимся знатоком изящной словесности Петром Федоровичем. Он вам такую богатую образами речь толкнет, куда там до него слабакам римлянам!

Видно, с единственной целью подтвердить справедливость моих слов Петька с еще большей энергией включается в беседу.

— Ты что, падло, не по-нашему ругаешься?!

— Я не падаль, — поправляет его пришелец, и в его глазах опять появляются веселые искорки, — я пока еще живой человек, свободный гражданин, как это записано в конституции свободного и независимого, добровольно вошедшего в Советский Союз Латвийского государства.

Мысль, будто Латвию можно считать независимым государством, представляется Петьке весьма спорной. К тому же у Петьки свои представления о таких понятиях, как «свобода» и «свободный человек», сложившиеся под влиянием встреч с судьями и последующих многократных экскурсий по тюрьмам и лагерям.

— Ну не чудик?! — говорит он, оборачиваясь ко мне, словно приглашая вместе подивиться странным речам незнакомца. — Натуральный чудик! Свободный человек, ишь ты!

— Да, я свободный человек, а ты родился рабом и рабом на вечные времена останешься.

Такой поворот в судьбе не кажется Петьке столь уж невероятным. Досадую, он, как знающий свое дело советский пропагандист, прибегает к аргументу, который должен окончательно выбить почву из-под ног противника:

— Мы не рабы! Мы, славяне, немчуру всегда бивали!

— Да ведь имя-то «славяне» происходит от латинского «славус», или «склавус» — «раб». Славяне были рабами у римлян и византийцев.

Потрясенный эрудицией старика, Петька несколько сникает. Но, быстро оправившись, он переходит в наступление и обращается к излюбленной в лагере национальной теме. Согнанные со всех концов необъятной советской империи, жители лагеря постоянно выясняют взаимные отношения в этом Ноевом ковчеге.

— Слушай, Дитрикс, ты же из евреев, но это скрываешь. И зовут тебя Йозеф, по-нашему Йоська. Да еще и шибко образованный. Ну, конечно, еврей!

Дитрикс весело улыбается:

— А ты — татарин, но признаваться не хочешь!

— Врешь ты, я — коренной питерский житель. Тут включается в дискуссию бригадир. Он по натуре хоть и не садист, но его хлебом не корми, но дай поиздеваться над человеком. Многолетнее пребывание в лагере ожесточило от природы незлого человека. Петька — объект подходящий, его широкое, скуластое лицо всегда служит поводом для насмешек.

— Ты на себя в зеркало взгляни: нос плюский, глаз узкий, ну какой же ты русский? Вылитый татарин! А что в Питере жил, то там в дворниках одна лишь татарва служит. Отец твой, небось, с метлой ходил.

Петька начинает заметно нервничать. Он ждал от бригадира поддержки, а получил удар в спину.

— Да я же и по-русски чисто говорю.

— Как же, чисто. Ну-ка скажи: «Моя башка Казань ходила».

— Зачем?

— А ты скажи.

— Моя башка Казань ходила.

— Ну, видишь, татарин и есть. Сам сознался. И выговор татарский. Выходит, ты обманул советскую милицию, когда паспорт получал. Русским назвался. Никакой ты не Петр Федорович, а Мустафа Ломай Сарай-оглы.

— Да нет же, — чуть не плачет от обиды и злости Петька, — я родился на Выборгской

стороне.

— А почему морда широкая и скуластая, в три дня не обосрать? Небось, мать с татаринном спала.

Но Петька сдаваться не хочет и, дабы отвлечь внимание от своей внешности, переменив тему, предъявляет Дитриксу политические обвинения.

— Ты, Дитрикс, натуральный шпион и хотел продать родину немцам!

За долгую тюремно-лагерную жизнь Петька давно уже понял, что все обвинения в шпионаже — игра веселой фантазии следователей с Лубянки. Но, воспитанный на лучших образцах советской пропаганды, он прекрасно знает, что в политических спорах дозволены все приемы демагогии.

— Ты хоть и сумел отвертеться от пятьдесят восьмой статьи, родина тебе все равно не доверяет. И правильно делает.

— Чей же он, интересно, шпион? — не выдерживаю я.

Старик смотрит на Петьку насмешливо, и в его глазах бегают все те же веселые искорки.

— Коллега, которого вы именуете Петром Федоровичем, не так уж далек от истины. Примерно в том же самом и следователь меня обвинял. Правда, и ему было не совсем ясно, в чью пользу я занимался шпионажем. Он все подыскивал подходящее государство.

Наконец Дитрикс уходит, и тут неожиданно со мной заговаривает пожилой человек из Архангельска, обычно молчаливый Степан Степанович. В прошлом он был хозяйственником на каком-то заводе и за незаконную деловую комбинацию получил двадцать лет. Вообще-то, он боится общаться с нами, «контриками», но для меня он почему-то делает исключение. Из лучших чувств он решает меня предостеречь:

— Ты с этим немцем поостерегись! Разве не видно, что он за птица? Фашист натуральный. Тебе за разговоры с ним новый срок намотать могут.

— Да ведь он сидит даже не по пятьдесят восьмой статье!

— Ты не знаешь. Он хитрый, маскируется. Сумел обхитрить следователя, а может, кому и сунул.

Глаза Степана Степановича становятся круглыми и испуганными.

— Но ты же сам признавал, что твое дело дутое и прокурор состряпал его, чтобы карьеру сделать. Почему же ты не можешь поверить в невиновность этого латыша или немца?

— Ты не знаешь! Когда в тридцать седьмом в Архангельске разоблачали врагов народа, у первого секретаря обкома в матраце нашли два миллиона рублей. Нам об этом на партийном собрании сам прокурор области докладывал. Он врать не стал бы. Правда, его самого потом посадили.

Петьке не терпится взять реванш за поражение в споре с Дитриксом, и он накидывается на Степана Степановича, которого не любит, считая его жадным хапугой.

При этом себя он обычно рисует защитником народных интересов и врагом советской плутократии.

— А ты, что, лучше этого шпиона? Сам разворовывал государство и хочешь, чтобы оно тебя

по головке гладило. Небось, сам в матрасе пару миллиончиков зашил!

Как всякий крупный жулик, Степан Степанович уличных воров не жалует, а Петьку, который не дает ему в бригаде житья, особенно ненавидит.

— Ты же ворюга! Посягал на собственность трудящихся людей.

— Я хоть у толстобрюхих богатеев излишки собирал, эксплуататоров. А ты — экономический диверсант. Осудили тебя правильно — за хищение государственной собственности в особо крупных размерах.

Петька хорошо осведомлен в статьях Уголовного кодекса, имеющих отношение к его профессии.

Вечером бригадир велит мне собрать инструменты и отнести их к Дитриксу. Крошечная инструменталка содержится в идеальном порядке. Все предметы снабжены табличками, на которых указано, кто и когда их брал и когда возвратил. Тут же находятся станочки, необходимые для их текущего ремонта. Во всем ощущается немецкий педантизм и аккуратность.

Дитрикс встречает меня радушно, как уже хорошо знакомого, и рассказывает мне свою, необычную даже по нормам сороковых годов, историю.

— Вас, вероятно, удивило, почему меня все именуют шпионом. У меня ведь, собственно, в деле и пятьдесят восьмой статьи нет. И срок у меня, как здесь принято считать, детский. Пять лет. Вообще-то я не часто рассказываю о своей жизни, но если это вас интересует как историка... Я родился в Риге в немецкой семье. У вас в исторической литературе обычно фигурируют «псы-рыцари» и «остзейские бароны», обязательно в облике грубых и жестоких завоевателей. Я как раз и происхожу из семьи этих самых баронов. Предки мои переселились в Прибалтику несколько столетий тому назад. Они владели в Латвии, тогда она называлась Лифляндией, большими землями, состояли на службе у русских царей, служили им верой и правдой, и некоторые из них достигли высоких чинов в армии и администрации.

С годами наш род обеднел, и еще до первой мировой войны я уехал в Германию, где окончил классическое отделение Гейдельбергского университета, а позднее учился два года и в Сорбонне. После войны я возвратился в Ригу, где преподавал в гимназии немецкий и французский языки. Приход русских в сороковом году я встретил сочувственно. В семье родители постоянно вспоминали о временах довоенного русского владычества как о «золотом веке». Дома говорили по-немецки и по-русски. Так мирно и жили. Я учительствовал.

Однажды в зиму сорок седьмого года поздно вечером к нам позвонили. Мы жили тогда в Риге, в старой квартире, принадлежавшей еще деду и прадеду. Ворвались люди, человек десять, обыскали, все перерыли и меня увели. Во время следствия я узнал, что ваши чекисты, копаясь в старых архивах латышской контрразведки, нашли какие-то материалы о секретаре английского посольства в Риге. Фамилия его была Дайрекс, похожая на мою. Решили, что это я и есть. Что только не творили со мной почти два года! Били, мучили в холодном карцере, все домогались, чтобы я сознался, что был английским шпионом.

— Почему английский? — говорил им я. — Скорее уж немецкий, ведь я немец.

Но им важно было, чтобы я оказался английским. Это было вскоре после знаменитой фултонской речи Черчилля, тогда начиналась необъявленная война с бывшими союзниками.

Неожиданно в зиму сорок девятого моя тюремная жизнь круто изменилась. Ночью меня перевели из одиночки в общую камеру. Так торопились, что не дождались подъема. Утром

потасили к следователю.

Тот встретил меня, словно старого друга после долгой разлуки. Только что. не обнял.

— Ну, Дитрикс, — сказал он, — ты все ворчишь, что у нас арестовывают честных людей. А мы ведем дела по справедливости, зря человека не посадим. Вот и в твоём деле разобрались. Оказался ты однофамильцем шпиона. Помер он ещё в тридцатых. Мы с тебя обвинение снимаем. Советская власть судит лишь преступников. Распишись, что дело прекращено.

Я расписался, и меня отвели обратно в камеру. Сажу и жду освобождения. Проходит месяц, идет второй. Пишу жалобу. Однажды вызывает меня начальник тюрьмы и протягивает бумажку, чтобы я прочитал. Оказывается, решением Особого совещания я осужден на пять лет лагерей как социально опасный. Статья семь, тридцать пять.

— Да я ж ни в чём не виноват, — наивно говорю я.

— У нас расхода не бывает, только приход, — смеется капитан и, увидев мое недоумевающее, растерянное лицо, утешает:

— Ты ведь уже около двух лет отсидел, осталось всего ничего, годика три, — и добавляет, выдавая затаенную мысль, — я и сам тут с вами третий год без отпуска. Думаешь, мне сладко?!

Я любил беседовать с Дитриksom на разные темы. Это был человек острого ума, наблюдательный, ироничный и по-немецки обстоятельный. Проведя в лагере уже около трех лет, он не переставал удивляться всему тому, что видел. А мне было интересно разговаривать с человеком иной культуры и другого жизненного опыта, смотревшего на нашу жизнь со стороны, как это стал бы делать обитатель иной планеты.

Наконец наступил долгожданный день освобождения Дитрикса. Дата эта — одиннадцатое декабря пятьдесят второго года — была аккуратно вырезана ножом на его деревянном рабочем столе в инструменталке. Жена писала, что все приготовила к его приезду, даже любимое им земляничное варенье и маринованные грибки. Я ещё накануне с ним простился. Но вечером, после работы, я неожиданно увидел его у вахты все в той же измазанной маслом телогрейке. Он эпически повествовал окружающим о новом повороте в своей судьбе. Оказывается, утром его вызвали в спецчасть, и дежурный офицер вручил ему постановление Особого совещания. Его вновь осудили на пятилетний срок по той же статье.

— Скажи спасибо, что мы тебе за разговорчики в зоне пятьдесят восьмую не дали, — сказал офицер спецчасти в ответ на его протесты по поводу незаконного приговора.

Я начал было, как мог, выражать ему сочувствие, но он остановил меня легким движением руки и, как всегда улыбаясь, сказал:

— Я от вашей власти всегда чего-либо в этом роде ожидал. Не могла она просто так выпустить меня из рук. Жену только жалко. Она, не спросясь, вчера меня встречать приехала. Для нее это будет большим ударом.

— Но ведь так можно сидеть всю жизнь, — с жалостью глядя на старика, бестактно восклицаю я.

— Вы не смотрите, что я выгляжу стариком, — угадав мою мысль, говорит Дитрикс. — Я ещё ничего, крепок, переживу великого и гениального сверстника.

— Но там же полно наследников похлеще.

— Однако второго такого найти нелегко. И действительно, Дитрикса освободили через

несколько месяцев после смерти Сталина.

В тот вечер, возвращаясь с работы, я увидел на вахте, у входа в жилую зону, стройного, подтянутого, чисто выбритого человека в сером, превосходно сидящем на нем костюме, при галстукe. Не без труда я узнал в нем моего бывшего оборванного, в грязной телогрейке собеседника из заводской инструменталки. Рядом с ним стояла маленькая старушка, едва доходившая ему до плеча. Дитрикс показал ей на меня пальцем и что-то сказал. Старушка радостно закивала мне головой и выкрикнула, видимо, слова приветствия, но я их не расслышал.

— Выкрутился нерусский черт, шпион, небось, кому-нибудь дал на лапу, они там, в Латвии, все с деньгами, — прошипел, глядя на счастливую пару, вечный недоброжелатель старика Степан Степанович. — Одних фашистов и евреев освобождают, а русскому человеку сидеть и сидеть.

Вдруг Дитрикс сложил руки трубочкой, и сквозь шум я разобрал слова, звучащие здесь как пароль:

— «Гутта кават лапидем нон ви сед сепе кадэндо». До встречи на воле!

Но встретиться нам не привелось.

Дело житейское

Работа на дробилке была не тяжелой, но муторной. На протяжении всего одиннадцатичасового рабочего дня нужно было пропихивать отходы от распиловки бревен в узкую щель вращающихся чугунных жерновов. Раздробленные куски древесины проваливались в специальный контейнер, откуда ими загружали паровые машины заводской электростанции, снабжавшей электроэнергией все цеха лесопильного завода, жилую зону лагеря и расположенный близ него поселок, где проживало начальство и обслуга. Обрезки древесины были мокрые и грязные, не все пролезали в дробилку, приходилось переламывать их руками. Древесная пыль и грязь летели во все стороны, набивались в уши, лезли в глаза и толстым слоем покрывали лицо и одежду. Движущаяся лента конвейера непрерывно подбрасывала новые партии мокрой древесины, поэтому от работы нельзя было оторваться ни на минуту.

Однако раздражала меня не работа, а несносный старший в группе, некий Точиллов, который все время ругался и придирался к своим подчиненным. Группа состояла из трех человек: самого Точилова, восемнадцатилетнего паренька, осужденного за мелкую кражу, и меня.

Более невзрачного человека, чем тридцатилетний Точиллов, трудно было себе и представить. Низкого роста, худенький, с каким-то сморщенным, стариковским лицом и впалой грудью, он отличался удивительной подвижностью и с важным видом носился по цеху то в поисках никому не нужного инструмента, то якобы для оформления каких-то документов. Осужден он был за хулиганство. Должно быть, ему не часто представлялась возможность покомандовать, и теперь он упивался своей высокой должностью. Все ему было не так. То мы, по его мнению, слишком медленно работали, то просовывали в жернова слишком большие куски древесины, от чего дробилка могла остановиться. При этом он все время сквернословил, выкрикивая

ругательства каким-то хриплым голосом, скороговоркой и не очень внятно. Во время короткого перерыва я слышал, как он с важностью докладывал начальнику лесоцеха, что он одного подчиненного «бросил на подноску обрезков», а другому приказал переламывать пополам большие куски древесины, прежде чем закидывать их в дробилку. Начальник снисходительно выслушивал его донесения, а он с еще большим воодушевлением принимался «цукать» своих подчиненных.

Мне довелось жить в том же бараке, что и Точиллов. В вечернее время его хриплый баритон был отчетливо слышен среди привычного барачного Многоголосья и как-то особенно назойливо лез в уши. Главной темой в речах Точилова был «женский вопрос». Заключение вообще не прочь поговорить на женскую тему, но и тут тон речей Точилова несколько отличался от привычного. Его рассказы были смесью каких-то наивных откровенностей и бахвальства. При внешности Точилова они казались вдвойне неправдоподобными. У обитателей барака хвастовство Точилова вызывало насмешки, каждый его рассказ обычно сопровождался множеством иронических реплик. «Всех баб в Архангельской области от четырнадцати до восьмидесяти лет перепробовал наш Точиллов, — заметил как-то бригадный остряк Сашка. — Уж не знаю, где невинную девку найду, когда выйду на свободу и вздумаю жениться».

Самую точную информацию об уголовных делах солагерников я обычно получал тогда, когда они обращались ко мне за советом при сочинении прошения о пересмотре дела. В этом случае надо было выкладывать всю правду. Поэтому я не без любопытства встретил просьбу Точилова помочь ему с написанием жалобы в Верховный суд. На первый взгляд, его дело выглядело до крайности банальным. Его обвиняли в нанесении побоев собственной жене, в результате чего, как гласило показанное мне Точилловым обвинительное заключение, у пострадавшей были обнаружены «травматические повреждения средней тяжести».

Примостившись рядом со мной на нарах, Точиллов принялся рассказывать свою историю, но не громко, на весь барак, как обычно, а почти шепотом. Видно, где-то, в глубине души, он сознавал, что его история выглядит не столь уж эффектной и ему большой чести не делает.

— Жена меня посадила, — начал свой рассказ Точиллов, — старая курва. Заявление написала в милицию, что мы избиваем ее, я и ее собственная дочь от первого мужа. Соседи в поселке ее показания подтвердили, и меня засудили на четыре года.

— Так, что ж, она неправду написала? — спросил я.

— Почему неправду, правду, — спокойно ответил Точиллов. — Житья от нее, суки, не было. Травила она меня и Надьку.

— Почему же ты с ней не разошелся?

— Видишь ли, она старше меня на десять лет. Мне только тридцать стукнуло, а ей, небось, за сорок. Возраст свой она от людей всегда скрывала. Я обходчиком на железной дороге работал, а у нее возле станции домик был. Черт попутал меня с ней связаться. Знала же, сука, что за молодого замуж выходит. Дочь свою отдала на воспитание сестре, чтобы меня не спугнуть. А как поженились, девку в дом обратно взяла. Той семнадцати лет еще не было. Как-то в жаркую ночь я на двор вышел по малому делу. Жена дрыхнет, а девка лежит вся раскрывшись. Я и полез. Боялся, что девка закричит. Но она меня приняла, видно, истосковалась, уж не целкой была. А потом, как распалились — удержу не было. Ты не смотри, что я худенький, щуплый. У нас на Севере все мужики худые, да силенка есть. Я ее и раз трахнул, и два, и три... только стонала, видно, понравилось. Приглянулась мне девка, да, видно, и я ей пришелся по вкусу.

Утром моя стерва проснулась и что-то почуяла. Стала меня и девку донимать. То не нравится, это не по ней. Следить стала. Жизни ни у меня, ни у Надьки не было. Все

подглядывает, подсматривает. Решили мы с дочкой ее извести.

— Выходит, жена знала о твоей связи с ее дочерью и не возражала?

— А как же могла возражать? Мы бы ее из дома выгнали. Дом-то свой, когда мы поженились, она на меня перевела. Я на железной дороге работал и право на жилье имел. Куда ей было деваться?

— Значит, ты с ней больше не жил?

— Почему не жил? Я ночью работал. Днем Надька уходила, а я к старухе в постель.

— А дочка против твоей связи с матерью не возражала?

— Только смеялась. Говорила бывало: «Ты сравни, я ведь получше!» И то сказать, нам обоим от старухи польза была. Хозяйство она вела. Надька по хозяйству не очень. Больше насчет нарядов. А старуха хозяйственная. Огород развела возле дома. Щи больно хорошо варила. Она прежде в Архангельске поварихой работала.

— Ну, а за что же тебя посадили?

— Тут такой случай вышел. Как-то ночью я перебрался к Надьке, думал, что жена спит. А она не спала, все прислушивалась. Только мы в самый смак вошли, она как вскочит. У нас печка в углу. Она схватила ухват и давай нас дубасить. Мне только по руке попало, а Надьке по голове досталось, всю раскровавила. Я ухват из рук у стервы вырвал и стал им ее охуячивать. Надька совсем озверела. Хватала все, что под руку попадало, и давай ее молотить. Только что не убила. Та орать. Мы же не в себе были, еще не очухались. Домик наш поодаль от других стоит, но соседи услышали, сбежались. Такой крик стоял. А мы, все трое — в чем мать родила. Жарко же было. Умора. Все хохотали. Растащили нас. Был суд. Я срок схватил. А Надьку оправдали. Все на меня свалили.

— А ты до женитьбы имел дело с женщинами? — любопытствовал я. Точиллов смущенно опустил глаза.

— Нет, старуха у меня первой была. Кто на меня такого смотреть станет. Я еще, помню, мальчишкой был, парней в поселке не хватало. Девки всех затаסקали, а на меня никто и не смотрел. Да я и сам не решался подойти. Боялся, смеяться будут.

В голосе Точилова звучала искренняя, затаенная, видно, еще с детских лет обида. Невольно пришли на ум теории Фрейда о детских комплексах, в зрелом возрасте проявляющихся в стремлении к самоутверждению в самых разных формах.

— А детей у тебя не было?

— Какие уж там дети, — с тоской в голосе проговорил Точиллов. — Надька как-то забеременела, да я велел ребенка вытравить. Как бы мы вчетвером жили?

— А люди в поселке знали, что ты живешь и с матерью, и с дочерью?

— Все кругом знали. Поселок маленький. Смеялись. Вид у поведавшего мне свою историю Точилова был до того жалкий, что у меня не нашлось слов для его осуждения.

Со временем слух о семейных делах Точилова помимо его воли дошел до обитателей барака. То ли он сам проболтался, то ли кто-то из земляков Точилова слышал его историю еще на воле и всем ее рассказал. Многие жители Архангельской области знали друг друга до лагеря. Общественное мнение отнеслось к Точиллову снисходительно. Лишенные на долгие годы женского общества, заключенные принимали близко к сердцу сложные переживания

героя. Разоблаченный Точиллов воспрял духом и стал рассказывать о своем деле во всех подробностях, рисуясь и бравируя своими похождениями. Впрочем, некоторые, особенно из числа пожилых, отнеслись к Точиллову более критически.

— И каких только чудес в жизни не бывает, — глубокомысленно изрек старый лагерник, дневальный. — У нас в селе один дядек с женой сына спал. Наши узнали, побили его и выгнали из села. На Севере раньше на этот счет строго было. Не то, что сейчас.

Бериевская амнистия в первую очередь коснулась таких, как Точиллов, и он попал в число освобожденных.

— Не сумею я сегодня домой уехать, — сказал мне Точиллов в день освобождения. — Поезда утром проходят, а они в конторе с документами тянут. Придется переночевать в поселке. Жена приехала. Передала, что у одной бабки остановиться договорилась.

Вечером, уходя на погрузку, я увидел только что вышедшего за зону Точилова. Он стоял у лагерных ворот с двумя женщинами. Пожилая, маленькая и худенькая, держала в руках узелок, как я догадался, пожитки Точилова. Другая, здоровенная толстая девка, с грубыми, тупыми чертами лица, ростом по крайней мере на голову выше Точилова, сильно накрашенная, с завивкой «перманент», держала в руках авоську, из которой выглядывали буханки хлеба и бутылки со спиртным. Оживленно жестикулируя, они о чем-то совещались. Точиллов казался чем-то озабоченным.

На следующий день, утром, возвращаясь в зону после ночной погрузки, я вновь встретил Точилова.

— Ты, что же, не уехал? — спросил я.

— Вчера поздно выпустили, сегодня поедем. Тут у одной старухи в поселке ночевали.

Вид у Точилова был несколько помятый, но держался он бодро и даже казался веселым.

— А что это за женщины с тобой у вахты были?

— Жена с дочкой. Тут такая потеха приключилась. Попахал я их ночью правильно. Сперва старуху, потом молодую. Дорвался. Четыре года баб не видел.

— А они как же? — не понял я.

— Лежали, смотрели, смеялись. Потом две бутылки очищенной вылакали. Девка завелась и крепко мать пришибла. Та еле ходит. Из-за меня подрались. Не поделили. Ну ничего, как-нибудь до дома доберемся. Дело житейское.

Маленький человек смущенно улыбался, но казался довольным. Он как будто немного стыдился того, что произошло, но вместе с тем испытывал также и чувство гордости.

Законопослушный

4 июля 1949 года в Москве, в правительственном санатории Барвиха, скончался главный участник процесса 1933 года о поджоге Рейхстага в Берлине, один из руководителей

Коминтерна — Димитров. Вероятно, сообщение об этом появилось в центральной прессе, но до меня, равно как и до других обитателей лагпункта, оно не дошло, а если кто случайно о нем и слышал, то не придавал ему большого значения. На нашей судьбе оно явно не могло никак отразиться. И уж, конечно, никому в лагере и в голову не могло прийти, что между появившимся в нашей зоне высоким, упитанным, с холеным барским лицом человеком лет сорока и смертью Димитрова возможна какая-либо связь.

Сразу же после выписки из карантина вновь прибывший появился в нашей бригаде. Произошло это несколько необычным образом: лагерный нарядчик об этом ничего не знал и бригадиру не сообщил, а просто, когда всех заводских вывели на работу, на лесобиржу позвонил секретарь начальника завода и передал приказ о зачислении новичка.

— Полковник С. Федор Михайлович, — объяснил новичок, протягивая бригадиру руку.

Бригадир, старый лагерник из уголовников, пораженный таким обращением, механически пожал протянутую руку.

— Что, товарищ полковник, докладываетесь по случаю прибытия на новое место службы? — не удержался я от язвительного замечания при виде этой, совершенно неправдоподобной в лагере сцены.

Но тут, опомнившись от шока, бригадир заорал:

— Здравия желаю, Укроп Помидорович! С приездом вас! Благополучно ли изволили добратся? Как жена, дети? Не желаете ли откушать кофе или какао? Видишь, падло, в углу лесобиржи трехметровый штабель? Ты туда доски подавай, а Шакалис будет их укладывать.

Маленькому, юркому, с большой головой литовцу Шакалису едва стукнуло восемнадцать лет. Еще в сороковом году он вместе с родителями-хуторянами был выслан из Литвы в Казахстан, а после войны за попытку бежать из места ссылки на родину получил лагерный срок. Русскому языку он обучился только в лагере и поэтому обильно оснащал свою речь соответствующей лексикой, едва ли толком понимая ее значение.

— Маршал, бля буду, не сможет он подавать доски, ронять будет, наебусь я с ним.

— Ладно, заткнись. Шакал, делай, как сказано. А если полковник туфтить будет — ты, что, дрына не найдешь? — уже более примирительно ответил бригадир. — Не сумеет — научим, не захочет — заставим. Ты и сам чудик, вот я тебе в обучение еще одного чудика даю.

В обеденный перерыв полковник появился в курилке. От непривычной работы он устал и даже как-то осунулся. Я пожалел, что встретил его злой шуткой и подсел к нему.

— Какая статья у вас? — спросил я.

— Пятьдесят восьмая, пункт десять, срок — три года, — отрапортовал полковник, видимо, за время тюрьмы и этапа привыкший отвечать на вопросы надзирателей традиционной формулой.

— Три года?! — с изумлением воскликнул я. — Первый раз встречаю человека, получившего три года по нашей статье. За что же, позвольте спросить, вам оказали такую честь?

Полковник задал мне встречный вопрос:

— Тяжело мне работать с досками. К кому я могу обратиться, чтобы мне дали работу полегче? Во мне вновь вспыхнуло раздражение.

— Видите ли, профсоюзной или партийной организации здесь нет. Так что вам придется привыкать.

— Но есть же тут оперуполномоченный МГБ, как мне к нему обратиться?

— В лагере не принято давать непрошенные советы, но я вижу, что вы не очень опытны в здешней жизни, и придется мне нарушить это правило. Никогда, никому и ни при каких обстоятельствах не говорите, что рассчитываете на помощь уполномоченного. Это к добру не приведет, а в отношениях с людьми очень даже повредит.

— Ерунда, — с апломбом заявил полковник, — я порядки знаю. Вы хоть фамилию начальника спецчасти Каргопольлага знаете?

— Ничем не могу вам помочь, ибо с таким высоким начальством не общаюсь, — сухо сказал я, уже раскаиваясь, что затеял этот разговор, и под каким-то предлогом вышел из курилки.

Шакалис слышал наш разговор и отреагировал соответственно:

— Дятла нам посадили в бригаду, в рот меня толкать, — сказал он, выходя со мной.

— Да нет, он, видно, птица слишком большого полета, чтобы на нас стучать, — успокоил я Шакалиса.

Работа возобновилась, но уже примерно через час на биржу позвонили и велели мне зайти в контору.

— Филипптинский, — встретил меня начальник, — у вас в бригаде новенький. Будет учетчиком в лесоцехе. Введешь его в курс дела, покажешь, как обращаться с кубатурником, различать сортность, ну и вообще, всю технику дела.

— Да это же невозможно, — растерянно сказал я, — он же в лесе ничего не смыслит.

— Я и сам знаю, что не смыслит, — с раздражением сказал начальник, — для того я тебя и позвал. Так надо! — и он почему-то указал пальцем на потолок.

Я рассказал о задании бригадиру, и тот кивнул головой:

— Ну и хер с ним, вытолкнем его в лесопех, пусть они там с ним разбираются, воздух чище будет.

В курилке меня уже ожидал полковник. Я отправился с ним на сортплощадку и стал объяснять сравнительно несложную технику дела. Полковник тупо смотрел на быстро движущуюся ленту конвейера, на работаг, скатывавших доски с ленты и укладывавших их в сани, на шмыгающие взад и вперед лесовозы с готовой продукцией.

— Что же, это я, выходит, должен в каждых санях доски пересчитывать? — с недоумением спросил он. — Это же невозможно успеть!

— Опытные учетчики довольно точно определяют кубатуру на глаз, — ответил я. — Вы, разумеется, этого сделать не сможете. Придется на первых порах точковать каждую доску, вести документацию и делать все по возможности точно, потому что погрузка ведется строго по данным из лесоцеха. Сколько напилили, сколько и погрузили. Будете ошибаться, на завод потекут рекламации на недогруз, будут неприятности, и в первую голову, конечно, у вас.

На следующий день полковник приступил к новым обязанностям. Шла большая погрузка, сани из лесоцеха перевозились прямо на железнодорожную эстакаду. А в конце дня на лесобиржу прибежал весь черный от злобы начальник погрузки, заключенный, и, увидев

меня, заорал:

— Что вы делаете, мать вашу? Мы погрузили в двадцать вагонов больше пятисот кубометров пиловочника, а в документах записано меньше трехсот. На завод мне наплевать, но вы бригаду грузчиков на штрафной посадите!

Минут через десять прибежала женщина, главный бракер завода:

— Вы, что, с ума посходили, что ли? Все сорта перепутали! Из-за ваших учетчиков первый и второй сорта автостроения погрузили в пилообычные необрезные. Что же теперь ЗИСу отправим, шахтовку, что ли?!

Пришлось спешно спасать положение, перегружать вагоны, на глазок определять кубатуру и сочинять вымышленные спецификации.

Полковника отстранили и заменили кем-то из смысливших в этом деле работяг.

Меня заинтересовала психологическая сторона происходившего. Похоже было, что полковник, не пересчитывая досок и не следя за сортностью, наугад писал в документах и на санях первую пришедшую ему в голову цифру. Но почему он всегда занижал кубатуру? Из разговора с ним я понял, что сам был тому виной. Я ведь сказал ему, что в случае недогруза придут рекламации от потребителя и он схлопочет всякие неприятности. Вот он и решил, что надежней кубатуру занижать и чуть не нагрел завод на несколько сот кубометров сортового пиломатериала.

— Да что же вы не точковали доски? — с недоумением спросил я его.

Я ожидал, что полковник признает свою вину, сошлется на неопытность или посетует на слишком быстрый темп работы лесосоцеха, но он неожиданно сам перешел в нападение.

— У вас здесь, на заводе, бардак, рабочие швыряют доски как попало, сани разваливают, и никто за этим не следит. Я, что ли, обязан за ними сани поправлять? Вы тут, наверно, блефуете, завышаете показатели и наносите ущерб советскому народному хозяйству.

Я совершенно обомлел от подобной, видно, привычной для него демагогии.

— Да ведь это ваша обязанность — поправлять доски в санях. И почему это, интересно, «у вас на заводе»?

Вы, что, думаете, что мы все здесь заключенные, а вы все еще большой начальник? Пора бы отказаться от старых замашек. Я очень вам советую держаться за эту работу, она сравнительно легкая. А то ведь угодите на погрузку, тогда узнаете, как неправильно заполненные документы могут посадить грузчиков на голодный паек.

Убедившись, что из полковника не выйдет толкового учетчика, начальник завода отправил его в бригаду шоферов. В основном она состояла из автолихачей, осужденных за различные дорожные преступления. Завод нуждался в бесперебойной работе лесовозов и, желая обеспечить шоферам высокий заработок, администрация смотрела сквозь пальцы на систематические приписки в ежесуточных отчетах по гаражу. Полковнику поручили составлять рабочие описания, и он немедленно кинулся разоблачать туфту. В результате шоферы стали плохо работать, дело разладилось, и начальству пришлось отстранить полковника и от этой работы.

Кто-то в управлении лагеря покровительствовал полковнику, а к счетно-технической или инженерной должности он был явно не пригоден. Тогда начальник завода приказал вернуть его в нашу бригаду, но физическим трудом не загружать. Полковник целыми днями болтался по заводской зоне, околачивался в курилке, отказываясь даже напилить дрова для временки,

а бригадиру приходилось всячески изощряться, приписывая ему при заполнении рабочего описания какую-то деятельность. Работяги не без основания считали, что полковник живет за счет их труда и всячески к нему придирались. Полковник старался не обращать на них внимания, держался весьма высокомерно, но видно было, что ему нелегко. Он сник, осунулся, барственная внешность его порядком поблекла. Казалось, он все время о чем-то мучительно думал и, вглядываясь в лица работяг, пытался что-то понять. Каждый вечер он садился около нар и писал прошения во все инстанции, но неизменно получал, как и все осужденные по нашей статье, стандартный ответ: «Ваша жалоба рассмотрена, оснований для пересмотра вашего дела нет». Однажды он подошел ко мне и спросил, правда ли, что я получил свою десятку только за разговоры. Я был не в духе и лишь огрызнулся.

В нашем бараке проживал питерский адвокат Л. Полковник решил воспользоваться его советом при составлении очередной жалобы или прошения о помиловании. Он попросил меня познакомить его с Л. Как-то вечером мы сели втроем в углу барака, и полковник подробно поведал нам о своем деле.

Оказалось, что полковник в армии вовсе не служил, а был сотрудником МГБ. Много лет он провел в Болгарии на секретной работе, а в последний год перед арестом был чиновником Центрального управления министерства. Однажды его вызвали к заместителю министра, и тот обратился к нему с такими словами:

— Для тебя есть важное задание. Ты прежде служил в Болгарии, обстановку и людей там знаешь. Мы решили послать тебя в командировку. Нужно, чтобы кто-либо из ответственных товарищей сопровождал гроб с телом Димитрова на родину. Ты человек аккуратный, на тебя можно положиться, сделаешь все как надо. Нам известно, что у некоторых руководителей в Болгарии Димитров был не в чести. Не нравилось, что Москва больше с Димитровым считалась, чем с ними. Следует тонко дать понять, что мы его уважали и уважаем, чтобы они там не слишком носы задирали. Словом, немного осадить. Поедет еще человек из Мининдела, но что они там понимают в делах? Димитров же нашим человеком был. Техническая сторона поручена К., войди с ним в контакт. Получай документы и отправляйся.

— Я был рад ответственному поручению, — продолжал рассказывать полковник, — а особенно тому, что и К. поедет со мной. В бытность в Болгарии мы были друзьями, не одну бутылку болгарского вина вместе распили. Прилетели в Софию. Конечно, почетный караул, всяческие речи. Но встреча проходила как-то казенно, без душевности. Ну, думаю, задам я вам перцу. Между тем болгары, получив из Москвы сообщение о смерти Димитрова, сколотили деревянное сооружение, на манер нашего мавзолея. Все сделали кое-как, истинный сарай. Я посмотрел и говорю: «Не очень-то вы, товарищи, Димитрова любите и цените, если такой жалкий мавзолей соорудили. Когда у нас наш Иосиф Виссарионович помрет, мы ему не такую усыпальницу построим!»

Словом, полковник вел себя как истинный патриот, проявивший горячую любовь и преданность великому вождю. Осознавая всю важность возложенной на него роли, он сумел дать понять болгарам, кто там хозяин, и этим продемонстрировал тонкое понимание политической обстановки.

— Мы тепло простились с болгарами, — продолжал полковник, — и на самолет. К. всю дорогу шутил, хвалил меня, говорил, что мы хорошо справились с заданием. Прилетели мы в Москву. Тут меня встретил один сотрудник нашего отдела и сказал: «Нужно будет заехать в министерство, министр хочет вас повидать». Ну, думаю, вероятно, интересуется настроениями в болгарском руководстве. Приехали мы на Лубянку. Провели меня прямо к Абакумову. Тот, как увидел меня, с ходу кричать начал: «Ты что, мать твою, там болтал? Я тебя, блядь, так загоню, что костей твоих не найдут!» Я совсем растерялся, стал рассказывать, как проходили похороны. А он и слушать не стал. Позвонил. Меня отвели в камеру, и начались допросы. Я понял, что дружок мой К. тогда в Болгарии ничего не сказал, а

вечером шифровку в Москву отправил и в ней все погуще описал: и про мавзолей, и про мои слова. У него выходило, будто я товарищу Сталину смерти пожелал. Все следователи были моими друзьями по министерству, не один год вместе работали. Покатывались с хохоту: «Что ты, дурак, говорил там?» Понимали же, что я не со зла. Три месяца продержали в Лефортово с одним писателем из евреев, а потом дали решением Особого совещания три года.

— Вот вы — опытный адвокат и с нравами их судопроизводства знакомы, — как-то спросил я Л. — Почему они сочли нужным так жестоко наказать этого законопослушного чиновника, сморозившего глупость?

— Вот видите, вы, человек, получивший воспитание в советских условиях, тоже называете его поведение глупым, — заметил адвокат. — Вы чувствуете, что по советским нормам полковник сказал не совсем то, что полагается. Таковы уж наши «материалисты» — верят в особую действенность, в магию слова. Надо войти в положение дружков-сослуживцев полковника, включая сюда самого министра. Поступила информация — надо отреагировать. Ведь и К. поспешил написать на полковника донос, боясь, что его могут опередить. Никто не хотел брать на себя ответственность и закрывать дело. Они ведь и так обошлись с полковником по-божески, влепив ему всего три года. Да он и сам на их месте поступил бы точно так же. Ведь в жалобах он полностью признавал свою вину, только просил учесть его многолетнюю, безупречную службу в «органах» и проявить к нему снисхождение.

Хлебороб

Штабелевание досок не требует большого умения и имеет с точки зрения лагерника некоторые преимущества. Это труд индивидуальный, и начальство, назначив урок, обычно перестает следить за зека. Здесь нет выматывающего нервы заводского конвейера, нет зависимости от других, и я всегда предпочитал эту работу, хоть она и не из легких, всем другим, ибо мог сам определять ее темп и ритм. Трудности начинаются лишь тогда, когда растущий штабель достигает высоты в несколько метров. Тогда один из работяг поднимается на штабель и укладывает доски, которые второй подает ему снизу, выжимая одну за другой через упор. Здесь уже возникает зависимость от партнера.

На этот раз мне довелось трудиться в паре с пожилым человеком, и я был удивлен той легкостью, с которой он подавал мне доски, выжимая их на руках, а когда мы менялись, легко принимал их и аккуратно выкладывал, делая между ними равные ветровые зазоры. Поработав часа два, мы сели перекурить, и мой напарник отрекомендовался:

— Ломша моя фамилия, хлебороб я, сижу за измену родине и террор. Срок — пятнадцать лет.

Что такое «измена родине», мне, лагернику, было хорошо известно. Сдав в начале войны противнику почти без боя миллионную армию, Сталин объявил всех военнопленных изменниками, «сдавшимися в плен с оружием в руках», и после войны трибуналы давали возвратившимся на родину солдатам от десяти до двадцати пяти лет лагерей. «Но почему «террор»?» — удивился я. За настоящий террор в условиях войны давали вышку. Мы разговорились, и напарник поведал мне свою довольно банальную историю. Однако в ней была одна деталь, которая не укладывалась в привычный стереотип.

Семья Ломши с незапамятных времен жила в одном из богатых сел Курской области, почти на границе с Украиной. Отец его — потомственный крестьянин, прошел всю первую мировую войну, еще на фронте в 1917 году познакомился с социал-демократами и примкнул к большевикам. Он провоевал всю гражданскую войну, а после ее окончания занялся крестьянским трудом. Грамотный, работающий, физически сильный, имея к тому же двух сыновей-помощников, он создал прочное, основанное на разумной агротехнике хозяйство, и губернские власти ставили его всем в пример как образцового хлебороба.

Началась коллективизация, и семья Ломши испытала судьбу сотен тысяч других крестьянских семей. Сосед, бездельник и пьяница, раньше во время уборки урожая работавший батраком, теперь делал общественную карьеру и стал одним из представителей местной власти. Он включил семью Ломши в список лиц, подлежащих раскулачиванию и высылке. В числе многих других ее вывезли куда-то на Север. Сильный телом и духом отец Ломши и здесь не пропал, семья постепенно отстроилась и кое-как зажила. Ломша женился, пошли дети.

Но вот грянула война, Ломшу призвали в армию, он был ранен. После госпиталя попал в запасной полк, причем оказался в роте, старшина которой грубо обходился с солдатами и даже занимался рукоприкладством. Часть отправили на фронт, и во время первого боя старшина был убит. Возникло подозрение, что в старшину стрелял кто-то из своих. Вокруг было много солдат, но оперуполномоченный придрался именно к Ломше как к сыну раскулаченного.

Ломше грозила вышка. Но тут выяснилась одна дополнительная деталь: Ломша во время боя находился в боевых порядках впереди старшины, что было установлено показаниями многих свидетелей, и, если даже старшина на самом деле был убит своими выстрелом в затылок, как это стремился доказать карьерист особист, Ломша к этому не мог быть причастен. Казалось бы, следовало ожидать оправдания, но не тут-то было. Трибунал осудил Ломшу по пятьдесят восьмой статье «за террор», но через «девятнадцать», то есть за «террористические намерения». С этой статьей Ломша и оказался в лагере.

Мы подружались. Это был умный и деликатный человек. Часами он рассказывал об отце, о жизни в деревне и на Севере, о жене и детях, которых не видел с начала войны.

Говоря о своем деле, лагерники часто бессознательно, а иногда и умышленно о чем-то умалчивают, что-то искажают. В данном случае все, что мне рассказывал Ломша, было чистой правдой. Как-то раз он подошел ко мне и, немного смущаясь, попросил помочь ему написать жалобу.

— У тебя, Моисеич, легкая рука, — сказал он.

Я не юрист, в законах не разбираюсь и с Уголовным кодексом никогда дела не имел. Славу хорошего стряпчего схлопотал себе в бригаде совершенно случайно. Как-то меня попросил написать жалобу старик-бухгалтер из Архангельска, получивший вместе с заместителем директора завода двадцать лет за какую-то производственную или хозяйственную комбинацию, лично ему не приносившую никаких выгод. Жалоба, видимо, возымела какое-то действие, и старика этапировали в Архангельск для пересмотра дела. В другой раз с просьбой помочь составить жалобу ко мне обратился один инженер, получивший срок «за халатность» из-за того, что во время промывки прибывшей на завод цистерны со спиртом рабочий, в нарушение всех правил, залез в цистерну и задохнулся в ней. По моей жалобе инженеру переквалифицировали статью, и вскоре он освободился.

Мы, лагерники, до 1953 года не слышали, чтобы кого-либо из осужденных по пятьдесят восьмой статье освободили как невиновного, амнистировали или помиловали. Было лишь два-три случая, когда срок заключения был снижен или пункты статьи изменены. Я никогда не забуду, как однажды, когда нас гнали с работы в зону, мы увидели перед вахтой женский

этап, направляемый в карантин, и мой друг, киносценарист Иван Андреевич Бондин, шедший в колонне в следующей за мной шеренге, вдруг с изумлением произнес: «Да ведь это Окуневская!» Действительно, в первой шеренге этапной колонны стояла красивая женщина, в которой мы узнали известную киноактрису. Незадолго до этого ей снизили срок с двадцати пяти до десяти лет и прислали в наш лагерь.

Я принялся сочинять Ломше жалобу без всякой надежды на успех, с единственной целью его не обидеть. Однако все аргументы, какие только можно было использовать в защиту осужденного, я привел.

Но случилось чудо. Примерно месяцев через пять Ломшу вызвали в управление и сообщили о решении военной прокуратуры. Обвинения в измене родине и терроре с Ломши были сняты и заменены банальной статьей пятьдесят восемь, пункт десять (антисоветская агитация), которую пихали кому ни попадя за любой, самый невинный разговор, а пятнадцатилетний срок был заменен десятилетним, уже отсиженным. Видимо, следователь перестарался. Ломша не был в плену, и не было основания обвинять его в измене даже с учетом юридической практики того времени. Да и «террор» как-то не получался. Ломша был счастлив, все его поздравляли со скорым освобождением. Однако проходили дни, а Ломшу не освобождали. Я посоветовал ему написать жалобу прокурору. Ломшу вызвали, и он возвратился совершенно убитый. Не так-то просто было распрощаться с лагерной Немезидой.

Оказалось, что примерно года за два до описанных мною событий Ломша работал в лесу возчиком. Бревна вывозились на санях с конной тягой, причем возчики, в основном мелкие уголовники, обращались с животными варварски. Поскольку работа учитывалась по объему доставленного на биржу леса, они нагружали на сани больше бревен, чем несчастные животные были в состоянии вытянуть, и нещадно их били, заставляя тащить непосильную кладь. Привыкший к лошадям с детства, Ломша относился к своей «коняге», как он ее называл, совсем иначе. Он не бил ее и всякий раз, как только представлялась возможность, старался подкормить, так что лошадь была у него всегда в полном порядке. В результате он вывозил на ней леса больше, чем другие.

Как-то Ломша разжился торбой с кормовым зерном для лошади. Это увидел вольный десятник и написал соответствующую докладную. Прокурор возбудил уголовное дело, состоялся суд, в два дня Ломша был «оформлен» и получил новый срок в три года «за хищение социалистической собственности». Об этом он со своим пятнадцатилетним сроком, конечно, тут же забыл, тем более что новый суд казался ему полной нелепостью. И вот теперь выяснилось, что на нем висят эти три года.

— По пятьдесят восьмой статье ты отсидел, — сказал ему, радостно осклабившись, капитан в спецчасти, — а вот три года по указу еще не досидел.

Таким образом, Ломше оставалось отбывать еще более года.

Ломша был в неистовстве, хотел прекратить работу и объявить голодовку, словом, был в таком состоянии, что мог совершить все что угодно и схлопотать новый срок. Времена были суровые. Я буквально насильно заставил его выйти на работу и вместе с бригадиром стерег его и опекал, пока он немного не успокоился.

В начале 1953 года в Москве было объявлено о деле «врачей-отравителей», и в лагере, как и на воле, сложилась напряженная обстановка. Ходили слухи о намеченном этапировании заключенных-евреев в особые лагеря на Дальнем Севере. Не дожидаясь каких-либо новых инструкций (впрочем, может, такие инструкции и были), лагерная администрация «реагировала» и принимала меры. Исполнявших инженерно-технические функции или занимавших «придурочные» должности евреев спешно переводили на общие работы. Мой

приятель был снят с «высокого поста» нормировщика и отправлен на работу в лесоцех.

Уголовники, которых мало волновали политические проблемы, к сообщению об «убийцах в белых халатах» отнеслись довольно равнодушно. Воры в законе, как правило, космополиты, среди них встречаются выходцы из всех национальностей. Ведя при всяких режимах постоянную войну с обществом, они в первую очередь ценят верность своей профессиональной корпорации, и особого антисемитизма в их среде я не замечал. В нашем лагере старый блатной по кличке Максимка-жидок пользовался у них большим авторитетом.

В большей мере были заражены вирусом ненависти так называемые бытовики, люди, сидевшие за хищения, финансовые махинации, ведомственные и подобные преступления. В своем миропонимании они ни в чем не отличались от живущих на воле обывателей. Весьма агрессивно в отношении евреев вели себя некоторые «политические» из числа тех, кто во время войны активно сотрудничал с немцами. Действия Сталина и его окружения ложились в их сознании на хорошо подготовленную почву и встречали у них полное сочувствие.

Повсюду велись антисемитские разговоры, иногда принимавшие самый неожиданный характер. «Врачей-отравителей» обвиняли в том, что они плохо сработали свое грязное дело. «Ух уж эти жида, — говорил, заворачивая портянку на ноге, один мужичок-двадцатипятилетний, полицай при немцах, — не сумели потравить всех их там в Москве!» «Скоро жида всех отравят», — вторил ему наперекор логике дружок, бывший писарь в немецкой управе в одном из городов на Украине.

Ломша был далек от больших для меня проблем, но интуитивно понимал трагизм происходящего и однажды, как бы вскользь, проявляя удивительный такт и душевную тонкость, сказал: «Не обращай внимания на всех этих стервецов. Они и собственных отца с матерью могут сгубить!» Такое отношение мне было особенно дорого, ибо даже некоторые, вроде бы, интеллигентные люди, может быть, в глубине души мне и сочувствующие, старались держаться от меня и других евреев подальше, чтобы не скомпрометировать себя и не оказаться в глазах обитателей барака причисленными к гонимому племени.

— Ты не боишься общаться с евреем? — как-то полушутя-полусерьезно, но не без горечи спросил я Ломшу.

— Что ты, Моисеич, — просто, как само собой разумеющееся, без тени рисовки сказал Ломша, — ведь я — верующий христианин.

Особенно активным в антисемитских разговорах в нашем бараке был некий Борис Иванович, или просто Борька, как его все звали, человек лет шестидесяти, но еще довольно крепкий, по должности бухгалтер. В прошлом он был каким-то партийным работником, а при немцах сотрудничал в харьковской немецкой газетенке. Придя в барак, он до позднего вечера как одержимый вел соответствующие разговоры, что доставляло мне в нашей и без того трудной жизни дополнительные страдания. «Наконец-то в Москве поняли, что от жидов все зло!» — вопил он. Адресуясь к одному из обитателей барака, он, кривляясь, кричал: «Лёвеле! Что-то твои Левочки в Москве крепко провинились! Скоро мы всех Левочек переведем на мыло!» Я обратил внимание на то, что Ломша уже давно как-то особенно внимательно и даже настороженно наблюдает за Борькой. Он прислушивался к тому, что тот говорил, и как будто старался что-то вспомнить. Однажды Борька, как всегда, собрав вокруг себя слушателей, разглагольствовал на излюбленную тему и случайно упомянул какой-то районный центр под Белгородом.

— А ты, что же, жил там? — живо заинтересовался Ломша.

— Работал там когда-то, — нехотя ответил тот.

— Ну да, я наконец вспомнил, где тебя видел, — тихо, как бы сквозь зубы, процедил Ломша,

— зимой тридцатого, когда нашу семью выслали из деревни как кулаков. Ты был главным в отряде милиции. Ходил по домам. Нам и всего-то три часа дали на сборы!

— Ну, было, такой приказ был, — в замешательстве, несколько растерявшись, забормотал Борька.

— Хорошо помню, — наседавал Ломша, — у матери в хозяйстве большой нож был. Ты еще протокол стал писать, что обнаружил у кулака холодное оружие. Да помощник твой тебя на смех поднял. Стали мы одеваться — нет отцовского полушубка. А потом, когда повезли нас на станцию, я видел, как ты щеголял в нем по улице. Теперь я все вспомнил. Вот ведь как довелось встретиться!

Десяток настороженных, внимательных глаз обратилось к Борьке. Тот как-то посерел, съежился и стал испуганно оглядываться.

— Приказали из центра, вот и ездили по деревням, я ведь партийный был, — стараясь скрыть смущение и испуг, натужно проговорил Борька. — А полушубка никакого я не брал, какой еще полушубок?!

— Да-а-а, дела, — сказал кто-то из присутствующих. Все замолчали. Больше Борька о евреях не говорил. Вечером я спросил у Ломши:

— А что, этот Борька действительно вашу семью раскулачивал? Неужели такое совпадение?

Лицо Ломши приняло веселое, чуть с хитринкой выражение.

— Нет, конечно. Я с этим гадом на пересылке был и сюда в 1945 году одним этапом прибыл. Не сразу только об этом вспомнил, сколько лет прошло. Он все жалобу сочинял, просил пересмотреть его дело и с одним заключенным из бывших начальников советовался. Он ему рассказывал, что под Белгородом раскулачиванием занимался и каким-то спецотрядом командовал. Думал через это получить послабление. Я рядом на нарах лежал, все слышал. С его же слов я все и сказал. Попал в точку. А вообще-то, все они были на одно лицо, шпана, словом. Тот, который нас выслали, очень на Борьку похож был, и полушубок упер, и акт о холодном оружии сочинить пытался. Все правда.

Фришка

Словом «придурок» в лагере обычно именуют человека, который сумел избежать тяжелой физической работы и пристроиться где-либо во внутрилагерной или производственной службе в качестве счетовода, учетчика, статистика, нормировщика, нарядчика, заведующего баней, каптеркой, карантинном, ларьком и т. п. и таким образом получил возможность трудиться в тепле и не слишком тяжело.

По общераспространенному убеждению работяг, такой заключенный придуривается, т. е. делает вид, будто трудится, а на самом деле кантуется, тянет свой срок, не растрачивая силы и не укорачивая себе жизнь.

Отношение работяг к придурку двойственное. В нем сочетаются неприязнь (дескать, пролез на тепленькое местечко и помогает начальникам угнетать зека) и зависть, а порой и

восхищение (ведь вот как сумел хитрый проныра устроиться!). Само понятие «придурок» могло возникнуть только в условиях подневольного труда среди людей, не понимающих или вообще мало ценящих всякую сколько-нибудь квалифицированную умственную деятельность. В результате в числе ненавистных придурков наравне с разными ловкими, угодными администрации подонками оказываются и люди общественно полезные, такие как врачи или инженеры.

Но возможна и другая попытка выявить этимологию этого стихийно возникшего в лагере термина: придурок — человек, состоящий при дураке. В этом случае для понимания термина необходимо специальное разъяснение.

Исправительно-трудовой лагерь, как его официально именуют, так же как и всякое советское учреждение или предприятие, располагает несоразмерно разбухшим бюрократическим аппаратом. Кроме режимно-охранных должностей — вольнонаемных надзирателей (обычно из добровольцев-сверхсрочников), оперуполномоченных, сотрудников политотдела и культурно-воспитательной части, существует еще множество других в лагерном управлении, в каждой зоне и на производстве — работники бухгалтерий и плановых отделов, начальники заводских цехов, инженерно-технический состав, всевозможные бракеры и контролеры, работники на строительстве железнодорожной ветки, вольнонаемные лагерные врачи и т. д. Некоторые из них попали в лагерь после окончания институтов по распределению, другие родились и выросли близ лагеря, начали свой путь с надзирателей и охранников и постепенно поднялись по бюрократической лестнице, третьи отбыли здесь свой срок и остались в качестве вольнонаемных, опасаясь, уехав, снова угодить повторниками в заключение или же оценив выгоду работы в составе лагерной администрации. Часто начальники разного уровня устраивали своих жен, дочерей и других родственников на различные фиктивные должности для пополнения семейного бюджета.

Лагерь оказывал отрицательное воздействие не только на заключенных, но и на вольнонаемных, живущих за их счет. Под влиянием околотагерной среды, с ее вечными пьянками, драками, жульничеством и ощущением полнейшей безнаказанности, вольняшки часто теряли человеческий облик. Они привыкали к тому, что под их началом находятся покорные, безответные рабы, над жизнью и смертью которых они полностью властны, и что эта власть прочно охраняется всей государственной карательной машиной. Только немногие из них работали добросовестно. Каждый вольняшка старался обзавестись помощником из числа зека, который выполнял бы за него работу. Такой зек-придурок также был доволен, ибо положение «при дураке» избавляло его от физической работы. В результате возникло множество придурочных должностей, за которые расплачивался работающий контингент. Вольнонаемные начальники работать не только не хотели, но, разучившись, уже и не могли. Так образовалась категория лагерных придурков, людей, состоявших на службе при ленивом, хитром, а иногда и злобном чиновнике и исполнявших за него работу.

В первый год лагерной жизни мне пришлось много физически работать на лесопильном заводе. Особенно мне досталось в зиму 1949–1950 годов, когда я по одиннадцать часов в смену работал на сортировочном бассейне в сорокаградусный мороз и, придя в зону, не раздеваясь, валился на нары и отогревался в барачной духоте не менее чем часа два. Помню, как в новогоднюю ночь нас продержали на работе до полуночи, то есть семнадцать часов, ибо завод не выполнял годовой план, а пожаловавший поздно вечером на завод пьяный начальник ОЛПа материл нас за то, что, по его мнению, мы медленно работали.

Однажды я разговорился с каким-то парнем, случайным соседом по бараку, бытовиком из-под Вологды, и он, почему-то проникшись ко мне симпатией, сказал:

— А почему бы тебе не поступить к нам на курсы бракеров?

Вечером я зашел в помещение КВЧ и увидел там десяток зека, а с ними пожилого человека,

который показывал им чертежи и диаграммы и рисовал на доске мелом схемы. Я понял, что это и есть курсы бракеров. Занятия как раз кончились, и я разговорился с преподавателем. Им оказался бывший зека, в прошлом москвич, сидевший с 1937 года, ныне пенсионер, подрабатывавший на курсах. Это был знаток леса высшей квалификации, когда-то преподававший в московских и ленинградских институтах.

— Я не могу взять вас на курсы, — сказал он, — мы берем сюда только «друзей народа» — воров, бандитов и насильников, но я дам вам книжку, а в конце занятий приму экзамен и напишу свидетельство об окончании курсов, а там уж плывите сами по лагерной жизни, как сумеете.

Так я и сделал. Дважды прочитав книжку, я сдал экзамен на «отлично» и получил справку, которую отнес знакомому экономисту на заводе, старому лагернику Х. Размахивая этой справкой, приятель сумел протащить меня бракером на лесобиржу. Разумеется, моих книжных знаний для выполнения обязанностей бракера было мало, но по ходу пьесы я овладел специальностью и работал не хуже, чем другие.

Приход на лесобиржу вольняшки в качестве заведующего меня не слишком огорчил. Бывший заведующий, заключенный, сидевший за какие-то ведомственные махинации, вечно боялся попасть в немилость к начальству и лез из кожи, чтобы всем угодить. В результате по его приказу нам постоянно приходилось загружать пиломатериалами машины для лагерной obsługi, пилить и колоть для начальников дрова и делать все это в единственный тридцатиминутный перерыв при одиннадцатичасовом рабочем дне. Однажды он, желая выслужиться, нагрузил надзирателю машину дров без соответствующего документа, после чего по доносу вольнонаемного бухгалтера его отправили куда-то на лесоповальный ОЛП.

Новый вольный заведующий, Африкан Николаевич, которого в бригаде с первого же дня стали именовать Фришкой, был коренным жителем Архангельской области. Образования у него никакого не было, по-видимому, не было и больших связей, и его определили на низкооплачиваемую должность к нам на лесобиржу.

Это был человек лет сорока, невысокого роста и не слишком крепкого телосложения. Как и все сельские жители Архангельской области, он хорошо разбирался в пиломатериалах. Был он человеком неглупым и, как все северяне, широкой души и незлым. По всякому поводу он готов был полезть в драку, но через минуту полностью отходил и зла не помнил. Ко мне он с первого же дня проникся симпатией, заявив однажды:

— Бракер ты хреновый, в лесе мало что смыслишь, как все вы там, москвичи, но парень честный, не подведешь, на тебя можно положиться, а в наше время — это главное! А они все кто? Ворье! — говорил Фришка, тыкая пальцем в сторону сидящего тут же бригадира. — За ними смотри да смотри, а то подведут под монастырь!

Мне Фришка полностью доверял и частенько вел со мной откровенные разговоры, в частности о сыне, который учился в Ленинграде, в техникуме, и о судьбе которого Фришка очень беспокоился. Он советовался со мной, оставить ли сына после учебы в Ленинграде или забрать к себе.

— Разбалуется парень без родителей, — говорил он, — угодит в лагерь, а мы-то с тобой знаем, что это такое!

Бюджет Фришки поддерживался охотой и рыбной ловлей, без этих занятий на одном лишь жалованье ему бы не прожить. Как-то зашел разговор об охоте, на которую Фришка отправлялся на другой день, и он сообщил, что уже заготовил пять патронов.

— А что ж так мало? — спросил я.

— Да мне больше пяти зайцев до дому не донести, тяжело будет, — ответил Фришка без тени рисовки. Я был поражен.

— А если промахнешься?

— Ну, пожалуй, возьму еще патрон, — как-то неуверенно ответил охотник.

Фришка был бы отличным охотником-промысловиком, но соблазн стать «гражданином начальником» и жить, не обременяя себя особыми трудами, оказался столь велик, что этот простой и от природы честный человек пошел на работу в лагерь. Он не был ни лентяем, ни стяжателем, каких среди вольнонаемного персонала было немало, но само начальствование над безответными заключенными приучило его жить за счет чужого труда. Для порядка покричав в начале рабочего дня на работяг, сделав выволочку бригадиру, десятнику и бракеру и тем самым удовлетворив свой начальнический гонор, он минут через сорок начинал скучать, а через час вообще уходил с завода, дав ЦУ: «Смотрите вы у меня, чтобы все было в порядке!» Иногда его уходу предшествовал разговор по телефону с закадычным другом, также вольнонаемным, заведовавшим на лесопильном заводе шпалорезкой. Речь Фришки выглядела примерно так: «Вась, а Вась! Может, пойдём? Слышь, Вась, пошли, что ли! Ну да, я же говорю, туда, туда! Ну так давай! Давай сразу же! Ну хорошо, значит, пошли! Вась, а Вась...» — и так далее.

Закончив переговоры, Фришка отправлялся в «Решето», местное питейное заведение, обрамленное набитым крест-накрест штакетником, откуда и пошло его наименование. Мы уж знали, что не увидим своего начальника дня два, а то и три.

Один эпизод отлично иллюстрирует особенности трудового процесса в условиях лагеря, а может быть, и не только лагеря. Лесоцех пилил доски, предназначавшиеся для вагоностроительного завода. Бригада спешно готовила пиломатериал к погрузке. Увидев, что Фришка наострил лыжи, дабы отправиться в свой обычный поход, и получив телефонограмму, что нам ставят сорок вагонов, я спросил, будем ли грузить их.

— Ну их на хер, не грузи! — последовал ответ.

— Но нам ставят вагоны, — растерянно сказал я.

— Я что, мать твою, сказал тебе, не грузить! Дав указание, Фришка величественно удалился.

Часа через два вагоны были поставлены, и мы, следуя приказу начальника, отправили их порожними, за что завод должен был заплатить большой штраф.

На следующий день пришло сообщение, что железная дорога вновь присылает порожняк. Я позвонил Фришке домой, но тот, обматерив меня, пьяным голосом предупредил, что, если мы будем без его приказа грузить вагоны, он спустит с нас шкуру. Мы выполнили указание Фришки, и завод снова заплатил огромный штраф.

Между тем работать на лесобирже стало совершенно не вмоготу. Вся территория биржи, равно как и все автолесовозные дороги, были забиты потоком непрерывно льющегося из лесоцеха пиломатериала. Мы выбились из сил, перекладывая доски, чтобы обеспечить лесовозам хоть какие-то пути. Штабелевать доски также было невозможно, так как все подъезды к штабелям были забиты, да и не имело смысла, ибо ожидалась погрузка. Наступила полная закупорка, лесовозы не могли более убирать с сортплощадки пиломатериалы, и доски не сортировались, а просто скидывались на дорогу. Матерились все: лесовозники, начальники цехов, а в конце дня и начальник завода. Мы все на лесобирже измучились до предела. Ночью на погрузплощадку снова прибыли вагоны и ушли без груза. Штраф железной дороге измерялся уже многими тысячами рублей.

Наконец на четвертый день на лесобирже появился Фришка. У него был сильно помятый вид и над глазом светился огромный фонарь. Видно, на этот раз встреча с дружкой мирно не закончилась.

— Как быть с отгрузкой? — спросил я, размахивая руками, покрытыми кровавыми ссадинами от непрерывной многодневной перекладки досок.

— Хер с ним, грузите! — последовал ответ. Лучшие умы лесозавода пытались понять, что заставило Фришку навесить на завод огромный штраф и изнурить бессмысленной работой заключенных многих бригад. Мы бы никогда не сумели разгадать загадку, если бы не воришка Петька, понимавший психологию нашего начальника лучше нас.

— Да дело-то простое, — сказал он, — года два назад сюда приезжал приемщик пиломатериалов с вагоностроительного завода. Фришка ждал, что гость поднесет ему в «Решете» стакан, а тот, падло, пожалел денег, а может, у него их и не было. Не то чтобы нашему этот стакан был так уж нужен, но человек обиделся, что ему не сделали уважения, и решил их завод наказать. Вот мы и ищачили четверо суток! Нам оставалось лишь восхищаться пронизательностью нашего молодого лагерного коллеги.

Старый интеллигент

Рядом с курилкой лесобиржи находилась небольшая конторка строительной бригады, которую возглавлял человек лет шестидесяти пяти, инженер Евгений Иосифович Войнилович. Бригада состояла в основном из «западников», то есть жителей бывшей Польши, в большинстве своем крестьян. Это был народ положительный и аккуратный, с еще сохранившимися навыками добросовестной и честной работы, трудились они не спеша, но основательно, выполняя всевозможные строительные и ремонтные работы на заводе.

Войнилович был потомственный петербургский интеллигент польско-русского происхождения. Свою тюремную карьеру он начал еще в конце 20-х годов, и лагерный стаж его исчислялся десятилетиями. Поводом для многочисленных арестов послужило то, что где-то к концу первой мировой войны он поступил в юнкерское училище вольноопределяющимся и вышел из него прапорщиком. В качестве бывшего офицера он постоянно подвергался преследованиям: сперва попал в тюрьму и был выслан, по окончании ссылки некоторое время работал на воле, затем снова был арестован и, отбыв в лагере первый срок, попал в Челябинск, где строил тракторный завод, а во время войны руководил его переоборудованием для производства танков. В третий раз, в 1950 году, арестовали не только Войниловича, но и его жену. Получив свою десятку за антисоветскую агитацию, Евгений Иосифович оказался в нашем лагере. Не без юмора он рассказывал, что главным его преступлением оказалась якобы сказанная им фраза о том, что финская кампания 1940 года напоминает ему цусимское поражение. Следователи именовали его чуждым элементом и белогвардейцем, а его работу на строительстве Челябинского завода, за которую он получил орден, трактовали как своеобразную маскировку.

В какой-то мере судьба семьи Войниловича типична для нашей эпохи. Отец его погиб во время гражданской войны, отец жены сгинул в лагере. Мать жены попеременно ездила в лагерь то к дочери, то к зятю. Я помню, как однажды, когда нас пригнали с работы, я увидел на ступеньках конторы у вахты пожилую женщину. На лице ее не было той растерянности,

которая обычно появлялась при виде колонны зека на лицах наших гостей, приехавших навестить родных. Ей было привычно навещать в лагере то мужа, то дочь, то зятя, и она, улыбаясь, приветливо помахала нам рукой.

Администрация завода относилась к Войниловичу с подозрением. Под влиянием постоянной пропаганды в сознании начальников сложился образ опасного инженера-вредителя, который может невесть что сотворить на заводе, того и гляди поджечь или взорвать. Поэтому всякое его действие по инженерной части наталкивалось на настороженное отношение, а инициатива пугала. Однажды это чуть не вылилось в целое следствие.

На территории завода решили построить сушилку для пиломатериалов, предназначенных мебельному цеху. Поручили это бригаде Войниловича. Работяги довольно быстро воздвигли небольшое одноэтажное сооружение, оставалось покрыть его крышей, которую собрали отдельно и подняли наверх. Между крышей и стенами оставались зазоры. А дело было суровой архангельской зимой. Войнилович приказал работягам развести на полу стройки костер, чтобы отогреть крышу, которая промерзла и не входила в пазы, и, возвращаясь после обеденного перерыва на завод, начальник, лейтенант Пелевин, увидел густые клубы дыма, валившие из окон и дверей еще не вполне готового сооружения. Не разобравшись, в чем дело, он стал орать на Войниловича, обвиняя его в намерении сжечь сушилку. В воздухе стоял мат, на Войниловича сыпались брань и угрозы.

Тщетно пытался Войнилович объяснить Пелевину резоны своих действий, тот его и слушать не хотел и в раже кинулся на вахту за надзирателями. Но пока начальник суетился, Войнилович продолжал делать свое дело. Разогретая крыша встала на свое место, и костер был потушен. Тут прибежавший с надзирателями начальник завода с изумлением увидел, что все пришло в норму, а трудная с его точки зрения техническая задача по установке крыши успешно решена. К чести его следует сказать, что он осознал свою ошибку и даже похлопал Войниловича по плечу в знак примирения. С тех пор администрация стала испытывать к Войниловичу особое уважение. «Старый спец, — говорили начальники, — из бывших», — видимо, подразумевая, что старые «вредители» работают лучше новых недоучек.

— Идиоты, — говорил мне вечером Войнилович. — Пелевин окончил, хотя бы формально. Лесной институт в Ленинграде. С подобной технической задачей знакомят студентов первого курса любого строительного техникума. Ну, чему-то же его учили!

В конторе лесобиржи один зека-умелец соорудил из отрезанной где-то телефонной трубки нечто вроде еле слышного громкоговорителя, и я, занимаясь всякой технической работой бракера-десятника, имел возможность слушать радио. И вот однажды прозвучало сообщение о болезни Сталина. Я отправился в контору Войниловича и все ему рассказал. Войнилович перекрестился: «Царствие ему небесное». — «Да нет, — сказал я, — он не помер, заболел» — «Нет, нет, голубчик, помер, — ответил Войнилович. — Кровавая эпоха кончилась, будем надеяться на лучшее». Интуиция старого зека подсказала ему, что тирана больше нет.

Войнилович отличался удивительным самообладанием, спокойствием и выдержкой. Он умел устроить свой скромный быт, всегда был чисто выбрит и аккуратно одет. На грубости и окрики начальства он не обращал никакого внимания, к тому же ему никогда не изменяло чувство юмора.

В дальнем углу жилой зоны возвышался двухэтажный барак, в котором жили лагерные придурки: работавшие в службе заключенные и инженерно-технический состав завода. Там, на втором этаже, обитал и Войнилович. Как-то летом, в свободный от работы день, я пришел навестить живших в этом бараке друзей. В углу второго этажа была дверь, за которой имелся небольшой выступ из досок. С этого своеобразного балкона без перил открывался вид на запретку, а через нее — на небольшую рощу из молодых деревьев, образовавшуюся на месте вырубленного леса. В этот день за зоной, у запретки, работала бригада

женщин-заключенных, рывших для чего-то канавы.

Слух о том, что женская бригада работает рядом с зоной, быстро распространился среди заключенных, и вот рослый парень-блатнячок пожаловал в барак и вылез на деревянный выступ. Если только прав итальянский врач психиатр Чезаре Ломброзо, доказывавший, что существует преступный тип человека со специфическим физическим обликом, то можно считать, что блатнячок выскочил из его альбома. Маленький узкий лоб наполовину зарос нависавшими на глаза волосами, глубоко упрятанные в глазные впадины маленькие хитрые глазки все время бегали, озираясь по сторонам, огромная квадратная челюсть занимала большую часть лица, а острый подбородок как-то особенно подчеркнуто выдавался вперед. Передвигался он также не совсем по-человечески, согнувшись, и какими-то странными рывками, напоминая повадки гориллы.

К тому же и одет он был весьма живописно: в широкую, навывпуск, ядовито-малинового цвета рубашу и модные брюки странного фасона, которые обтягивали колени и расширялись кверху. Несмотря на летнее время, на голове у него была лихо заломленная кубанка. Но главным его украшением была огромная стеклянная бляха зеленого цвета, свисавшая с шеи на цепочке. Словом, он имел вид настоящего дикаря.

Появление такого красавца на балконе, естественно, не могло не произвести впечатления на женщин. Прекратив работу и собравшись в кучку, они принялись обсуждать представшее перед ними зрелище и обмениваться впечатлениями.

Начало диалога положил сам блатнячок.

— Молодая, красивая, — закричал он зычным, со специфическими лагерными интонациями голосом, — воздвигнись над забором, я хочу с тобой познакомиться вплоть до половых сношений!

Заявление парня было встречено женщинами, как сказали бы дипломаты, с полным пониманием. В ответ посыпались всевозможные непристойные шуточки, в которых наш герой сравнивался с животными разных пород и видов, ему приписывались противоестественные склонности и выражались сомнения в его мужских достоинствах.

Критические замечания дам парня ничуть не смутили, и он, видимо, глубоко убежденный в своей неотразимости, все более настойчиво и прямолинейно высказывал свои пожелания.

Движимый любопытством, я не удержался и тоже вылез на балкон. Мое появление придало новый импульс женскому словотворчеству. Теперь посыпались шуточки уже в мой адрес. Меня приглашали на любовное свидание.

— Эй, — кричала одна бойкая девица, — фрей с гандонной фабрики, лезь через забор, подженимся!

Я не знаю, что тут со мной случилось. То ли погода была хорошая и меня подогрело солнце, то ли меня увлекло неожиданное в тоскливой и однообразной лагерной жизни развлечение, но меня охватила какая-то странная радость. Куда-то ушло привычное представление о приличии, и я включился в веселый карнавал, наслаждаясь им одновременно и как участник, и как зритель. Влекомый каким-то вихрем, слабо контролируя свое поведение, я вступил в диалог-перебранку со стоящей за запреткой девицей, отвечая на каждую ее реплику. Да и девица охотно переключилась на меня, разглядев на балконе веселого фраера, готового развлечь ее занятым разговором. Интересно, что и она явно воспринимала происходящее как веселый балаган, интуитивно угадывая, что я в нем играю не свойственную мне в жизни роль. Это в ее глазах придавало всей ситуации еще большую пикантность.

Я получил целую серию, хотя и сформулированных не вполне изысканно, но тем не менее

весьма лестных предложений.

— Красюк, у тебя, что, не стоит? — кричала девица. — Лезь скорее сюда!

— Да как же я, милая, до тебя доберусь?

— А ты попку не бойся, он спит там, на своем бугре!

— А потом я ведь не красюк.

Видимо, моя скромность, которая, как известно, паче гордости, моей собеседнице и другим девицам пришлась особенно по вкусу. Последовал еще ряд лишь частично лестных для моей внешности замечаний.

— Не робей, мужик! Ты хоть и не красюк, но симпатяга. А симпатия дерет красоту! Так-то на вид ты парень в соку, по румпелю видно!

Теперь уж и мое сердце дрогнуло. Замечание дамы я не мог оставить без ответа и окончательно включился в беседу.

— Ты, небось, из придурни? — не унималась бойкая девица.

— Из придурков, милая, из придурков! — стараясь повисить свои акции и заслужить благосклонность девицы, орал я.

— Он, падло, верно, на блатной работенке кантуется, — оценила мою деятельность в лагере другая девица, — печенье перебирает, в швейцарском сыре дырки пальцем делает.

— Может, и еще где дырки делает, — хихикнула третья девица.

— Помолчите, срамницы, — заметила явно не очень довольная вмешательством в разговор развязных товарок моя главная собеседница, — он мужик занятный, не портите интеллигентного толковища.

Во время всего диалога Войнилович лежал в углу барака на нарах и читал. Дверь на балкон была открыта. Услышав нашу беседу, он отложил книжку и сказал:

— Филыптинский, с кем вы там кокетничаете? В бараке уже давно все прислушивались к моей беседе с женщинами, и замечание Войниловича произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Макароническое включение в диалог слов из другого культурного и стилистического ряда, гротескное сочетание несочетаемого вернуло слушателей к действительности. Появилась возможность посмотреть на себя со стороны и особенно остро ощутить трагедийность нашего бытия. Это пробуждение вызвало пароксизм истерического смеха. На какую-то минуту был забыт лагерь со всеми его тяготами и нелепостями. Смеялись все — и политические, и уголовники, и старые, и молодые, и образованные, и малограмотные. Даже стоявший рядом со мной в малиновой рубашке блатнячок ухмыльнулся. Женщины еще что-то кричали, но за хохотом их не было слышно. Как-то вдруг всем вспомнилось, что существует другая жизнь и другие человеческие отношения. Реплика Войниловича вырвала нас из мира патологического и фантастического, через этот безудержный смех мы ощутили катарсис и на время вернули себе облик нормальных и свободных людей.

Совратитель

Новым учетчиком в лесоцехе был москвич Сурков — молодой человек лет двадцати восьми с благообразной внешностью и пристойными манерами. В первый же день его пребывания на заводе мы познакомились. Настораживало лишь то, что в отличие от других зека, по прибытии в лагерь обычно направляемых на общие работы, он сразу же был назначен на придурочную должность, хотя до ареста никаких специальных знаний по лесопромышленному делу не получил. Вскоре все разъяснилось. Сурков охотно всем рассказывал о причинах своего ареста.

Надо сказать, что бывшие работники МГБ, МВД и прокуратуры всегда находились в лагере на особом положении. Следствие по их делам обычно вело Министерство государственной безопасности, а приговор им выносил не суд, а, как нашему брату политику, Особое совещание. Как правило, они сидели в лагере по бытовым статьям: за финансовые махинации или за различного рода служебные нарушения, и рассматривались лагерной администрацией как свои люди, согрешившие, но не враждебные государственному строю, словом — не «враги народа». Их всячески опекал оперуполномоченный, благодаря чему они получали более легкие работы и другие льготы. Лагерные начальники хорошо понимали, что и сами не безгрешны и в любой момент могут загреметь в тюрьму, что случалось довольно часто.

Сурков то ли по глупости, то ли от сознания своей полнейшей безнаказанности довольно откровенно и цинично рассказывал о былой деятельности, невольно выдавая государственные тайны. Он работал в Москве, в районном отделении МГБ, и заведовал агентурой. Под его началом находилось некоторое число секретных сотрудников, попросту говоря, стукачей, от которых он собирал информацию о разговорах и настроениях рабочих и служащих предприятий и учреждений своего района. Деятельность сексотов оплачивалась, и в обязанности Суркова входило также составление денежных ведомостей. С ведома начальства, которое также имело навар от этих махинаций, он заставлял своих подопечных расписываться в получении предназначенной каждому из них mzды, а выдавал им сумму меньшую, оставляя часть денег себе. Дело это было секретное, и до поры до времени обманутые молчали. Но случилось так, что, как говорил Сурков, «одна блядь, которая спала с кем ни попадя», спуталась с сотрудником МГБ из Особой инспекции, то есть отдела, наблюдавшего за деятельностью секретного ведомства. Женщина все рассказала своему партнеру, началось следствие, несколько человек из отделения были арестованы, и все получили по десятке.

Любопытно, что, повествуя о своем деле, Сурков все еще ощущал себя причастным к работе ведомства.

— Я смотрю, — рассказывал он, — дурак-следователь собирает моих людей, грузит их всех вместе в автобус и везет на очную ставку. Я ему говорю: «Ты, что, сумасшедший, правил не знаешь? Ты ж их всех закладываешь!» А он только смеется: «Это теперь не твоя забота!»

В другой раз Сурков говорил:

— А ведь какая была житуха! Утром приходим на работу и давай травить анекдоты, кто что слышал и знает. Только и раздается в комнате: «ха-ха-ха» да «ха-ха-ха». Так до обеда. Ну, а по вечерам, конечно, за работу!

— Тебе, что ж, и стукачей вербовать приходилось? — спросил как-то я.

— Ну не без этого, везде нужны свои люди,

— И соглашались?

— А куда денутся? Один упирается, пригрозил ему и предъявил компромат. Всякий что-либо не то сказал или сделал. Святых ведь не бывает! Скажешь: «Ты, что ж, не советский человек, разведке советской помогать не хочешь? А мы, между прочим, о тебе вон какую информацию имеем и запросто посадить можем! И отца, и жену заметем!» Покрутится, покрутится и даст подписку с нами связь держать. А иному посулишь тепленькое местечко на работе или там повышение какое. Ну и деньжат пообещаешь.

— Стало быть, ты из порядочных людей доносчиков делал, совращал?

— Да чего их совращать? Наши люди ведь так и норовят друг на друга донос написать. Одно ведь сволочь! А мы контролируем, чтоб не ввали!

— Ну и многих ты посадил через своих агентов?

На этот вопрос Сурков предпочел не отвечать, знал, что в лагере могут и пришить.

Надзор делал Суркову всяческие послабления. Я помню, как однажды я был потрясен, когда, зайдя в инструменталку лесобиржи, обнаружил там Суркова, закусывавшего и выпивавшего с приехавшей к нему на свидание женой. Мы получали свидания с родственниками в специальном помещении на вахте на небольшое время, иногда на несколько часов. Сурков же сумел договориться, чтобы его жену пустили на завод, и провел с ней там целый день. Разумеется, ее никто не обыскивал, и она притащила мужу спиртное.

Завелись у Суркова и дружки. Как правило, это были, по выражению Суркова, «люди нашей системы». Все они как-то друг друга находили и друг друга понимали. Особенно сошелся Сурков с неким К., широкоплечим детиной высокого роста, с весьма респектабельной внешностью. Это был недоучившийся врач лет сорока, никогда не занимавшийся медицинской практикой. Он «умел жить». Его работа заключалась в том, что он обслуживал начальников, вывозя их на охоту, для чего специально держал собак. Был у него еще один, совершенно специфический промысел: он делал у себя на даче уколы высокопоставленным лицам, заболевшим сифилисом и желавшим сохранить болезнь в тайне.

К. работал на заводе учетчиком пиломатериалов, но когда стукнули морозы и ему больше не захотелось трудиться на улице, дружки решили помочь ему перебраться в контору. Для этого задумали интригу, распустили слух, будто один из работавших в конторе зека — стукач, которого следует опасаться. Сурков в этих делах хорошо разбирался, так что все было сделано довольно профессионально. Расчет был основан на том, что окружающие выживут оклеветанного из конторы, а оперуполномоченный за него не вступится, ибо это не его кадр. Бедняга пережил немало тяжелых минут, тем более что лагерники склонны к стукачести. Впрочем, никто из друзей в эту сплетню не поверил, а вскоре и его начальник, также заключенный, догадался о цели этого навета.

Сурков был не только мошенник, но и авантюрист. Скуки ради он решил завести любовную интрижку. В бухгалтерии завода работала счетоводом вольняшка, девушка лет девятнадцати. Это было доброе существо с горькой судьбой. Ее мать умерла, когда она была еще ребенком, отец женился, и в доме мачехи ей жилось несладко. Какой-то дальний родственник, занимавший скромную должность в управлении лагеря, сумел там договориться, забрал ее из районного центра, где она училась в школе, и устроил счетоводом на завод. Она была бесконечно счастлива, получив возможность жить самостоятельно на свой скромный заработок. Работавшие в бухгалтерии заключенные жалели ее и помогали овладеть новой для нее профессией.

Девушка она была добрая. Однажды, когда мой друг в зоне серьезно заболел и я ей об этом рассказал, она по собственной инициативе принесла мне для него несколько свежих яиц.

Чтобы оценить этот поступок, надо учесть, что вольнонаемным запрещалось вступать в какие бы то ни было контакты с заключенными сверх тех, которые требовались по работе. Бог не наделил ее особенно красивой внешностью: она была худенькая, небольшого росточка, но с милым, немного комичным, кукольным личиком. Это было существо наивное и совершенно невинное.

Сурков счел ее подходящей для небольшого развлечения. Заключенных, вступавших в связь с вольными женщинами, сурово наказывали БУРами и ЗУРами (бараками и зонами усиленного режима). Но Сурков считал, что ему все сойдет с рук. Он зачастил в контору завода, присаживался около девушки, поглядывал на нее влюбленными глазами, словом, пускал в ход весь несложный ассортимент приемов столичного ловеласа. Одинокая, не знавшая мужского внимания девушка попала на удочку. Однажды, когда Сурков работал в ночную смену, девушка после конца рабочего дня осталась на заводе, прокралась к нему в контору лесобиржи и провела там ночь. Уходя в зону, Сурков запер ее в конторе, в комнате заведующего биржей, чтобы ее не обнаружил какой-нибудь надзиратель, случайно зашедший в помещение.

Утром я, как обычно, вышел с бригадой на работу и сел оформлять погрузочные документы. Тут вдруг я услышал тихий, робкий голос, доносившийся из-за двери комнаты завбиржей:

— Филипптинский! Выпустите меня, пожалуйста!

Я отпер дверь, и девушка стремглав побежала в бухгалтерию завода.

Вечером в зоне я слышал, как Сурков распространялся:

— Лежит, стерва, как колода, не шевелится. Я ее уж и так, и сяк. Толку от нее грош.

Разумеется, связь Суркова с девушкой вскоре стала всем известна. Вычислить это было нетрудно. Надзор засек, что она не уходила с завода после конца рабочего дня и не проходила через вахту на следующий день. Да и сам Сурков щадить свою жертву не собирался и со смехом рассказывал о своей любовной победе. К тому же, по слухам, один работник бухгалтерии из заключенных написал на него донос. Гнев начальства обрушился не столько на Суркова, сколько на девушку, которую со скандалом уволили с работы. Родственник, у которого она жила, выгнал ее из дома, сочтя, что она позорит его семью. Жить ей было негде, денег у нее не было. Одинокая, обездоленная, потрясенная происшедшим, девушка пыталась покончить с собой, но ее откачали в местной больнице.

— А ты не боишься, что против тебя возбудят дело как против виновного в попытке самоубийства? — как-то спросил я Суркова.

— Не привлекут, — злобно ответил Сурков, — она совершеннолетняя, знала, на что идет. Сурков был сведущ в законах.

Мечтатель и моралист

Васька Чернов и его друг Афанасий Ильич были неразлучны. Оба они родились и большую часть жизни провели в небольшом поселке Архангельской области, и, вероятно, это было единственной причиной сближения столь не похожих друг на друга людей. В их беседах

постоянно мелькали имена общих знакомых, упоминались мелкие местные события и поселковые сплетни. Но хотя «среда обитания» друзей в прошлом была одна и та же, положение их в обществе существенно различалось.

Афанасий Ильич был значительно старше своего друга, на вид ему можно было дать лет пятьдесят. В прошлом он был помощником директора на небольшом заводе, в одном из цехов которого работал наладчиком станков Васька. Осужден Афанасий Ильич был по указу о крупных хищениях. Ко времени нашего рассказа он уже отбыл большую часть срока. Это был человек среднего роста, коренастый, лысоватый, с брюшком. С его лица не сходило угрюмое выражение, обычно свойственное старым лагерникам. Неторопливо, тихим голосом рассказывал он о причинах своего ареста, ругал местную власть и несправедливый суд, вспоминал свое многочисленное семейство — жену и троих взрослых сыновей, а также живших в поселке стариков-родителей. Практичный и цепкий в житейских делах, он сумел приспособиться к лагерной жизни и через знакомого нарядчика, за крупную мзду, устроиться на продовольственной базе, не утруждая себя тяжелой работой. В прошлом, заведывая хозяйством на заводе, он, видимо, не очень терялся, и в лагере у него всегда водились деньги. Жена не забывала о нем, он регулярно получал от нее продуктовые посылки и всякий раз спешил спрятать их содержимое у старика-литовца, в прошлом католического священника, работавшего в лагерной каптерке. Хотя, по его словам, длительное пребывание в лагере сильно подорвало его бывшее здоровье, внешне он выглядел отлично, и поговаривали, будто одна бесконвойница из бытовичек дарит его своим вниманием, регулярно посещая на базе в обеденный перерыв.

Повествуя о своем прошлом, Афанасий Ильич любил поговорить на моральные темы, и из его рассуждений можно было сделать вывод, что он, как говорят в народе, человек «самостоятельный», борец за справедливость и враг царящей среди молодежи распущенности.

— Когда я освобожусь, — говорил он, — я восстановлю в семье статус кво, — подразумевая под этим, по-видимому, что возвратится к жене после лагерных любовных приключений.

— Спиртного я не потребляю — у меня от него ностальгия, — как-то сказал он.

— То есть как это? — не понял я. — Может быть, аллергия?

— Да, да, аллергия, — согласился Афанасий Ильич.

— Откуда ты, Афанасий Ильич, всех этих ученых слов понабрался? — спросил я.

— Из газет, — захохотал присутствующий при разговоре Васька. — Он на воле, как глаза протрет, так за газеты садился. Все политику хавал. Хотел ученым в Академию наук поступить.

— Я на воле членом бюро райкома был, — с достоинством объяснял Афанасий Ильич. — Вел кружок по марксизму-ленинизму. Должен был над собой постоянно работать, подымать свой культурный уровень. Не то, что ты, неуч, бездельник и лоботряс, — кивал Афанасий Ильич в сторону своего друга.

Васька во всех отношениях был полной противоположностью своему земляку. Высокий, сероглазый, весельчак и балагур, он в свои двадцать с небольшим легко переносил тяготы лагерной жизни, всегда был в отличном настроении, и его шутки не раздражали обычно сдержанных обитателей барака, но, напротив, вносили оживление в мертвую лагерную жизнь и встречали сочувствие. При его появлении у всех становилось как-то радостнее на сердце.

Васька сидел за хулиганство. Обычно добрый, миролюбивый, хотя и вспыльчивый, он в пьяном состоянии превращался в лютого зверя, ко всем задибался и лез в драку.

В Ваське было много детского. Еще в школьные годы он увлекался чтением приключенческой литературы, которая, видимо, более всего соответствовала его живому характеру, и любовь к сочинениям Фенимора Купера, Майн-Рида, Гюстава Эмара и других излюбленных классиков детского чтения сохранил на всю жизнь. Если в лагере ему попадались эти книги, он готов был перечитывать их вновь и вновь. Случайно из разговора со мной он узнал, что все эти «Всадники без головы», «Следопыты» и «Последние из могикан» были мною также жадно проглочены в свое время, и проникся ко мне симпатией. Моя скромная эрудиция в области приключенческой литературы казалась ему чем-то невероятным, и он частенько заводил со мной беседы на литературные темы.

— И Хаггарда ты читал, и Луи Буссенара! — воскликнул он как-то совершенно потрясенный.
— Ну, ты даешь!

В устах Васьки это звучало как величайший комплимент. Особенно его поразила моя осведомленность в романах Луи Жаколио, имя которого он, как и мои соклассники в школьные годы, произносил с ударением на втором слоге.

— Ты, стало быть, читал и «Грабителей морей», и «Пожирателей огня»? — спрашивал он.

— Ну да, — подтверждал я, — и самый интересный роман Жаколио «В тущобах Индии».

Восхищению Васьки не было предела. Оказалось, что этого романа Васька не сумел достать, но много о нем слышал от соклассников.

Романтик и фантазер, Васька, в отличие от своего друга-моралиста, в «женском вопросе» отнюдь не был слишком строг. Внешне привлекательный и веселый, он на воле пользовался у представительниц прекрасного пола большим успехом. «Бабы липли ко мне со страшной силой», — говорил он о своем прошлом, причем в его голосе не было и тени хвастовства. Рассказы Афанасия Ильича о любимой жене, к которой он намерен возвратиться после освобождения из лагеря, вызывали у него насмешливую улыбку. «Кому еще этот старый хрен может быть нужен?» — не без сочувствия говорил он. Однако при всех своих успехах у женщин Васька не был испорчен, к их заигрываниям при случайных встречах в лагере относился равнодушно, никогда не сквернословил и плохо о женщинах не отзывался.

Сойдясь со мной поближе, он доверительно рассказал, что незадолго до ареста женился, и у него родилась дочь. Говоря о жене, Васька весь менялся. Полностью исчезал привычный облик лагерного циника. Васька как бы порывал с жизнью в неволе и весь уходил в свои воспоминания. При этом лицо его становилось задумчивым, суровое выражение глаз смягчалось, и в них появлялось что-то доброе и даже трогательное.

Как-то Васька показал мне фотографию жены. На меня смотрело миловидное и весело улыбающееся круглое личико с ямочками на обеих щеках и по-детски вздернутым носиком. «Под стать Ваське», — подумал я.

В письмах жена сообщала, что устроилась воспитательницей в детском саду, работа с детьми ей нравится и что живет она трудно, так как дочь растет и нуждается то в том, то в другом, но Васька не должен беспокоиться, она справляется и ждет его освобождения.

Афанасий Ильич относился к своему молодому другу покровительственно, пытался его поучать и по всякому поводу читал ему назидания. Частенько он, злоупотребляя дружбой, заставлял Ваську оказывать ему мелкие услуги: то сходить приготовить ему что-либо на «китайской кухне» (так еще с тридцатых годов именовалось помещение, где дневальные, в те годы обычно китайцы, топили печь), то сбегать в лагерный ларек. Васька охотно откликался на все просьбы Афанасия Ильича, воспринимая его как нового отца, и относился к нему, хотя и не без некоторой иронии, но с чисто патриархальным уважением.

Освобождение Афанасия Ильича Васька решил ознаменовать «пышным застольем». Он сумел припасти водку и даже кое-какие закуски и был в этот день особенно весел и счастлив. Подвыпивший Афанасий Ильич клялся ему в вечной любви, обещал хорошо устроить на воле вновь обретенного сына. «Мои дети совсем забыли меня, а ты — истинный мой сын, и услуг твоих я никогда не забуду, — со слезами на глазах говорил он. — В поселке, да и в области у меня большие связи. Со мной не пропадешь!»

Сопровождаемый напутствиями и различными пожеланиями Васьки, Афанасий Ильич с двумя большими чемоданами покинул зону.

Месяца через полтора от Афанасия Ильича пришло письмо. Он сообщал, что вскоре после возвращения устроился на хозяйственную должность на мясокомбинате. Квартиру еще не получил, но надеется ее выбить при помощи друзей в исполкоме, взамен той, которой лишился при аресте. Родители померли, жена уехала к сестре куда-то на юг, взрослые дети также разъехались кто куда, и родни в поселке у него больше не осталось.

Вскоре я расстался и с Васькой. Его перевели на строительство лагерной железнодорожной ветки, и я на время потерял его из виду.

Месяца через три о Ваське распространились странные слухи. Какой-то переведенный на наш ОЛП слесарь рассказывал, что Васька запил, угодил в штрафной изолятор, а затем был этапирован в глубинку, на лесоповальный ОЛП. Говорили, что он страшно опустился, отказывается работать и даже сделал попытку покончить с собой, бросившись под лесовоз, и чудом остался жив.

Неожиданно в судьбе Васьки наметился новый поворот. Оказывается, незадолго до перевода Васьки на другой ОЛП он был представлен начальством за хорошую работу к досрочному освобождению. На осужденных по легким уголовным статьям в то время делались такие представления, и неповоротливая бюрократическая машина Центрального ведомства наконец сработала. Теперь из Москвы пришел положительный ответ и, чтобы больше не возиться с парнем, его без промедления освободили.

Когда Ваську привезли на наш комендантский ОЛП для оформления документов, я его с трудом узнал. Он сильно похудел и выглядел больным. Из его крайне сбивчивого рассказа я понял, что Афанасий Ильич умело воспользовался Васькиным рекомендательным письмом к жене, поселился у нее, а через некоторое время сошелся с ней. В ответ на многократные запросы Васька в конце концов получил от жены коротенькое письмецо, всего в несколько строк. Жена сообщала, что с работы ушла, что ей одной трудно, что Афанасий Ильич принял в ней участие и она согласилась выйти за него замуж. Ваську же она просила ее больше не тревожить и ей не писать.

Прощаясь со мной, Васька обронил сквозь зубы лишь одну фразу: «Заплатит мне, подлюга, за это!» Я посоветовал ему забыть прошлое и начать новую жизнь, но он лишь горько улыбнулся.

Примерно через год я получил новую информацию о Ваське. Как-то знакомый геодезист-бесконвойник, разъезжавший с бригадой по всей нашей шестидесятикилометровой ветке, сообщил мне:

— А твой дружок, Васька, вновь к нам в Каргопольлаг пожаловал. Снова на штрафной командировке вкалывает. Рецидивист. Говорят, он на воле какого-то старика и его молодую жену избил до полусмерти. Еще бы немного — убил, да люди помешали, растащили. Говорят, тот старик у него жену увел, пока парень в лагере припухал.

Я сразу все понял и только спросил:

— Ну, а сам-то он как?

— Да ничего, работает, такой же веселый, каким был, все смеется. Грозится, что, когда освободится, дело до конца доведет. Да и правильно. Мужиков, что по чужим бабам лазают, когда мужья в тюрьме сидят, да и самих баб, что блядуют, учить надо. Чтобы нашего брата не обижали. Так я это дело понимаю.

Я снова потерял Ваську из вида, освободился и начал его забывать, когда неожиданно мне довелось с ним еще раз встретиться. Как-то он узнал мой адрес и без предварительного телефонного звонка заявился ко мне. Он был не один, с ним была молодая женщина, в которой я без труда узнал ту самую спутницу его жизни, которую я видел на фотографии. Она и сейчас улыбалась, и ямочки на ее щеках стали еще заметней. Небольшой, идущий от верхней губы к правому глазу шрам придавал ее лицу несколько суровое выражение. Визитом она была явно смущена и на Ваську смотрела с какой-то затаенной тревогой. Казалось, она все время чего-то боялась.

От Васьки слегка пахло вином. Как и прежде, он был словоохотлив, но говорил без былой улыбки на лице, какими-то отрывистыми фразами. Еще в дверях он напомнил мне, что в лагере я приглашал его заходить после освобождения. Я этого факта припомнить не мог, но из вежливости кивнул.

— Это моя жена. Валя. Решили восстановить прежнюю жизнь, — сказал Васька, раздеваясь в передней. При этом он бросил на свою спутницу строгий взгляд, будто хотел сделать ей какое-то внушение. Валя только опустила голову.

Выяснилось, что Васька перебрался в Вологду, работает на военном заводе, а сейчас, проездом в отпуск, решил навестить старого лагерного знакомого.

Видно, уловив на моем лице немой вопрос, Васька стал рассказывать:

— Ты, я вижу, меня об Афанаске спросить хочешь? Крепко пришиб я его, когда в поселок вернулся, долго будет помнить. Два ребра подлюге сломал и скулу на сторону свернул, красоту личности попортил. Если по новой встречу, скулу на старое место вправлю, былую красоту восстановлю. Хоть он и прежде большим красавцем не был. Не зря я трояк заработал. По его милости лесок пилил. Я же хотел только ему личную жизнь наладить, применив физическое воздействие, к любимой жене вернуть, — не без ехидства в голосе и как-то неестественно посмеиваясь объяснил свое поведение Васька. — А то бы он в привычку взял по чужим бабам лазать и бобылем помер под забором. А теперь старуха к нему возвратилась, о нем печься будет.

При этом Васька снова со значением посмотрел на свою спутницу. Валя подняла голову, улыбнулась жалкой улыбкой и что-то хотела сказать, но парень нахмурился, и она осеклась.

— Ему бы, старому хрену, всю жизнь за меня Богу молиться. Я же его на правильный моральный путь вывел, — продолжал свой монолог Васька. — Он же любил о морали болтать. А он, вместо благодарности, в милицию побежал жаловаться, будто я в законной воспитательной работе перешел дозволенные границы. Ишь ты, законник нашелся! А еще другом прикидывался. Никому больше верить не буду. Понял я теперь, как жить надо. Так друга предать!

Слушая сбивчивую речь Васьки, в которой перемежались затаенная обида, ненависть, ирония и бахвальство, Валя грустно улыбалась. Видно, подобные речи ей приходилось слышать от мужа не впервые.

— Хорошо бы чайку попить, — предложил я, чтобы дать Ваське время успокоиться. — Я пойду на кухню, поставлю.

— Я сама все сделаю, — засуетилась Валя, видно, обрадовавшись поводу оставить нас наедине. Я не возражал.

— Ты что девочку тиранишь? — спросил я, когда Валя вышла.

Васька странно на меня посмотрел, будто опомнился, и заговорил совсем другим тоном. Весь хмель как-то вдруг прошел.

— Тебя вот увидел, все прошлое и нахлынуло. Обижаю я Валью. Знаю, что это дурно, а удержаться не могу. Что-то гложет душу. А она ведь меня любит, все мне прощает.

— А шрам на щеке — твоя работа? — спросил я. Васька опустил голову.

— Уж лучше разойдись с ней, чем так ее и себя мучить

— Ты пойми, я же люблю ее, — неожиданно, со стоном вырвалось у Васьки. — Я ведь все понимаю. Да и как я от маленькой уйду? Она мне утром говорит: «Ты не ходи на работу. Мы с тобой в папы и мамы играть будем. Танька у нас дочкой будет». Танька — это ее любимая кукла. У меня внутри будто все переворачивается.

В это время Валя позвала нас на кухню.

— Ну, а как с приключенческими романами обстоит дело, читаешь? — спросил я, чтобы переменить тему.

— Нет, куда там, о них и думать забыл. Теперь не до них, — чуть помолчав, ответил Васька с горечью в голосе. Он как-то сразу помрачнел и осунулся. В эту минуту он показался мне много старше своих двадцати пяти лет. «Приземлила жизнь моего молодого, веселого лагерного романтика, до времени состарила его душевно», — не без грусти подумал я, вспомнив наши беседы о моих и Васькиных друзьях безмятежного детства.

Воспитательная работа

После смерти Сталина и ареста Бериин в Главном управлении лагерями МВД (ГУЛаге) было принято очередное мудрое решение об усилении культурно-воспитательной работы в местах заключения. Для проведения его в жизнь соответствующий департамент этого гигантского учреждения направил в лагеря своих эмиссаров. Наш Каргопольлаг также не был оставлен без внимания, и к нам прибыл специальный чиновник-ревизор в майорском звании. Майор пожаловал к нам в барак среди бела дня. Ревизора сопровождали начальник режима лагеря и еще один дежурный надзиратель. В бараке в это время находились лишь дневальный и еще несколько заключенных, по разным причинам не вышедших на работу.

В середине барака, у печки, сидел молодой парень и с глубокомысленным видом взирал на пылающие угли, грея босые ноги и ленивым движением изредка подбрасывая в печь поленья. Рядом с ним, на нарах, лежала гитара.

При виде устроившегося у огня в рабочее время заключенного начальник режима по привычке заорал:

— Ты почему не встаешь, когда офицеры входят?! Почему не на работе?

— Не могу, — не меняя позы, заскулил парень, — босой я, валенки мокрые сушу, прохудились, а других не дают.

Майор сделал начальнику режима знак, чтобы тот не вмешивался в разговор, и сам начал воспитательную беседу.

— Как звать? По какой статье осужден?

— Николай Здоровенков, — четко отрапортовал парень, видимо, предвкушая возможность побеседовать с высоким начальством. — Срок — пять лет. По Указу сижу. У нас тут все либо фашисты, либо по Указу сидят.

Начальник режима прокомментировал:

— За кражу сидит. Украл в магазине фотоаппарат.

— Неправда все это, гражданин начальник, напраслинка мне нагло шьют, — плаксивым голосом заныл Здоровенков. — Я фотографией интересуюсь. Зашел в магазин фотоаппаратик присмотреть. Купить собирался. Вынес на улицу, чтобы получше на свету проверить его в смысле качества. А меня схватили и навесили на меня, будто я его украсть собирался. А я, бля буду, чист, как слеза у девицы в первую брачную ночь.

— Вор, рецидивист, — не выдержав, прошипел начальник режима. — Восьмой раз сидит и все за кражи.

Майор снова сделал недовольный жест рукой, призывая сопровождающих не вмешиваться в беседу.

— На какой работе отбываешь срок, Здоровенков?

— Посылали его на работу в лес. От костра целый день не отходил. К пиле не притронулся. На лесопильный завод посылали, весь день в курилке сидел, — вновь, не удержавшись, подал реплику начальник режима. — В этом году шесть раз помещали в штрафной изолятор. Отказник он.

Верный великим принципам педагогики, доставшимся нам еще от прославленного Макаренко, майор счел нужным начать назидательную беседу.

— Ты почему от работы отлыниваешь? Тебе партия и правительство создают все условия для перевоспитания, чтобы ты стал полезным членом нашего социалистического общества. А ты и в лесу отказываешься работать, и на заводе!

— Да разве ж это, гражданин начальник, работа — на заводе доски переключивать? — громко и с возмущением завопил Здоровенков. — Или, скажем, в лес посылают. Одно название, что лес. Торчат из земли ветки худые. Не разгуляешься! Ты мне настоящую работу дай! Уголек стране подкидывать иди там в тайгу. Чтобы я, значит, побольше нашему народу пользы принес. Тогда б я показал, на что Здоровенков способен. А мне все бабью работу норовят подсунуть. Обидно. Я же не баба. Душа у меня к легкой работе не лежит. Не могу заставить себя, — с волнением и обидой в голосе объяснил положение дел парень.

— Между прочим, его настоящая фамилия не Здоровенков, а Ковчук. У него в деле четыре фамилии записаны, — вновь прокомментировал речь парня начальник режима.

Майор вопросительно посмотрел на Здоровенкова.

— Память меня, гражданин начальник, подвела, — на этот раз весело сообщил Здоровенков. — Привели меня как-то в милицию. Стали допрос снимать. Один там, с усами, говорит: «Ты вот врешь, что чемоданчик не то, что украсть, поднять с земли не можешь. Больно слабосильный! А посмотришь на твои ручищи — как молоты! Здоров как бык. Мог бы работать, а мы тут с тобой возиться должны!» Ну здоров, так здоров. Я же не против. Записали мне фамилию Здоровенков.

— А как же у тебя в паспорте эта самая фамилия оказалась записанной? — вновь не выдержал начальник режима.

— Совпадение, гражданин начальник, совпадение, — доверительным тоном принялся разъяснять Здоровенков всю сложность и запутанность житейских коллизий. — Каких только совпадений в жизни не бывает. Сам, небось, знаешь. Вот, к примеру, был у меня случай. Однажды я по городу шел. Запомню, где это было, может, в Челябинске, может, в Кишиневе. По главной улице. Смотрю, девка идет, самостоятельная такая, сисятая. — Тут, для большей выразительности, Здоровенков сложил ладони корытцем и выставил их перед собой. — Припоминаю, вроде знакомая, верно, пулялся когда-нибудь с ней. Вот ведь, думаю, где довелось встретиться, какое совпадение. Конечно, разговорчик пошел, то да се. Где сидела, сколько дали, как там у дружков дела, кто в тюрьме, кто на воле. А то еще такой случай был...

Но тут майор решил прервать поток воспоминаний словоохотливого собеседника.

— Ну, а какую бы ты хотел работу? Ты же не враг советского государства какой-нибудь, а наш рабочий парень. Не должен бояться пролетарские руки работой замарать!

— Из рабочих я, из самых что ни на есть пролетариев, — радостно подтвердил Здоровенков, — так сказать, плоть от плоти, кость от кости. Отец аж до двадцати лет на заводе работал. Вахтером. Потом, правда, закладывать стал. Понять его можно, свой человек, рабочий. Мы же не из вшивой интеллигенции, потомственные пролетарии. Ну, однажды подрался, было дело. Не виноват был, привязался тут один к нему. Десятку огреб. Он как-то больно ударил того по затылку. Помер тот. Сердце у него было никудышное, или, может, от страха. А так, плоть от плоти. У нас в семье все кругом пролетарии. По линии биографии я чист, как стеклышко, хоть на загранработу дипломатом отправляй или там по торговой части. Может, вы бы за меня наверху похлопотали?

— Но есть же в лагере работа, которая тебе по душе? — начал терять терпение майор. — Мы бы тебя на досрочное освобождение представили...

— Мне главное, начальник, чтобы работа потяжелее была, чтобы я, значит, побольше пользы мог принести. Я свой долг перед родиной понимаю, — с чувством проговорил Здоровенков, сам, видимо, потрясенный осознанием своей неизбывной любви к Тяжелому труду.

То ли не желая второй раз касаться вопроса, столь сильно волнующего молодого человека, то ли в свою очередь взволнованный эмоциональностью собеседника, майор решил переменить тему беседы.

— Ну, а как у вас тут с питанием, хорошо кормят?

— Все мы много довольны, гражданин начальник, не жалуемся, — переменяв тон, скороговоркой и присюсюкивая забормотал Здоровенков. — Конечно, дома было куда как лучше. Дома я к какава привык, очень какава люблю. А здесь, проси не проси, какава не дают. Жена, бывало, утром говорила: «Коленька, какава хочешь?» — и несла мне чашечку какава в постель. Баловала она меня. Замели ее суки ни за что. — Видимо, парня сильно растрогали нахлынувшие семейные воспоминания.

— А кормят нас здесь — лучше не бывает, — после короткой паузы возвратился Здоровенков к затронутой майором теме. — И нас кормят, и вертухаев, простите, гражданин начальник, надзирателей. Правда, злыдни-повара жалуются, что граждане начальники по утрам на кухню набегии делают. Пробу снимают. Но повара, известное дело, сытые падлы, завсегда норовят на честных людей напраслину кинуть. И то верно, у надзирателей работа трудная, считай, вредная. Братене, к слову сказать, на чугунолитейном за вредность молоко давали. Известное дело, с нашим братом на баланде не управишься. Утром подкрепиться надо.

На этот раз в голосе Здоровенкова звучали нотки сочувствия.

— Ты что мелешь, — зашипел стоявший до этого молча надзиратель, — что мелешь? Кто на кухню ходит?

— Да ведь я так, люди говорят. Сам-то я не видел, но говорят, — невинным голосом пропел Здоровенков. Желая уйти от возникшей неловкости, майор спросил:

— Ты, что ж, на гитаре играешь?

— Играю, гражданин начальник, играю. Очень это дело люблю. Если интересуетесь, могу и спеть из своего липертуара. Там, «Этап на север, срока огромные...» или «Машку». Я и в культбригаду просился, не берут.

Статья не подходит. Бля буду, не ценят у нас таланты! — с горечью и обидой в голосе сообщил Здоровенков.

— Ну, а авторитетом ты среди заключенных пользуешься? — решил зайти майор с неожиданной стороны. — Если тебе окажут доверие и бригадиром назначат, ты как на это смотришь?

— Не оправдаю я доверия, гражданин начальник, слишком добрый я, — снова перейдя на доверительный тон, засюсюкал Здоровенков, снял с печи валенки и натянул их на ноги. — Как увижу, что работяга устал и отдохнуть хочет, сразу же его к костру пошлю. «Иди, скажу, милый, посиди, обогрейся и над своей прошлой преступной деятельностью подумай. Всю работу, как известно, не переделаешь. Лесок, он же опять вырастет». Да и с планом я, начальник, боюсь, не управлюсь. Это самое слово «план» — не по сердцу мне. Вот, разве что, меня бригадиром в женскую зону отправили бы? Может, я там скорее среди баб перевоспитаюсь?

— Ну, как знаешь, — с неудовольствием сказал майор.

— Может быть, все-таки, гражданин начальник, я вам спою и сыграю по случаю, так сказать, первого знакомства? — вновь предложил Здоровенков и потянулся к гитаре.

— Нет уж, уволь, — сказал майор. — Хоть ты и занятный парень, придется тебя, как отказника, в штрафную зону этапировать.

— Что делать, гражданин начальник, вам виднее. Я ведь человек с понятием, — со вздохом согласился с майором Здоровенков. — Меня с детства все вокруг обижают. И в лагере тоже. От судьбы не уйдешь. У нас в поселке, в соседнем доме, Игнашка Пушкарев жил. Шебутной такой парень, конопатый. Мы его еще Пушкой звали. Он больше по квартирам промышлял. Может, довелось, гражданин начальник, встречаться с ним? — Здоровенков вопросительно посмотрел на майора. — Раз ребята пошли магазинчик взять. Там всякие разные тряпки-шмапки валялись. Пригодились бы. Игнашка за ними тоже увязался. Я еще ему говорил, чтобы не ходил. А он ни в какую «Пойду, — говорил, — посмотрю, что там за барахло продавщица Клавка прячет. Ревизию сделаю». Взяли их потом, и Игнашке срок дали. А он и вовсе виноват-то не был, только посмотреть ходил. За компанию попал. Вот я и говорю

— судьба. И мне, видно, на роду написано на штрафничке побывать. Так ведь я не капризный, не привереда, можно и на штрафничке. Были бы вокруг хорошие люди. Меня покойный батя, бывало, учил: «Будь человеком, а свиньей всегда успеешь быть!»

Исполненный важности, майор в сопровождении свиты удалился. Стоявшие поодаль заключенные с интересом смотрели ему вслед, как на существо, прибывшее с другой планеты. Некоторые загадочно улыбались. Надзиратель, выходявший последним, показал Здоровенкову кулак.

— Люблю потолковать с начальничками, — резюмировал результаты беседы с майором Здоровенков. — Умные они люди, душу нашу, зековскую, хорошо понимают. Нас, недоумков, уму-разуму учат. И то верно, призадумался майор. На досуге поразмыслит над моими словами, видно, запали они ему в душу. Крепко я его удивил, что на тяжелую работу прошусь. Сам-то он, видно, тяжелую работу не очень уважает. Забыл я только у него табачку выцыганить. Никогда себе этого не прощу.

Каштанка

Новым оперуполночным нашего лагпункта оказался некий Климов, парнишка лет двадцати пяти, присланный к нам после окончания специальной школы из Архангельска, где находилось Управление лагерями области. Мне довелось и лично с ним познакомиться. Однажды ночью меня подняли с нар и погнали в «хитрый домик», где Климов снял с меня официальный допрос по поводу московского писателя Юрия Грачевского, который, как я понял во время следствия, был платным осведомителем и дал показания против меня и моего подельника. Теперь Лубянка, по-видимому, сочла, что его потенциал исчерпан и что пришла пора его посадить. Следуя раз и навсегда установленному для себя правилу не давать никаких компрометирующих показаний против кого бы то ни было, я заявил, что ничего о Грачевском не знаю. Впрочем, Климов на меня особенно не давил. Числившееся за Москвой дело Грачевского его лично никак не касалось, и он провел дознание формально, лишь бы ответить на запрос Москвы.

Вероятно, наш опер начитался и насмотрелся книг и кинокартин о шпионах и потому вел себя в соответствии с представлениями о том, каким должен быть советский разведчик. Он ходил в безупречно подогнанном к его щуплой фигурке и отутюженном кителе и в начищенных до блеска сапогах, помахивая прутиком или палочкой, как это делали в наших кинокартинах фашистские офицеры. Демонстрируя отличное знание личного состава лагеря, он останавливался на улице бесконвойников и заводил с ними доверительный разговор, пытаясь выведать информацию о поведении заключенных. Позднее допрошенные им зеки со смехом рассказывали в зоне о его примитивных сыскных приемах.

Климов любил в рабочее время, без предварительного предупреждения, нагрянуть в какую-либо бригаду и, усмотрев нарушение режима или иной беспорядок, с деланным добродушием завести разговор с застигнутой им на месте преступления жертвой. Он вежливо допрашивал заключенного о статье и сроке, а затем, со скорбным видом, словно действуя по обязанности, но вопреки собственному желанию, сообщал о наложенном взыскании. При этом он распространялся на тему «об упадке нравов», сетовал на перегруженность делами и необходимость жертвовать временем, предназначенным для высших целей. Частенько он наведывался и в заводскую зону. Не желая ссориться с всевластным офицером МГБ,

заводские вольняшки, вчерашние зеки, всячески перед ним заискивали, снабжали его пиломатериалом для постройки дома и посылали к нему плотников для различных строительных и ремонтных работ.

Рядом с заводской вахтой находился гараж, в котором работала большая бригада шоферов и механиков, обслуживавших полтора десятка лесовозов и грузовых машин. От шоферов во многом зависел ритм работы основного заводского конвейера, и поэтому администрация старалась задобрить работников гаража и оказывала им всяческое снисхождение. Надзиратели без особой нужды в гараж не заходили и не досаждали им излишними придирами. Шоферы жили дружной, сплоченной группой, считали себя заводской аристократией и позволяли себе то, на что рабочие других бригад не решались. В основном это были уголовники с небольшими сроками, осужденные за автомобильный бандитизм и наезды с человеческими жертвами. Многих шоферов расконвоировали, уследить за ними было нелегко, и в бригаде не переводилось привозимое из поселка спиртное.

Одним из бесспорных лидеров шоферов был Гришка Кашапов. Уроженец небольшой деревушки в Татарии, по окончании ФЗУ он работал слесарем на мясокомбинате. Он хорошо владел русским языком и был весьма начитан в русской классике. Было интересно слушать, как он без обычных для уголовников добавлений и довольно близко к тексту пересказывал содержание прочитанного. Сидел Кашапов за хулиганство. Это было уже не первое его «путешествие в страну зека». Вспыльчивый и неуравновешенный, он при малейшем конфликте с окружающими загорался, лез в драку, а порой хватался за нож. На заводе все знали его характер и обращались с ним осторожно, про него говорили, что он — парень «с душком».

Шоферская вольница не понравилась новому оперу с первых же дней его появления в лагере. «Это что еще за аристократия? Все другие живут в лагере по правилам, а шофера — как вольные. Почему такое неравенство?» — говорил этот сторонник подлинной демократии.

Свою враждебность к рабочим гаража новый опер начал проявлять с мелких придинок. Обнаружив одного из бесконвойных шоферов за пределами жилой зоны в неуказанные в пропуске часы, он распорядился его законвоировать. Узнав, что один из шоферов за небольшую мзду перевез бывшему зеку домашнюю утварь на другой конец поселка, он посадил виновного в штрафной изолятор, хотя сами надзиратели постоянно гоняли шоферов с машинами по своим хозяйским делам. Действия Климова вызывали раздражение и у жителей поселка, и у руководителей завода, но, разумеется, все молчали. Вольнонаемные боялись чекистов не меньше, чем заключенные.

Особую неприязнь молодого опера вызывал Гришка Кашапов. Работая на громоздком лесовозе, Гришка однажды нечаянно, а возможно и из озорства, окатил идущего ему навстречу щеголеватого опера целой струей липкой осенней грязи. Климов воспринял поступок Гришки не только как сознательное покушение на его персону, но и как выпад против социалистического государства, которое он олицетворял. Он затаил против Кашапова злобу и искал случая его прищучить. Такой случай вскоре представился. У Кашапова, как у многих бесконвойников, за зоной была дама сердца, в прошлом зечка, работавшая на железнодорожной ветке. Климов узнал об этой связи, но поймать их вместе ему никак не удавалось, и он, в нарушение всех правил, на основании одних лишь «агентурных данных», приказал Кашапова законвоировать. У уголовников было свое представление о справедливости. Если бы опер сумел поймать Гришку на месте преступления, это не вызвало бы особого возмущения потерпевшей стороны. Закон есть закон, и ты виноват не столько в том, что его нарушил, сколько в том, что не сумел проявить ловкость и попался. Но наказывать человека по одному лишь подозрению в любовной связи было вопиющим нарушением нигде не зафиксированной лагерной этики. Гришка это запомнил.

Законвоировав Гришку, Климов на этом не успокоился и продолжал донимать парня

преследованиями. Как-то среди дня он зашел в гараж и увидел Гришку, одиноко сидевшего около лесовоза. Гришка держал в руках игральные карты и в задумчивости их перебирал. Поскольку дело происходило не в жилой зоне и заключенный не был застигнут во время игры, другой надзиратель ограничился бы тем, что отобрал карты и, вероятно, прочел бы нравоучение. Но Климов рассудил иначе.

— Картишками забавляешься? — спросил он иронически. — Партнеров поджидаешь? Десять суток штрафняка!

— Гадаю на картах, — понимавший, что ему терять нечего, холодно заметил Гришка, — все хочу узнать, скоро ли ты, начальник, отдохнешь!

— Вот и хорошо, — радостно проговорил Климов. — Будет у тебя время поразмыслить об этом в ШИЗО. Отдохнешь там за нарушение режима. А потом и на штрафную командировочку отправишься, лес попилишь.

Вечером Кашапова увели из барака в ШИЗО.

От этапирования Кашапова на этот раз спасло лишь заступничество заводской администрации, которая остро нуждалась в хорошем механике. Шоферы всячески старались уберечь Гришку от новых неприятностей, но Климов продолжал его преследовать, и бедняга частенько попадал в изолятор. Гришка возненавидел своего недруга и вынашивал план мести.

Климов появлялся на заводе довольно часто и неизменно с собакой, что ему, по-видимому, казалось проявлением особого профессионального шика. Он взял ее из питомника еще щенком, и она не прошла обычной полицейской дрессировки. Это была большая, добродушная, хорошо упитанная немецкая овчарка, и заключенные не испытывали к ней той неприязни, которую у них вызывал один вид обученных сторожевых собак. Некоторые даже выказывали ей симпатию. Подобно многим злобным, мстительным тиранам, Климов был по-своему сентиментален и нежно любил собаку. Обходя цеха, он обычно оставлял ее снаружи, она привыкла к заключенным и не лаяла на них. Гришка, как и все, охотно играл с собакой, угощал ее печеньем из лагерного ларька, а она в ответ умильно махала хвостом и пыталась лизнуть своего щедрого друга.

Еще в школьные годы Гришка прочитал чеховский рассказ и поэтому прозвал собаку Каштанкой. Это имя прочно за ней закрепилось, тем более, что никто из заключенных не знал подлинного, которым ее наделил хозяин. Со временем пес стал отзываться на свою новую кличку.

— Каштанка, Каштанка, — говорили заключенные, — какая нечистая сила заставила тебя связаться с таким хозяином?!

Однако желание посчитаться с Климовым пересилило симпатию к несчастному псу, и Гришка решил использовать его для мести своему супостату.

В тот злополучный для животного день хозяин, как всегда, оставил Каштанку снаружи, а сам отправился в мебельный цех, где по его заказу мастерили письменный стол особого фасона, который, по его понятию, должен был способствовать уважению к его особе.

Операция по краже Каштанки оказалась несложной. Привыкшая получать из рук Гришки угощения, Каштанка не лаяла, и Гришка незаметно увел ее в глубь лесобиржи, за высокие штабеля досок. Видел это только случайно оказавшийся поблизости старичок-дневальный.

Здесь я заранее хотел бы предупредить читателя этих строк, что рассказ о дальнейших событиях может вызвать ужас у людей, незнакомых с лагерным бытом того времени. Но

свидетель-дневальный именно так описывал происшедшее. Произнеся большой монолог, из которого явствовало, что он не может допустить, чтобы опер-кровопийца над ним, старым лагерником, бесконечно измывался, Гришка извлек припрятанный под телогрейкой нож и одним ударом умертвил Каштанку.

Однако эта экзекуция не удовлетворила Гришкину жажду мести. Как опытный мясник, он расчленил собаку, затем отправился в курилку, где всегда в холодную пору горел в печи огонь, промыл мясо, вскипятил и посолил воду и побросал куски в большой котел. Ароматный запах вареного мяса распространился по курилке, и заходившие погреться работяги с вождением поглядывали на печь.

— Разжился свининкой в поселке, — заявил Гришка, — у меня сегодня день рождения, всех угощаю.

— Неплохо и водочки привезти, — заметил кто-то из работяг.

Один из бесконвойных шоферов был тут же снаряжен за спиртным.

Между тем вышедший из цеха Климов стал свистеть, призывая любимого пса. Не получив привычного отклика, он забеспокоился, забегал по заводской зоне, спрашивая всех, не видел ли кто собаки. Еще не зная, в чем дело, некоторые зеки злорадствовали при виде взволнованного, без толку суетящегося опера.

Обходя завод, Климов забрел и в курилку лесобиржи. При виде опера Гришка пришел в хорошее расположение духа и весело закричал:

— Оставайся с нами, начальник, скоро обедать будем и тебя угостим, а то ведь в хлопотах, небось, и не поел нынче!

Климов не удостоил Гришку ответом и выбежал из курилки.

— Своего не признал, — загадочно произнес Гришка, — истинную дружбу и привязанность подлюга не ценит.

Разумеется, тайного смысла Гришкиных слов никто из присутствующих в тот момент не понял.

Наконец, привезли водку, и присутствующие собрались приступить к обеду. Похлебка казалась на редкость аппетитной. Ловко, как опытный повар, орудуя ножом, Гришка разрезал мясо на куски и призвал присутствующих начать трапезу. Но тут неожиданно наступило прозрение. Кто-то, подобно мальчику из известной сказки Андерсена, вдруг закричал:

— Да это же собачина, климовский пес! В курилке стало тихо. Некоторые посмотрели на Гришку с любопытством, другие взирали на него с осуждением. Были и такие, которые с отвращением выбежали из курилки. Голода в то время в зоне уже не было, и блюдо, приготовленное из собачины, особенно привлекательным не казалось. Однако нашлось несколько человек, которые с хохотом окружили стол и принялись пожирать куски горячего мяса. Сам Гришка священнодействовал, глаза его горели. Он не просто ел собачину и угощал ею присутствующих, но совершал символическое действие, подобное ритуальной трапезе дикарей-людоедов.

В несчастном псе он видел своего заклятого врага — опера и мстил за выпавшие на его долю унижения. Водка развязала участникам пиршества языки, и взрывы хохота сопутствовали Гришкиным антиклимовским проклятиям.

В лагере трудно сохранить в тайне от надзора сколько-нибудь приметное событие: слишком много там соглядатаев, готовых выслужиться. И Климов уже к вечеру знал о судьбе своей

собаки. Он был в бешенстве. Завести на Гришку уголовное дело не мог и был вынужден довольствоваться тем, что упрятал парня в очередной раз в ШИЗО, а через неделю приказал этапировать его в дальние режимные лагеря. Эту неделю Гришку выводили на работу на завод. Он был сумрачен и то и дело заговаривал о содеянном, порой пуская слезу.

— Какого пса замочил, — говорил он собравшимся вокруг него в курилке слушателям. — Каштаночка мне верила, а я ее ножом!

Присутствовавшие молчали, никто не смеялся. Гришке сочувствовали, потому что считали, что он вынужден был совершить это злодеяние ради защиты своей чести. Все осознавали трагизм ситуации. Гришка на свой лад пережил многократно воспроизведенный в классической литературе конфликт долга и чувства.

Перпетуум-мобиле

Подневольный труд развращает человека, приучает смотреть на работу как на тяжелую, ненавистную обязанность, развивает стремление любыми путями от работы увильнуть и для этого всячески хитрить и изворачиваться. Если же при этом в человеке есть авантюрно-игровая жилка, то его действия подчас носят абсурдный характер и никак не согласуются со здравым смыслом. На это толкает сама трагически-нелепая лагерная обстановка. С одной из подобных ситуаций я столкнулся в первый год своего лагерного бытия.

Работа на сортировочном бассейне требовала от нашей небольшой бригады слаженности и активности, если кто-либо начинал филонить, за него приходилось вкалывать остальным. Поэтому новый работяга Вдовин постоянно вызывал нарекания. Это был довольно высокий, толстый человек, с крупным лицом, вздернутым, похожим на кнопку носом и маленькими, слегка косившими хитрыми глазками. На воле он работал где-то в Ростовской области шофером и отличался незаурядной физической силой. Однажды, отступив от своего правила работать с прохладцей, он подогнал к бревнотаскам огромный плот древесины размером почти в полбассейна. Видимо, был он не прочь поест и постоянно хвастался, что на воле съедал за один присест килограмм мяса. Обычно, опершись на длинный багор, он по самым разным поводам пускался в долгие рассуждения, пока наш старший не возвращал его к действительности матерной бранью.

Сидел Вдовин, как выяснилось, за изнасилование. По его версии, обвинение это было смехотворным. Он показывал мне документы по своему делу: обвинительное заключение и решение суда. Оказывается, он был знаком с какой-то женщиной много лет, часто бывал у нее дома и состоял с ней в связи. Однажды она поставила ему ультиматум: либо он на ней женится, либо она его упечет в тюрьму. Он слова эти всерьез не принял и продолжал ее навещать. Тогда она во время очередного свидания разыграла комедию: подняла страшный крик, призывая на помощь соседей, которые застали ее полуодетой, в разорванной рубашке, со следами побоев, синяками и ссадинами на теле. Рыдая, она утверждала, что Вдовин ее изнасиловал. Пришел участковый и составил протокол. А как раз в это время вышел очередной указ или были изданы инструкции об усилении наказания за изнасилование. Вдовин попал под кампанию. Состоялся суд, соседи выступили свидетелями, и Вдовин был осужден.

«Я же не отрицаю, коитус был, — говорил Вдовин, повторяя попавшее в обвинительное заключение мудреное научное слово, — но она же, сука, сама давала».

Было ли это на самом деле так, как он рассказывал, судить не берусь. Знаю только, что Вдовин непрерывно писал жалобы и требовал пересмотра дела.

Вдовин прилагал все старания, чтобы любым путем увильнуть от работы. Упрекать за это я бы его не стал — кому охота работать при подневольном труде! Однако в своеобразном саботаже он переходил всякую меру, охотно спихивая свою работу на других. Это был хитрец, хорошо понимавший, как можно использовать для своей цели невысокий интеллектуальный потенциал лагерного начальства. И вот он придумал совершенно оригинальный ход. Человек малообразованный, но поднабравшийся разных случайных знаний и усвоивший не слишком богатый репертуар массовых эстрадных песен сталинского времени, он ни больше ни меньше как... придумал новый текст Государственного гимна Советского Союза. Он объявил, что первые строки гимна — «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь...» — не отражают духа многонационального советского государства, и предложил другую редакцию. «Чайник», — решили мы, но, кажется, недооценили умственные способности этого человека.

Письмо с новым текстом гимна Вдовин адресовал в Комиссию законодательных предложений Верховного Совета. Как известно, при демократии на письма трудящихся следует незамедлительно отвечать. На послание Вдовина последовал ответ на официальном бланке Верховного Совета с надлежащими подписями. Вдовину сообщалось, что его предложение будет внимательно рассмотрено. Тогда Вдовин отправил новое письмо по тому же адресу с новым вариантом текста гимна и снова получил ответ. И так несколько раз. Словом, завязалась оживленная переписка. Вдовин показывал нам текст своего гимна: абсурдный набор клишированных выражений из популярных советских песен тех лет.

Письма заключенных проходят через лагерного цензора, и, разумеется, начальство было осведомлено о занятиях Вдовина. И вот однажды Вдовин собрал все полученные им из высокой инстанции письма, явился к начальнику ОЛПа и объявил, что он принимает участие в работе Верховного Совета по составлению нового гимна, но тяжелая работа на сортировочном бассейне ограничивает его творческие возможности.

— Мне для работы над гимном нужно создать условия, — говорил он, — дело серьезное. А я пашу и пашу. Надо бы помочь!

Тут следует напомнить о том, что хитроумное начальство ГУЛага неоднократно издавало инструкции, обязывающие лагерную администрацию стимулировать полезные для государства научные и технические изыскания заключенных. Власти понимали, что в надежде на облегчение условий труда или даже на досрочное освобождение лагерники будут всячески стараться принести пользу и таким образом без больших затрат из них можно выжать ценные открытия и технические усовершенствования. Для этого, собственно, и были созданы шарашки. Цинизм этой инструкции ГУ Лага никого, разумеется, не смущал. Лагерное начальство следовало среди прочих и этой инструкции. Не зная, как быть с заявлением Вдовина, оно решило на всякий случай удовлетворить его просьбу. Вдруг наверху решат принять текст Вдовина, тогда окажется, что оно «проглядело» такое важное для государства мероприятие! И Вдовину действительно поручили какую-то подсобную работу на заводе, на которой он несколько месяцев кантовался. Однако время шло, видимо, московским чиновникам надоело читать вздорные письма Вдовина, и переписка его с Верховным Советом иссякла. Над Вдовиным нависла угроза перевода на общие работы. Тогда изобретательный авантюрист придумал новый трюк.

Вывозка пиловочника из леса и вообще все транспортные работы осуществлялись в лагере машинами с газогенераторными двигателями. Экономился бензин. Горючим служили

небольшие деревянные чурки. Работать на этих машинах было истинным мучением. При больших холодах машины не заводились, вечно глохли, а часто и вообще выходили из строя. И вот Вдовин выступил с рационализаторским предложением, которое должно было произвести целую революцию в автомобильной промышленности. Как бывший шофер и автомеханик с большим стажем работы, он авторитетно заявил, что знает способ, как сконструировать механизм, который обеспечит машину топливом, добываемым непосредственно... из воздуха. «В самом деле, — объяснял он, как казалось, весьма логично, — в воздухе содержится кислород, прекрасное горючее. Надо лишь научиться его извлекать, тогда можно будет сконструировать нечто вроде перпетуум-мобиле, вечного двигателя. Ведь кислорода в воздухе хоть отбавляй!»

Я не могу сказать, поверило ли лагерное начальство в возможность подобного изобретения или нет. Скорее всего, оно просто старалось выполнить очередную инструкцию ГУЛага. В каждом лагере должны были быть свои изобретатели и рационализаторы, а в нашем лагере их как на грех не было. Следовало их завести. А потом, чем черт не шутит, вдруг у Вдовина что-то получится — ведь тогда и лагерное начальство огребет Сталинскую премию! Было принято решение создать Вдовину условия для работы. По лагерным понятиям, это были царские условия. На территории завода ему была выделена кабина, в которой он собрал разнообразный слесарный инструмент, натаскал туда обрезков из металла и дерева и создал видимость рабочей мастерской. Он важно восседал там в рабочее время и раза два в день выходил с глубокомысленным видом в слесарную мастерскую и что-то там вытачивал на токарном станке. Когда нас после конца рабочего дня гнали с завода в жилую зону, он шел с озабоченным видом, неся под мышкой сверток старых чертежей, которые он выпрашивал в конструкторской завода якобы для того, чтобы делать на обороте свои расчеты. Так он морочил начальству голову месяцев пять.

Как всякий человек с игровыми наклонностями, Вдовин любил устраивать спектакли. Однако в предпринятой им аванюре было особенно важно не переиграть. Но однажды он переборщил в своей показухе. Возвращаясь с завода, он нес на высоко поднятых руках какую-то огромную конструкцию, состоявшую из скрепленных проволокой металлических трубок, стеклянных и металлических банок из-под консервов, деревянных брусков и спичечных коробочек. Все это изделие было так велико и необычно, что не могло не привлечь внимания надзирателя, обыскивавшего нас при входе в зону. Надзиратель взял из рук Вдовина его агрегат и, спросив: «Что это за мусор ты таскаешь?», бросил его у самой вахты на землю. Банки, склянки и коробочки разлетелись в разные стороны, и тут наконец наблюдавшего за процедурой начальника лагеря осенило, что вся деятельность новоявленного изобретателя — один лишь блеф. Решение было принято немедленно, и на следующий день Вдовин вышел на работу с бригадой лесоцеха.

Но не так-то легко было заставить Вдовина работать, изобретательности его не было предела. Эта голова буквально была генератором новых идей. Как-то он подошел ко мне и спросил, правда ли, что больных венерической болезнью отправляют не то в Ленинград, не то в Вологду на излечение? Я, разумеется, этого не знал. Однако Вдовин все выяснил и подал официальное заявление, что в прошлом болел сифилисом, недолечил его и сейчас страдает сифилисом мозга. Лечебные и лабораторные условия в лагере не давали возможности проверить заявление Вдовина, и его отправили куда-то для обследования.

Месяца через два отдохнувший и потолстевший Вдовин вновь появился на ОЛПе. Он был в очередной раз разоблачен и вновь отправлен на общие работы.

— Так был у тебя, наконец, сифилис мозга? — настороженно спросил я. Вдовин расхохотался.

— Что ты, я здоров как бык! Я этих умников дурачил, — улыбаясь, говорил он, — четыре месяца с гимном, пять месяцев — с вечным двигателем, два — с сифилисом. Итого почти год.

Пора подумать об освобождении.

Тут для Вдовина открылись новые возможности. Он списался с дамой, которую якобы изнасиловал, и потребовал, чтобы она взяла назад свои обвинения. Но та была непреклонна: «Согласишься жениться, тогда освобожу из тюрьмы!» Мужуку деваться было некуда. Он согласился.

— Вообще-то, она баба вкусная, — рассуждал Вдовин, — по крайности можно и жениться.

Женщина приехала в лагерь на свидание и под диктовку Вдовина сочинила заявление, в котором объявляла себя от него беременной, сообщала об их намерении пожениться и просила пересмотреть дело. Заявление истицы возымело свое действие, и однажды Вдовина выдернули, как говорили в лагере, на этап и отправили для пересмотра дела в Ростов. Видимо, все разрешилось в его пользу, ибо в лагерь он больше не возвратился.

А ведь как было бы хорошо, если бы Вдовин сумел реализовать свою гениальную идею и изобрести вечный двигатель! Какой бы это был переворот в науке! Но, увы, Вдовину это не удалось. «Начальство помешало!» — иронически говорил он, хитровато улыбаясь.

Сталинист

В лагере в гротескном виде воспроизводилась народная жизнь на воле со всеми ее мыслимыми и немыслимыми ситуациями. С точки зрения нормального человека это был мир странный и неестественный, полный каких-то нелепых парадоксов и противоречивший элементарному здравому смыслу. Мертвенная неподвижность лагерной жизни порой бурно нарушалась какими-то невероятными происшествиями, для того чтобы потом вновь войти в свою тоскливую колею. В этом мире причудливо переплеталось трагическое и комическое, а реакция на различные события деформированных патологической ситуацией людей часто бывала неадекватной.

Возможно, трагикомическая история, свидетелем которой я оказался однажды летом в период моего лагерного бытия, и шокирует некоторых сторонников покойного генералиссимуса, но я должен со всей определенностью заявить, что в ней нет ни капли вымысла. Так случилось, что все ее главные эпизоды прошли передо мною, как в документальном кинофильме, и грех мой будет лишь в том, что я не сумею изложить события столь красочно, как они того заслуживают.

Как-то вечером я случайно оказался свидетелем эпизода, послужившего завязкой ко всему последующему. Нас только что пригнали с работы, и я несколько замешкался около вахты, когда к начальнику надзора танцующей походкой приблизился коренастый, невысокого росточка блатнячок и, выделывая ногами движения, напоминающие чечетку, а на языке того мира — «бацая», заговорил:

— Начальничек, отпусти меня на тридцать седьмой ОЛП, дело есть.

Не глядя на паренька, надзиратель сквозь зубы небрежно процедил:

— Других желаний нет, а то говори уж сразу!

— Посылочка мне пришла на тридцать седьмой, начальникек. Да и вообще переселиться бы надо, дело есть.

— Пошел вон! Посылка ему пришла. Волк из леса прислал. Вон в тот дом я могу тебя переселить! — величественным жестом надзиратель указал пальцем на расположенный рядом с вахтой штрафной изолятор.

— Ну, смотри, гражданин начальник, пожалеешь, — все так же приплясывая, гнусавил блатнячок. — Будешь ноготки грызть, но поздно будет!

Но гражданин начальник даже не удостоил парнишку взглядом и, повернувшись спиной, величественно зашагал в сторону вахты.

Желание переменить участь обычно овладевает заключенными. Блатные, для которых любой лагерь как дом родной, где они всегда могут рассчитывать на помощь и поддержку членов воровской корпорации, часто хотят переехать в другой лагерь по конкретным причинам: повидаться с освобождающимся уголовником и что-то передать на волю, увидеть возлюбленную из воровской шайки и т. д. Подвижные в силу своего образа жизни, они особенно часто стремятся изменить местожительство хотя бы в пределах огромного лагерного архипелага.

В следующие сутки я должен был выйти на завод лишь в ночную смену. С утра было жарко, и сразу же после завтрака я расположился на крылечке барака, предвкушая возможность провести время, греясь на солнце в столь редкий, свободный от работы день. Напротив был расположен довольно высокий двухэтажный барак, и я невольно вспомнил ядовитое замечание одного полуинтеллигентного двадцатипятилетнего парня, что при коммунизме одноэтажных барачных бараков в лагере больше не будет, будут только двухэтажные.

Неожиданно я заметил совершенно голого человека, появившегося на крыше высокого барака. Приглядевшись, я понял, что это тот самый парнишка, который вечером около вахты добивался, чтобы его этапировали. В жилой зоне постоянно велись различные ремонтные работы, и в первую минуту я решил, что нарядчик послал парня чинить крышу. Ну а почему голый? Да, вероятно, как и я, хочет воспользоваться редким жарким днем и подзагореть.

Своку работу парень почему-то начал с печных кирпичных труб. Методично работая ломиком, который он припас для этого дела, он стал выбивать кирпичи и аккуратно укладывать их в виде бруствера. Разобрав кирпичные трубы, парень начал отделять куски шиферной кровли и наращивать ими свой бруствер, который поднимался все выше и выше. Получилось своеобразное боевое заграждение, вроде баррикады. Временами паренек прерывал свое дело и, отойдя в сторону, осматривал это сооружение, явно любясь результатами своего труда. Заинтересовался и я его странной работой и стал внимательно за ней наблюдать. Вскоре парень очистил от шиферных плиток большую часть крыши и приступил к выламыванию стропил, которые сперва плохо поддавались его усилиям. Однако, действуя ломиком как рычагом, он все же умудрился вытащить на уцелевшую часть крыши несколько больших бревен, которые, видимо, по его замыслу, должны были придать брустверу законченный вид.

Паренек работал уже часа полтора, когда, наконец, солдат на вышке обратил внимание на его деятельность. Вообще-то, в обязанности стрелка не входит наблюдение за тем, что творится в зоне, его дело — смотреть, чтобы никто из заключенных не сделал попытку выбраться на запретку. Но от нечего делать он, как и я, заинтересовался происходящим и стал присматриваться.

Между тем дело у парня продвигалось довольно быстро. Разобрав большую часть крыши и оставив от нее лишь то место, где находились его укрепленные позиции, он стал крушить потолок второго этажа так, что штукатурка посыпалась градом, заваливая жилое помещение.

Откуда-то вынырнул дневальный барака, который до того, видимо, спал или куда-то уходил, и заорал:

— Что делаешь?

Паренек ничего не ответил и спокойно продолжал свою работу.

Тут только стрелок на вышке наконец сообразил, что происходит нечто не совсем обычное, и позвонил на вахту. Через минуту появился надзиратель.

— Ты что там, мать твою, делаешь?

— Барак рушу.

— Слезай сейчас же!

— Кончу, слезу.

К этому времени слух о необычном происшествии начал распространяться по зоне, и все, кто в этот день в ней был (рабочие ночных смен, ходячие больные госпиталя, внутрिलाгерная обслуга и т. д.), высыпали на улицу и сгрудились возле барака. Это только и нужно было пареню. Ведь что за спектакль без заинтересованных, понимающих и сочувствующих зрителей!

Вообще надо сказать, что всякое проявление доблести, подчас в самой уродливой, патологической форме, в этом мире высоко котируется. Для того чтобы продемонстрировать свой душок, способность проявлять дерзкое мужество во взаимоотношениях с охраной и надзором, или выразить свой протест, уголовник часто совершает странные с точки зрения нормального человека поступки: зашивает себе рот, прибивает себя гвоздями к нарам, делает на лбу наколки. Я помню, как у нас в зоне один блатной проглотил в санчасти градусник, а другой — черенок от ложки и хирург-заключенный делал им операции, дабы извлечь лагерное имущество. Подобные действия должны были поднять авторитет блатного в корпорации, а стало быть, обеспечить ему влияние и власть в преступном мире. Чего-то подобного, видимо, и добивался паренек на крыше.

— Начальничек, ты же дубак, тебя не прошибешь, хоть из пушки стреляй. Я тебе что вчера говорил: «Отпусти на тридцать седьмой!» А ты: «Нет, нет». Я же сказал, будет хуже. Теперь пеняй на себя. Сталин нас учит прислушиваться к народу, а ты что творишь?!

Взбешенный надзиратель обошел барак со всех сторон, но влезть на крышу без лестницы возможности не было. Тогда он побежал на вахту за подкреплением. Двое надзирателей притащили лестницу, и один было полез на крышу, но паренек оттолкнул лестницу, и надзиратель вместе с ней грохнулся на землю. В толпе раздался смех. Положение надзирателей становилось нелепым. Вторая попытка залезть по лестнице на крышу закончилась еще позорней. Паренек не только оттолкнул лестницу, но сумел также метнуть кусок шифера, который угодил надзирателю в лицо. Как полагается в театральном спектакле, «действие» сопровождалось текстом. Паренек вошел в роль и произносил монологи, зрители откликались на них ядовитыми замечаниями.

— Сталин нас учит, что надо думать о живом человеке, а ты, падло, что делаешь, слушать меня не схотел! Сталин говорит, что незаменимых нет. Может, если б меня поучить, в рот меня толкать, я профессором бы стал или там начальником лагеря! В начальство бы вышел, в кабинете бы сидел, газеты читал, чай с лимоном пил и по телефону разговаривал. Или там вертухаем стал вместо тебя. Вот бы тебе обидно было! А я вот всю дорогу рогами упираюсь!

Парень, видимо, хорошо усвоил идеи вождя о выдвижении руководящих кадров из народа.

Зрители потешались.

Наконец была вызвана пожарная команда, состоявшая из заключенных-малосрочников. Пожарники были привилегированным лагерным сословием и жили за зоной. В команду брали обычно бывших военнослужащих, осужденных за воинское преступление: самоволку, пьянку и т. д. Поставили лестницу, закрепили ее за кромку остатка крыши, и один из надзирателей вновь полез наверх. Однако итог был тот же. Парень закидал его обломками шифера, а затем сбросил и лестницу. Тогда заработал пожарный насос, и паренька стали поливать холодной водой. Тут стало ясно, зачем он предусмотрительно разделся догола и соорудил бруствер. Паренек то прятался за баррикаду, то бросал куски шифера, то выскакивал и отталкивал лестницу. Кому-то из надзирателей он попал в голову, кто-то из атакующих вывихнул ногу, падая с лестницы. Словом, как говорится в военных сводках, были незначительные потери.

В зону стали возвращаться рабочие бригады. Услыхав о происходящем, все бежали смотреть спектакль. Надзиратели беспомощно топтались, авторитет их падал на глазах. Из толпы сыпались ядовитые замечания и советы:

— В Генштаб телеграмму отбейте, пусть десантников пришлют!

— За сто рублей и пол-литра я с парнем договорюсь, он слезет!

Часам к пяти подвезли второй насос, и мощная струя воды обрушилась на парня. Однако он, ловко увертываясь, продолжал метать в надзирателей куски шифера и отталкивать вновь устанавливаемую лестницу. Тем временем, проникнув через разрушенную крышу, вода потоком устремилась в барак. Наконец начался общий штурм. Пожарники водрузили две лестницы, и под прикрытием водяных струй надзиратели сумели с двух сторон взобраться на крышу. Преступник схвачен, на него надеты наручники, и его волокут вниз. Бить его начинают еще по дороге в изолятор, и паренек кричит истощенным голосом на всю зону: «Сталин, спаси! Сталин, спаси!»

Так завершилось незапланированное лагерное представление, в котором действующими лицами были не актеры-профессионалы из лагерной агитбригады, но один солист, выступавший в сопровождении лагерной самодеятельности, куда входили и заключенные, и надзиратели.

А на следующий день я, проходя мимо штрафного изолятора, услышал, как тонкий голосок выводил:

Дом за высоким забором

Сложен из камня крестом.

Двери с железным запором.

Окна за толстым щитом.

Утром разносят баланду

В ржавых и грязных бачках.

Попка на вышке рыдает,

Тянет свой срок на часах.

Век не видать мне свободы,
Зря я лишь сердце томлю.
Знают лишь мрачные своды
Горькую долю мою.

Лагерная жизнь вновь вошла в свою привычную, тоскливую и монотонную колею.

Диалектик

На территории нашего лагеря находился карантин, который служил основным поставщиком дополнительной рабочей силы для лесобиржи. Согласно инструкции ГУЛага, прибывающих в лагерь из следственных тюрем заключенных, прежде чем распределять по рабочим бригадам, две недели держали в карантине, и начальство старалось всячески использовать эту дармовую, даже по лагерным понятиям, рабсилу на всевозможных работах. Часто наша сравнительно небольшая бригада не могла справиться со всеми видами работ, особенно если погрузка так называемых коммерческих вагонов то ли по вине железной дороги, не давшей порожняка, то ли из-за отсутствия требований на пиломатериалы приостанавливалась. В этих случаях приходилось штабелевать доски, а в зимнее время к тому же еще и очищать от снега лесовозные дороги. Тогда выгоняли на работу заключенных из карантина. Это давало нам возможность ощутить пульс политической жизни страны, поскольку всякая кампания сопровождалась новыми арестами, и по поступавшему в лагерь контингенту мы судили о том, что происходит на воле.

В этом общем, изо дня в день непрерывно лившемся человеческом потоке попадался и наш брат, столичный и нестоличный интеллигент, которого только что пропустили через тюремную мясорубку Лубянки, Лефортова, ленинградского Большого дома или еще какого-то «большого дома» и теперь, измученного ночными допросами и ослабевшего от голода, выбрасывали к нам на порой непосильный труд. Твердо усвоив лагерный закон, гласивший: «День канта — месяц жизни», мы старались облегчить, насколько могли, участь такого человека, если это оказывалось возможным — помочь устроиться в нашей зоне на работе полегче. Поэтому, когда с бригадой из карантина на бирже появился преподаватель философии и диалектического материализма из Ростовского университета Р., первое мое желание было ему помочь. Это был человек лет сорока. Я подсказал бригадиру мысль поставить его на сравнительно легкую, хотя и утомительную работу по уборке шахтовки и

горбыля, и к вечеру он процентов на десять выполнил дневную норму. «Ну что же, — рассудили мы, — человек только что прибыл из внутренней тюрьмы, физически ослаб, дело понятное».

По выходе из карантина Р. был направлен в нашу бригаду. С первых же дней его поведение показалось мне весьма странным. Обычно вновь прибывшие вели себя осторожно и крайне сдержанно, стремясь наладить какие-то человеческие отношения с окружающими. Напротив, Р. сразу же усвоил иную манеру поведения. Оказавшись в среде блатных и приблатненных, мелких воришек, жуликов и мошенников, он стал вести себя до комизма важно, с чувством собственного достоинства, противопоставляя себя окружавшей его шушере. Уголовники — народ наблюдательный, они очень скоро его раскусили. Первым стал обращаться к нему с насмешливыми замечаниями бригадный остряк Петька. Услышав ученые рассуждения Р. по какому-то пустяковому предмету, Петька сказал:

— Слушь-ка, Р., хренякни нам что-нибудь из философии.

Лед был сломлен, и посыпались иронические замечания в адрес философа:

— Ты лучше расскажи, философ, человек умный, как ты к нам, дуракам, угодил?

Р. важно рассказывал. Выяснилось, что ученый муж попал в тюрьму за то, что в лекции по философии, объясняя соотношение двух категорий — случайности и необходимости, привел в качестве примера следующее оригинальное рассуждение: «То, что великий советский народ победил коварного врага в Великой Отечественной войне, было необходимостью, а то, что в это время во главе нашего государства стоял Иосиф Виссарионович Сталин, было случайностью». «То есть как это? — спрашивали его во время следствия в парткоме университета. — Выходит, наш народ мог победить немецких фашистов без Великого?!..» Машина закрутилась. Подобного богохульства бдительные органы соответствующего ведомства, разумеется, стерпеть не могли, и, получив через Особое совещание свою десятку, Р. приехал к нам в лагерь.

Довольный тем, что вокруг него собралось общество, Р. вещал. Привыкнув в университете к покорным, обязанным посещать лекции студентам, он упивался, сообщая на большом пафосе толпившимся в курилке биржи заключенным разные банальности, которые он сам, видимо, считал истинами. В популярной, как ему казалось, форме он объяснял плохо понимавшему русскую речь крестьянину-двадцатипятилетнику из Литвы, что тот сидит в результате обострения классово-борьбы в деревне, Петьке — что социалистическое общество должно сурово карать за покушение на личную и общенародную собственность, ибо она создается упорным трудом рабочих и колхозников, что все сидящие в лагере политики осуждены в соответствии с законом диалектики об отрицании отрицания. «Мудрость Сталина, — гнусавил он, — состоит в том, что он первым осознал опасность для партии всяческих оппозиций и разгромил их. Субъективно оппозиционеры, может быть, и неплохие люди, но объективно они вредоносны».

Я не мог понять, говорит ли он все это всерьез, шутит или надеется, что кто-либо из стукачей донесет о его правоверных речах начальству и его освободят. Если так, то это было по меньшей мере наивно. Но, кажется, он вещал всерьез.

Слушая Р., я невольно вспоминал пустопорожние лекции по так называемой четвертой (философской!) главе «Краткого курса истории партии», которыми нас, студентов ИФЛИ, пичкали корифеи этой науки. Один из них прославился подхалимской книжонкой «Дальнейшее развитие марксистско-ленинского философского учения в трудах И. В. Сталина». За свой скромный научный труд автор был всячески обласкан властями, получил Сталинскую премию и сделал академическую карьеру. Припомнил я и яростные выступления этого человека против всяческих «идеалистов», позитивистов, формалистов и прочих «истов»

в философии. Страшно было подумать, сколько бездельников и халтурщиков занималось изготовлением подобных трудов, сколько произносилось слов на лекциях и конференциях и сколько сил и часов короткой человеческой жизни расходовалось бессмысленно. Но так было на воле, а в лагере никто всерьез Р. не принимал. Его бесконечная болтовня всеми воспринималась как речь глупого человека, недоумка и то и дело прерывалась ядовитыми репликами.

— Если ты такой умный и превзошел всю эту премудрость, то как же тебя сюда посадили? — спрашивал постоянный его оппонент, бывший студент Львовского университета.

— Это ошибка, меня освободят. В таком большом деле, как строительство социализма, возможны ошибки.

— А ты не допускаешь, что могли быть ошибки и в делах других зека?

— Конечно, допускаю.

— Но ты же сам говоришь, что, согласно закону логики, часто повторяющиеся ошибки выглядят как система, — прижимал его студент.

Крыть было нечем, и Р. замолкал, чтобы спустя некоторое время возобновить свой бесконечный монолог.

— Ты, Р., вон сколько получал в своем университете, а я в деревне шиш, где ж тут справедливость? — спрашивал работяга.

— При социализме каждый получает по труду, — безапелляционно ронял Р.

Было удивительно наблюдать, как его наука давала ему возможность оправдывать все на свете.

Самое интересное, что он не был циником, он был, если угодно, классическим схоластом, прочно усвоившим несколько примитивных идей и запрограммированным на все случаи жизни.

Однажды бригада штабелевала пиломатериалы для воздушной сушки, а Р., как слабосильный, был занят на другой, более легкой работе. Один из штабелей достиг уже высоты метра в четыре, и подающий доски Петька запарился, выжимая на руках каждую из шестиметровых пятидесяток. Тогда бригадир направил в помощь Петьке всех, кто не участвовал в штабелевке, в том числе и Р.

Далее произошло нечто странное. Всякий раз, как Петька выжимал очередную доску, Р. толкал его в спину. Петька сперва воспринял это действие Р. как старческое озорство (Петька был примерно в два раза моложе Р.) и лишь выматерился, но когда Р. поступил так во второй и в третий раз, он не на шутку рассердился и полез драться. Наблюдавшие за происходящим работяги со смехом его оттащили, а один из них изрек: «Философ спятил!»

Я также наблюдал за происходящим и испытывал чувство стыда. Дело в том, что я был единственным человеком в бригаде, понимавшим благодаря опыту обучения в советском гуманитарном вузе подоплеку странного поведения Р. Профессор как бы олицетворял структуру мышления, которую нам навязывали. Ведь он на самом деле думал, что помогает Петьке в работе. Он искренне так думал! В его привыкшей к схоластическим построениям голове сложилась простая, вполне убедительная для его ума идея.

Петька толкает доску наверх, а он, Р., толкает Петьку в спину. «Силы складываются», и, стало быть, он облегчает Петьке его труд. Какое удивительное торжество формальной логики! А вокруг еще все почему-то возмущаются или смеются!

По просьбе бригадира Р. списали с завода и перевели во внутреннюю службу ОЛПа. Р. был назначен помощником заведующего лагерным ларьком. Его новый начальник, в прошлом директор райпищеторга в небольшом городке, осужденный за какие-то финансовые махинации, сумел и в лагере — то ли за взятку, то ли благодаря связи с «кумом» — устроиться на легкую и выгодную работенку. Всю свою ненависть к образованным он обрушил на отданного ему на съедение Р. Он всячески издевался над беззащитным философом, заставлял его выполнять всю тяжелую и грязную работу — по многу раз в день мыть пол в ларьке, перекачивать с места на место бочки, таскать через всю зону воду. При этом он непрерывно ругал его последними словами, а раза два избил.

— Мы все здесь сидим из-за таких паскуд, как ты, — орал он, — философствовали, философствовали и дофилософствовались нам всем на погибель, контра поганая!

Встречая меня во дворе зоны, Р. жаловался на свою судьбу и ругал советские порядки, при которых к вершинам власти поднимались такие люди, как его начальник.

— Ведь он сам бывший член партии. Сам же строил это общество, а теперь винит интеллигенцию! И подумать только, что на обучение подобных людей ушли лучшие годы моей жизни! — сетовал он, прозревая.

Мне было и смешно слушать этого незадачливого философа, и немного его жалко.

Но судьба заключенных переменчива. При очередной ревизии ларька обнаружилась недостача, и заведующий загремел на этап, а Р. был назначен на его место и вскоре воспрял духом. От былых его сомнений в правильности избранного им жизненного пути не осталось и следа. Воистину, бытие этого человека полностью определяло его сознание. Важно восседал он в своем универмаге, продавая мыло, зубной порошок, маргарин, дешевое печенье и прочий нехитрый товар. В каморке при ларьке он и жил. Завелась у него и знакомая — бойкая вольняшка из бывших зечек-бытовичек. Она оттянула свою семерку за какие-то злоупотребления в торговой сети, осталась жить и работать в поселке и по роду своей деятельности часто бывала в зоне. Для нее Р. был олицетворением большой науки, и вечерами, проходя мимо его кабины, я слышал, как он гнусавил, приобщая ее к основам философии.

Слушая разглагольствования Р., я невольно вспоминал рассказ моего приятеля, как однажды ночью в Бутырской тюрьме он услышал за дверью камеры разговор двух надзирателей, из коих один, видимо, помогал другому подготовиться к очередному политзанятию. «Видишь ли, — говорил надзиратель постарше надзирателю молодому, — вот вещь в себе и вещь для нас. Если вещь не опознана, то она в себе, а если опознана — она для нас». Так тюремная терминология помогала внедрять в умы надзирателей основы немецкой классической философии. Бедные Кант и Гегель! Могли ли они думать, в какой среде и какими неожиданными путями будут распространяться их идеи?! Подобно надзирателю Бутырской тюрьмы, профессор Ростовского университета Р. трудился на поприще народного просвещения и распространял в нашем обществе идеи единственно верного философского учения.

После освобождения я с Р. больше не встречался, но мне говорили друзья-ростовчане, что Р., возвратившись в родной город, в университете больше не работал, но читал какие-то лекции по марксистско-ленинской философии по линии общества «Знание». Видимо, прочь ушли посетившие его в лагере сомнения, и он вновь вернулся к любимому занятию, на которое только и был способен.

К нам на лесобиржу Витек был переведен из лесоцеха, где зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Тихий, спокойный и вежливый, он казался симпатичным и закоренелым уголовникам, и тем, кто на воле привык к людям культурным и деликатным. Послушный и исполнительный, он все работы выполнял быстро и аккуратно, ни с кем не ссорился, и бригадир был им доволен. По-детски розовые щеки и пухлые губы делали его похожим на молодую девушку, и как-то не сразу верилось, что ему уже стукнуло двадцать лет. Но более всего привлекали в нем удивительно красивые ярко-голубые глаза, которые, казалось, светились душевной чистотой, благородством и невинностью. Хотя Витек был невысокого роста и худощав, сложен он был хорошо и даже изящно, а когда, работая на солнце, раздевался до пояса, обнаруживалось сильное мускулистое тело с мягкой и нежной кожей человека, мало физически работавшего. Был он предельно аккуратен, всегда чисто одет, и даже грубые лагерные бушлат и телогрейка отлично на нем сидели. В обычную баню в зоне он не ходил, брезговал, а мылся в душе в котельной электростанции.

На фоне грубых, все время сквернословящих уголовников Витек производил впечатление милого, воспитанного молодого человека. Он почти никогда не матерился и выражал свои мысли хорошим, сравнительно чистым литературным, я бы даже сказал, изысканным языком. Воровским жаргоном он почти не пользовался, хотя явно был с ним отлично знаком. На работу он выходил всегда с книжкой, которую неизвестно где доставал, и читал каждую свободную минуту.

Витек охотно со мной беседовал. Он был весьма начитан в русской и зарубежной классике и, когда однажды зашла речь о литературе, обнаружил отличное знакомство почти со всеми романами горячо любимого мною, такого доброго и немного сентиментального Диккенса. Если к этому прибавить его довольно хороший вкус, пренебрежительное и даже отрицательное отношение к детективам, о которых он говорил с некоторым снобистским презрением как о низкопробном чтиве, то создавалось впечатление, что мой молодой собеседник неплохо образован и обладает хорошим художественным и психологическим чутьем.

— Авторы книг о сыщиках и бандитах плохо знакомы с нашим преступным миром, да и мало чего понимают в мотивах преступлений, — как-то сказал он мне и загадочно улыбнулся.

Из разговора с ним я понял, что он рос в интеллигентной семье, родители его занимали какие-то высокие должности в большом украинском городе, и мать с отцом попеременно приезжали к нему на свидания. Хотя он говорил о своих «стариках» с некоторой покровительственной иронией, чувствовалось, что он их любит, Витек всегда с теплотой и даже с умилением вспоминал о ранних годах жизни в родительском доме.

По совести сказать, я был немало удивлен, узнав однажды, что он двадцатипятилетний и сидит за бандитизм и убийство. Только однажды проявилась незаметная с первого взгляда черта его характера, когда в ответ на грубый окрик выгонявшего его из курилки на работу бригадира он отложил книжку и как-то странно, искоса на того посмотрел. При этом его прозрачно-голубые глаза так сверкнули, что всем присутствующим стало не по себе.

В столовую Витек предпочитал не ходить, так как регулярно, два-три раза в месяц, получал с Украины богатые посылки. Изготовив себе перед выходом на работу несколько бутербродов с салом, ветчиной или с сыром и аккуратно завернув их в чистую бумагу, он неторопливо поедал их во время короткого перерыва на работе, а когда кто-либо из уголовников со свойственной им наглостью предлагал разделить с ним трапезу, он лишь презрительно

пожимал плечами.

— Вот я все сам съем, а тебе не дам, ходи голодный, — сказал он как-то одному работяге.

В соседней с лесобиржей строительной бригаде работал паренек, тоже двадцатипятилетний, невысокого роста и с большим животом лагерного дохода, оборванный, грязный и вечно голодный. По ночам он ходил в столовую помогать поварам мыть посуду и чистить картошку, за что его подкармливали. У него всегда был какой-то униженный и прибитый вид, и все относились к нему с большим презрением. «Тарелки вылизывает после всех», — говорили о нем. Меня удивляло, что он частенько прибегал к нам в бригаду и Витек, обычно не слишком общительный и не склонный к благотворительности, ласково с ним разговаривал, а иногда его и подкармливал. Паренек, в свою очередь, оказывал Витьку разные мелкие услуги.

Я был удивлен дружбой двух таких непохожих друг на друга однолеток и спросил Витьку о доходах.

— Подельник он мой, Леха, — улыбаясь, рассказывал Витек, — мы вместе тут одного пришили.

— Как так? — не понял я.

— Да просто, — все так же улыбаясь, сообщил Витек, — шли тут поздно вечером по дороге, близ Харькова, в пригороде. Подвернулся такой здоровый мужик. Я подошел спереди, Леха сзади. Мужик был одет прилично: кожаное пальто, шапка меховая. Я говорю ему: «Быстро, лопатник!» А он здоровый был, роста высокого, думал, мы слабаки. Послал нас. А у меня пистолет был, мы у одного милиционера взяли. Я вынул пистолет и говорю ему: «А ну, быстро!» А он решил, что мы шутим, полез драться, ну я его и уложил. И всего-то двадцать семь рублей нашли в кармане. Кожанку и шапку взяли. Я пистолет Лехе отдал, и вышли мы на пригородную станцию. А у Лехи вид, сами видите какой, к нему суки и привязались. Кто, откуда. А, из колонии! Повели, обыскали, нашли пистолет. Заварилось дело. А тут убитый на дороге. Экспертиза. Вышли на меня. Ну, мы по четвертаку и отхватили.

— А где же вы познакомились?

— Да мы вместе в колонии сидели. Я ведь по колониям с четырнадцати лет. Посадят, перевоспитают, выпустят. У Лехи родителей нет, померли, а за меня хлопчут. И вот залетели.

Витек рассказывал все это спокойно, как о житейской неудаче, неблагоприятном повороте капризной фортуны.

Само собой так получилось, что без больших усилий Витек сумел себе завоевать в бригаде особое положение. От работы он не отлынивал, но, если был не в настроении, говорил бригадиру, что работать не будет, и его оставляли в покое. «Парень с душком», — говорили про него и старались его не задевать.

О своих былых похождениях Витек особенно распространяться не любил. Не то чтобы он чего-либо опасался — вся его жизнь прошла на глазах разных следователей и прокуроров, и ему нечего было от них скрывать. Просто излишняя болтливость ему явно не импонировала. Он также не любил слушать чужие рассказы о грандиозных воровских похождениях, которыми обычно хвастались мелкие жулики, выдававшие себя за важных и опытных персон в воровском мире. «Все врут они, — говорил он, — а всего-то сидят за мелочь». Передразнивая хвастунов, он произносил скороговоркой, пародируя блатные интонации: «Залетел в сонник, отвернул угол и на майдан к барыге. (В переводе на бычий язык это значило: «Проник в квартиру со спящими людьми, схватил и унес чемодан (или что-либо аналогичное) и побежал к скупщику краденого».) А всего-то делов!» Только в редких случаях он, забыв свою обычную

сдержанность, делился своим воровским и жизненным опытом.

Однажды обычные работы на лесобирже были приостановлены из-за проливного дождя. Мокрые доски не штабелюются, а других спешных работ не было, и бригадир милостиво разрешил всем собраться под крышей. В курилке набилось много заключенных из нашей и других бригад, и шел обычный лагерный разговор с взаимными насмешками и поддразниваниями. Зашла речь и о жизни в колониях для малолетних преступников. Многие из присутствовавших начали свою уголовную карьеру еще в малолетстве и в колониях побывали. При этом даже многоопытные, прошедшие огонь и воду рецидивисты вспоминали колонии с ужасом. Малолетки, не различая добра и зла, творили кошмарные дела. Уж я и не помню, при каких обстоятельствах и в связи с чем в беседу включился Витек.

— В колониях я три раза побывал. Да нет, ничего, жить можно. Зависит от того, как себя поставишь. Меня там не трогали, боялись. А вообще-то народ там отпетый. Помню, как-то начальство решило немного разгрузить нашу колонию. Уж больно много нас там набралось, и решили часть послать на стройку учениками. Было это в Сибири. Отобрали тех, у кого срок остался небольшой и «кто стал на путь исправления». — Последнюю фразу Витек произнес с иронической интонацией в голосе. — Погрузили нас в несколько теплушек и отправили. Конвоя нам не дали, а сказали: «Вы теперь вольные, и сами доберетесь». Только в классном вагоне ехали двое сопровождающих, которые должны были доставить нас до места.

Как-то вечером поезд остановился на небольшой станции. Дело было вскоре после войны, достать билет на поезд было трудно. Подходит к вагону один старичок и говорит: «Ребятюшки, доехать с вами нельзя ли? Здесь всего один перегон. Утром я на месте буду».

— Залезай, — сказали мы.

Старичок отошел, а потом вернулся и говорит:

— Нас тут двое, со мной внучка, нам бы двоим сесть.

— Да двоим-то, пожалуй, и места не будет.

— А я тут в соседнем вагоне договорился, меня там посадят. А девочку уж к вам, если можно.

— Сажай.

Девочка была невысокого росточка, на вид ей можно было дать лет четырнадцать-пятнадцать. Ей помогли подняться в теплушку и поместили на нарах. Старик ушел, и вскоре поезд тронулся. Все устроились спать. Ночью меня кто-то разбудил: «Вставай, Витек, твоя очередь!» Я сперва спросонья не понял, они, оказывается, девку всем хором драли. Я-то, вообще, не люблю коллективов, но на этот раз полез. А потом лежим и думаем, что дальше делать, отвечать ведь придется, она чуть жива. Обратно в колонию неохота. Кто-то предложил выбросить из вагона — и концы в воду. Девку поставили у открытых дверей. «Что, наелась, сука?!» — крикнул один, шарахнул ее ногой в живот и выбросил из вагона. Утром прибежал старичок: «Где внучка?» — «Какая тебе внучка, ты, что, охуел?» Старик туда, сюда. А поезд в это время пошел. Ну и все.

Стало тихо в курилке.

Здоровенного роста детина, шофер на лесовозе, сидящий за бандитизм, изрек:

— Ну и гад же ты, Витек. Таких, как ты, убивать надо при рождении!

— Да ведь убивать-то нас трудно, мы сами кого хочешь... — как-то очень спокойно и даже безразлично сказал Витек.

Помолчали. Потом Витек добавил:

— А что ей, она же девка конченная, дырявая, как жить бы дальше стала? Ей же лучше так.

Разговоры в курилке прекратились. Витек снова погрузился в чтение книги.

Однажды нашу бригаду вывели на работу, но Витек был оставлен в зоне. Нарядчик сказал: «Идет на этап». Дело было обычное, и мы о парне забыли.

Месяцев через пять появился у нас в зоне человек с того ОЛПа, на который Витек был этапирован. Это был хорошо известный в лагере старый блатной, некий Морозов. Ему оставалось сидеть месяца два, его готовили к освобождению. Я был с ним немного знаком. Мы разговорились, и я спросил его про Витька.

Морозов усмехнулся:

— Это такой вежливый, круглолицый? Как же, помню. У вас, на комендантском ОЛПе, двадцатипятилетников ведь не держат, а его держали. Отец добился лагеря полегче. А как к нам привезли, стали гонять в лес, начал он цапаться с бригадиром, нарядчиком. Себя блатным в законе ставить. А ведь он кто — ЧХБ (лагерная аббревиатура — «черт хилает под блатного»). Стал и с нашим братом задираться, характер показывать. Ему раз сказали, два сказали. Уж очень гордый был. Как-то один из наших обжать его хотел, а он ни в какую. Наш ему врезал, а он в драку и нашего зашиб. А бить вора — сам знаешь, что за это. Ну, кинули его на нары и обушком. Правда, парень пощады не просил, не канючил. Звука не издал. Потом было следствие. Приезжал отец, важная шишка. Все дознавались, кто его уделал. Да ведь у нас там «закон — тайга». Хрен узнаешь. Наши только смеялись.

Морозов помолчал и назидательно добавил:

— В лагере жить уметь надо!

Грузчики

Второй день нет погрузки. Это означает, что на лесобирже скапливаются горы пиломатериалов и в любую минуту железная дорога может подать двойное число вагонов. В таком случае бригаде предстоит тяжелая работа, но об этом все стараются не думать. Грузчики не торопятся вставать, хотя сигнал подъема уже прозвучал и дежурный надзиратель ударил по висящей у вахты рельсе. Когда будет получена телефонограмма о подаче «коммерческих вагонов», как здесь почему-то именуется предназначенный под погрузку порожняк, за бригадой прибегут. Три положенных для погрузки часа железная дорога начинает исчислять с момента, когда вагоны устанавливаются на заводской эстакаде, и всякая задержка с выводом бригады влечет за собой увеличение времени погрузки, что оборачивается для завода штрафом. Поэтому при конвоировании грузчиков надзор проявляет несвойственную ему оперативность.

Тишину в бараке нарушает грузчик из Западной Украины. Ощущая себя коммунистом и украинцем, он не захотел до войны служить в польской армии, перешел советскую границу, был арестован как шпион и вот сидит уже одиннадцатый год. Каждое утро, проснувшись, он затягивает, гнусавя, одну и ту же песню: «Вставай, проклятьем заклейменный, народ

голодных и рабов!»

В певца летят разные предметы, слышатся проклятия. Постепенно грузчики поднимаются. Начинаются бесконечные разговоры о еде. Один из работяг заявляет, что мог бы съесть ведро каши. Другие выражают сомнение, тогда согласовываются условия спора. Бригадир в сопровождении двух работяг отправляется на кухню за завтраком, и вот они уже тащат два ведра каши — завтрак всей бригады: одно делится между всеми, а другое ставится перед хвастуном. Сгрудившись в кучу около героя дня, грузчики наблюдают за точным выполнением условий. Если работяга все съест — так тому и быть, если не сумеет, он должен поставить бригаде угощение. Подбадриваемый возгласами одобрения и улыбаясь, герой уписывает кашу огромной деревянной ложкой. Свой подвиг он совершает деловито и быстро, чувствуется, что, идя на спор, парень учитывал свои возможности. Каша в ведре быстро убывает.

Я смотрю на парня с ужасом, и мне начинает казаться, что у него растет живот. Вот уже нет половины ведра, но парень темпа не сбавляет. Все так же улыбаясь, он отправляет в рот ложку за ложкой. Самое любопытное, что он вовсе не великан, а худощав, обычного среднего роста. Он до пояса гол и весь испещрен татуировкой, свободного места на спине и на груди нет. Это сложнейшая композиция из надписей и рисунков. Тут встречаются и традиционные тексты: «Умру за горячую любовь» и «Вот что нас губит» с иллюстрацией в виде голой девицы, бутылки и карт. Есть тут и дань службе на флоте: огромный парусник, нанесенный разноцветной тушью, и большой черный крест на груди, и множество женских имен, возможно, отражающих сложную личную жизнь героя. Но главным сюжетом, в котором реализовывался весь творческий замысел, парень, видимо, считал изображение обнаженных, лежащих друг у друга в объятиях юноши и девушки. Эту пару он поместил на груди в центре всей композиции. Справедливость требует отметить, что молодые люди были изображены в лучших реалистических традициях. Единственным отступлением от жизненной правды можно считать наличие у девушки хвоста — возможно, дань фольклору о русалках.

Как-то неожиданно наступает финал, каша съедена, и, картинно швырнув ложку в ведро, под всеобщий хохот парень, рисуясь, бросает: «Эх, чего бы еще пожрать?!»

О честный, скрупулезный Гиннес! Почему ты не посетил наш Каргопольлаг, чтобы пополнить свою Книгу мировых рекордов?!

Триумф героя сорвал дневальный, который, вбежав, сообщает, что в ларек привезли повидло. Дело это серьезное, требующее активного участия всей бригады. Грузчики срываются с места и бегут к ларьку. Быстро расшвыряв выстроившихся в очередь заключенных, они буквально вырывают у ларечника бочку с повидлом и выкатывают ее на улицу. Работяги в очереди с грустью наблюдают, как уплывает столь редкое в лагере «сладкое дело». Бочку кантуют к бараку, и вот уже вся бригада гужется, сев вокруг бочки в кружок. Повидло исчезает с невероятной быстротой. Самое удивительное, что и парень, съевший ведро каши, принимает в трапезе самое живое участие. Когда еще Всевышний ниспошлет такую благодать!

Прибегает надзиратель: есть телефонограмма с завода, ставят десять вагонов. Десять вагонов — это по-божески, и бригада с шумом выстраивается у вахты. Ждем конвоя. Тут же крутится мальчонка лет шести, сын одного из надзирателей. Это дает повод бригадному остряку Сашке начать диалог.

— Андрюш, ты кем будешь, когда вырастешь, надзирателем или конвоиром? — невинно вопрошает он.

— Конвоиром! — говорит малыш, не чувствуя подвоха.

— Будешь стрелять в заключенных, пах-пах?

— Буду стрелять!

Стоящий поблизости отец мрачно смотрит на Сашку, но придаться не к чему.

— Разговорчики! В ШИЗО захотел?! — бормочет он. Появляется конвой. Начальник конвоя, сержант, выходит из помещения вахты, держа автомат, стволом направленный на колонну, и произносит свою ежедневную молитву:

— Во время следования заключенные должны строго держаться рядов. Всякий выход из строя будет рассматриваться как попытка побега, и конвой откроет огонь без предупреждения! Понятно?

— Понятно!

Молодой сержант чувствует себя большим начальником и упивается властью над людьми.

— Тогда следуй вперед!

У ворот вахты стоит сопровождающий колонну солдат с собакой на поводке. Когда колонна трогается, собака начинает лаять.

В наступившей на мгновение паузе раздается голос все того же неугомонного Сашки:

— Не лай, не лай, собачка! Твой хозяин злей тебя и то не лает!

Конвоирам приходится проглотить и эту оплеуху. Не останавливать же грузчиков в дороге, когда на подходе вагоны, от погрузки которых зависит выполнение заводом плана.

На этот раз вагонов дают немного, и грузчики могут позволить себе роскошь не беречь силы и расслабиться. Раздаются даже шутки и смех. Я иду в шеренге вслед за любителем каши, и мы все испытываем некоторые неприятные ощущения, но преодолеваем их со смехом. «Ничего, на погрузке просвежится», — зубоскалят работяги.

Колонна идет по дороге, а навстречу, по деревянному настилу, исполняющему на Севере роль тротуара, идет молодая женщина. Вероятно, это чья-то жена или дочь, приехавшая на свидание. Ну как тут не развлечься? Когда женщина равняется с колонной, идущий с краю цыган-моря, придав лицу звероподобное выражение, неожиданно хватая ее за край пальто, рывком притягивает к себе, издав при этом странный гортанный звук «у-у-у». Женщина в ужасе отшатывается, теряет равновесие и, упав на спину на настил, странно сучит ногами. Грузчики хохочут, смеются и конвоиры. Не правда ли, весело?!

Но вот, наконец, завод, и бригаду выводят на погрузочную эстакаду. Поскольку вагонов в этот день мало — погрузку, вероятно, закончим быстро. Но дело несколько осложняется. Везде царит прогресс, и недели за две до описываемых событий на погрузке появилась механизация. Привезли три автопогрузчика. Устроены они примитивно, подобно эскалатору в метро, наверх движется бесконечная лента. Двое рабочих кладут доску на ленту, а двое других, сидя на борту гондолы, сбрасывают ее в кузов вагона. Так работать, разумеется, куда легче, чем таскать пакеты с досками на плечах, но... Если раньше грузчики втроем грузили вагон при большом напряжении за три часа, то теперь погрузка продолжается при четырех грузчиках четыре часа и более. Заработка у грузчиков никакого нет — нормы другие, раз есть техника, то зачем же грузчику много платить, выполнять эту несложную работу может всякий.

Разумеется, грузчикам это не нравится, и вот один из них ловко совывает между зубьями шестеренок гвоздь. Раздается скрежет, что-то ломается, и лента останавливается. Подбегает бригадир. «Что случилось?» — «Сломался машина», — говорит один из грузчиков, высокий татарин. Автопогрузчик откатывают в сторону, и начинается работа вручную.

Когда по окончании работы грузчики собираются в курилке, готовясь к съему, прибегает красный от злости бригадир. Оказывается, железная дорога ставит еще двадцать вагонов. Смех замирает. Часа через полтора должны убрать погруженные вагоны и поставить порожняк. Это значит, что вкалывать придется до поздней ночи, прощай обед и ужин.

А в курилке сидит приехавший из Вологды от какого-то предприятия приемщик пиломатериалов, толкач. Он не раз бывал на заводе, и грузчики его знают. Приемщик всячески стремится заручиться их симпатией. Как всякий мошенник, он хочет иметь навар, уговорить зека погрузить ему сверх спецификации лишние кубометры: может, дачу себе строит, может, сарай. Но при этом он еще и жмот, в чем бригада уже убедилась на опыте.

— Я часто приезжаю сюда и вижу, как с каждым днем погрузка идет все быстрее и легче, очень помогают механизмы, работать становится веселее, — соловьем разливается он.

Заключенные иронически улыбаются. Работяга, только что «сделавший» автопогрузчик, с невинным видом говорит:

— Известное дело, прогресс! Он хорошо сечет в политике.

— Нам-то здесь особенно повезло, — говорит двадцатипятилетник, в прошлом студент Львовского университета, сидящий за украинский национализм, — пока вы там из последних сил вкалываете, коммунизм строите, мы здесь отсиживаемся. А когда через двадцать пять лет я из тюрьмы выйду, оглянусь вокруг, оказывается, все трудности позади и я пришел на все готовое, коммунизм уже без меня построили.

— Ну да, вот видишь, как все хорошо получается, — не поняв или не расслышав сказанного, радостно соглашается гость. Он, оказывается, еще и идиот.

Грузчики сдержанно посмеиваются.

Молчание вновь нарушает гость. Он принимает решение прибегнуть наконец к последнему аргументу, который, по его мнению, должен особенно привлечь на его сторону сердца грузчиков.

— Тут один еврейчик работал в министерстве, а теперь его к нам на завод перевели с понижением, — радостно осклабившись, ни к селу ни к городу говорит он.

Присутствующие угрюмо молчат. Для всех нас этот тип— существо, прибывшее с другой планеты. Что нам до всех их столичных или провинциальных игр с взаимным подсиживанием и борьбой за тепленькие местечки. К тому же наш гость хоть и глуп, но хитер и жаден.

Меня охватывает злость. «Ты, ворюга, хотя бы бросил на стол ребятам пачку папирос», — думаю я.

— Видите ли, — говорю я, — вот у этих двух парней лагерный срок — двадцать пять лет. Им, как говорится, без надобности, кого вы там куда перевели с понижением или с повышением. А будете канючить, чтобы вам лишние доски ребята положили и новый срок схватили, загремите сами к нам в бригаду. Тогда и узнаете все прелести прогресса и механизации!

Гость как-то весь стушевывается и замолкает, а вскоре исчезает вовсе.

Я слышу, как мой приятель, голубоглазый великан из Белоруссии, с которым я часто беседую на разные исторические темы, насмешливо произносит по-английски: «Вел дан!» («Хорошо сделано!»). Накануне я рассказал ему, что именно этой краткой формулой в сражении при Абукире в 1798 году по приказу английского адмирала Нельсона сигналщик поздравил команды кораблей, в считанные минуты потопивших французскую флотилию. Видно, парень запомнил мой рассказ. Теперь и я удостоился комплимента. Судьба парня сложилась

трагически: он родился в сельской местности, где-то под Гродно, во время войны, подростком, оказался с родителями в Германии, после войны перебрался в Соединенные Штаты и служил там в торговом флоте механиком. Ему захотелось повидаться с оставшимися в Белоруссии родными. Он списался с ними и поступил на корабль, который возил грузы в Рижский порт. Туда же приехали и старики-родители. В Риге он сошел на берег, был арестован и после полутора лет Лефортовской тюрьмы получил двадцать пять лет за измену родине, которую он видел только ребенком. С родителями он сумел увидеться только во время свидания в лагере.

Я смотрю через окно конторки, как грузчики делают в вагоне, предназначенном для гостя из Вологды, «яму», то есть наваливают доски, оставляя внутри пустое пространство. Я отворачиваюсь. Работяги умеют различать сорт людей.

Всюду любовь

Странное зрелище являла собой вошедшая в заводскую зону небольшая женская бригада. Их было человек десять-двенадцать. Они шли парами, взявшись под руки, и в их облике было что-то для лагеря необычное, сразу же привлекавшее всеобщее внимание. Казалось, что это идут на прогулку мужья с женами. В первый момент я принял тех, кто шел слева, за мужчин, и только когда шествие приблизилось, я понял, что место кавалеров занимают тоже женщины. Однако все в них было мужеподобное — и лицо, и фигура, и одежда.

В первой паре шла женщина высокого роста, худощавая, коротко стриженная под мальчика и напоминавшая старых лагерников-мужчин, с резкими чертами нервного, покрытого морщинами лица. Она была в брюках и рубашке с засученными рукавами, обнажившими мускулистые руки. На ногах у нее были кирзовые сапоги. Она властно держала под руку невысокого роста молодую женщину, хотя и по-лагерному, но щеголевато одетую, в короткой юбочке, носочках и туфельках, в хорошо пригнанной телогрейке, из-под которой выглядывал белый воротничок. Ее длинные волосы кокетливо украшали два бантика из ярко-красной ткани. Она была полненькая, чистенькая и ухоженная, и лицо ее было спокойно и даже весело.

— Коблы пришли со своими потаскухами, — в совершеннейшем восторге кричал работавший со мной в бригаде мелкий воришка Петька, от радости приплясывая и гримасничая, — дело будет!

В последнее время администрация лагеря неохотно отправляла женские бригады на лесопильный завод. Движимые отнюдь не соображениями высокой морали, начальники остерегались объединять в общей зоне мужчин и женщин, справедливо опасаясь, что это может привести к дезорганизации работы на заводе. Но постоянная нехватка рабочей силы вынуждала иногда отступать от принципов. В данном случае начальство решило выйти из положения довольно оригинальным способом и прислало на лесобиржу бригаду лесбиянок в надежде, что заводские работяги не будут вызывать у женщин большого интереса.

Еще накануне заведующий лесобиржей, вольняшка, предупредил меня, что должна прийти бригада с одного из женских ОЛПов, и в случае его отсутствия велел поставить женщин на штабелевку досок.

Высокая женщина в первой паре оказалась бригадиром. Уж и не знаю, по каким приметам она вычислила, что я здесь оставлен за старшего. Она подошла ко мне, и мы быстро распределили вновь прибывших по штабелям, причем бригадирша позаботилась о том, чтобы пары не были разлучены. В это время ее собственная напарница сидела на бревне, около конторки лесобиржи, и безучастно взирала на происходящее вокруг. Бригадирша ее вообще ни на какую работу не отправила. Женщина скинула телогрейку и, жмурясь от удовольствия, грелась на солнце.

Я обошел район штабелей и убедился в том, что в звеньях строго соблюдалось правило: мужеподобные женщины исполняли наиболее тяжелую часть дела — подавали доски наверх, а их партнерши укладывали их на штабеле. Работа у женщин спорилась и шла не хуже, чем у мужчин.

Так случилось, что за день до описанных событий я получил от отца посылку, в которой был кусок отличного поперченного венгерского сала, и часть его взял с собой на работу. Воспользовавшись тем, что заведующий еще не пришел, я решил перекусить, вскипятил на плите чай и пригласил в компанию сидевшую возле конторки женщину. Не буду лицемерить, я надеялся кое-что выведать из секретов женской любви. Интерес к неизведанному вечно побуждал меня в лагере совать нос в то, что меня не касалось.

Вот и на этот раз, движимый любопытством, я попытался вызвать женщину на разговор. Сделать это было тем легче, что все мужчины нашей бригады, за исключением старичка дневального, устремились к штабелям и буквально липли к работавшим женщинам. Впрочем, те не обращали на них никакого внимания, а охранявший их конвоир лениво отгонял назойливых ухажеров.

Женщина охотно откликнулась на мое приглашение и, сев рядом со мной за конторский стол, с удовольствием начала уписывать бутерброды. На одной из ее нежных, холеных ручек аккуратным, почти чертежным шрифтом, красной тушью была сделана наковка «Зачем мальчики, когда есть пальчики!» — с восклицательным знаком на конце.

О том, что среди лагерниц встречаются лесбиянки, я знал и раньше, но никогда не подозревал, что из них формируются целые бригады. И вот представилась возможность проникнуть в их «жгучую тайну».

Поев и попив чай с сахаром, моя собеседница, точно понимая мой интерес и не ожидая особых вопросов с моей стороны, за какой-нибудь час поведала мне все, что связано с лагерной женской любовью, и дала полный отчет о быте, взаимоотношениях и психологии влюбленных.

Лагерные лесбиянки имеют мало общего с древними обитательницами острова Лесбос в Эгейском море.

Принято считать, что женщины острова отличались не только безнравственным взаимным влечением, но и замечательной образованностью. На этом острове жила знаменитая поэтесса Сапфо, прославившаяся своими любовными песнями. Жительницы лагеря были попроще, стихов они не писали и философской мудростью не обладали. Это были несчастные, обреченные на долгие годы затворничества и одиночества женщины, и природа толкала их на поиски компенсации. Разумеется, были среди них и носительницы сексуальной патологии еще с воли, но в большинстве случаев именно лагерь явился для них школой однополый любви, к которой они приобщились под руководством опытных наставниц.

Оказавшись в тяжких лагерных условиях, женщины стремились преодолеть чувство одиночества, найти верного друга и защитника, создать подобие нормальной жизни. Лагерницы творили в своем сознании некий миф, который перестраивал весь их внутренний и внешний облик. Немалую роль в обращении в новую веру играло и окружение, настойчивое

повторение весьма распространенной в женской зоне формулы: «Для какого принца ты себя бережешь?!», и молодые, житейски неопытные женщины, часто еще девушки, шли навстречу поползновениям их более взрослых и искушенных товарок.

Моя собеседница явно испытывала удовольствие от спокойной беседы. Она рассказала и о себе. На воле она жила в уральском городе, где познакомилась с парнем, которого полюбила. Она знала о его уголовных делах, а может быть, в них и участвовала. Парень оказался, как она выразилась, слабак и, когда попался, не только не постарался выгородить подругу, но и своими показаниями поспособствовал ее осуждению, и она получила десятку. Только один раз за время нашего разговора, когда речь зашла о предательстве бывшего возлюбленного, ее вообще-то очень спокойные голубые глаза сверкнули негодованием. Может быть, память об этом предательстве и толкнула ее к патологии.

Мы проговорили часа полтора, когда неожиданно с грохотом распахнулась дверь и в конторку влетела, вся красная от бешенства, бригадирша. Бросив на меня злобный взгляд, она грубо схватила подругу за руку и с криком поволокла ее прочь из комнаты.

— Падло, — кричала она, — как мужской запах унюхаешь, так бежишь! Кадришься, сука!

Она бы, вероятно, и меня не пощадила, если бы в это время в комнате не находился дневальный лесобиржи, старичок Иван Иванович, присутствие которого создавало мне и моей собеседнице алиби.

— Ну и ведьма, — суммировал происшедшее дневальный, старый лагерник, — видывал я по лагерям много всего, но такой стервы не встречал!

Незадолго до этого дня в нашей бригаде появился новый заключенный, лет тридцати пяти. Он окончил актерское училище и до ареста работал в провинциальном театре. Это был высокий красивый малый, слегка сладковатой внешности, позволявшей ему на сцене и в жизни играть роль первого любовника. На воле он, по-видимому, был большой ходок по женской части и чувствовал себя совершенно неотразимым. Если верить его словам, в своем городе он пользовался немалым успехом. Человек он был весьма пустой и сидел, если мне не изменяет память, за злостное уклонение от уплаты алиментов. В бригаде он всегда заводил разговоры о женщинах, и, по всей видимости, ничто в жизни его больше не интересовало.

Прошло часа полтора после перерыва, и охранявший женщин конвоир, решив, что бригада обойдется и без него, ушел на заводскую вахту. Воспользовавшись этим, работяги из нашей бригады удвоили свои попытки познакомиться с женщинами, но те на них по-прежнему не обращали внимания. Разумеется, наш актер проявлял большую активность. Я счел нужным его предупредить, что это может для него плохо кончиться. Предупреждали его и другие старые лагерники, но он не унимался.

— Что вы мне мозги пудрите, — громогласно заявлял он, — бабы — всегда бабы и только бабы! Я-то их, слава богу, повидал на своем веку, знаю!

Во второй половине дня ревнивая бригадирша в наказание за беседу со мной поставила мою собеседницу на штабелевку, и та подавала доски наверх, а сама бригадирша их укладывала. При виде голубоглазой красотицы наш актер воодушевился и удвоил рвение. Проходя мимо работавшей пары, я снова предупредил его. Но актер ничего не хотел слышать. Распалившись, он схватил девушку за руку. Эффект был совершенно неожиданный. Бригадирша не сошла и не прыгнула, а буквально слетела со штабеля, в руке ее оказался нож, и она всадила его в спину актера. Начался переполох. Тут, на счастье, подоспел охранявший женщин солдат, бригаду немедленно увели, а актера положили на импровизированные носилки и отправили в лазарет.

Эта история имела и продолжение. В зоне бригадирша избивала свою возлюбленную так, что та провалялась почти две недели. Видимо, начальству надоели вечные драки и сцены ревности в женской зоне, и оно решило разлучить партнерш. Бригаду лесбиянок привезли на пересылку и попытались частично отправить на этап. Последовала душераздирающая сцена. Любящие сопротивлялись конвойным, которые пытались их растащить. Они кричали, рыдали, дрались с надзирателями, пока на них не надели наручники. Особенно яростно за свою лагерную семью боролась бывшая бригадирша, еще совсем недавно так жестоко расправившаяся со своей возлюбленной. Разрушалась семья, естественная основа всякого общества, хранительницей которой испокон веков была женщина. Пусть это была всего лишь трагическая иллюзия семьи, сложившийся в сознании ее прообраз — послушная извечному голосу инстинкта женщина, забыв все на свете, ринулась ее защищать. Разумеется, победа осталась за конвоем, и женщин разлучили. Позднее бригадирша несколько раз пыталась покончить с собой, и ее, всю израненную, дважды привозили к нам в лазарет, около которого я ее и видел. Конвой бдительно ее охранял. За какой-нибудь месяц она страшно изменилась. Высокая, сильная, подтянутая женщина превратилась в согбенную дряхлую старуху, смотревшую по сторонам невидящими глазами.

Актера подлечили, и, когда он вышел на работу, о женщинах он более не распространялся.

Наука и жизнь

Бригадир в лагере — фигура, наделенная большой властью, не случайно его величают маршалом. Он в значительной мере вершит судьбы рабочих, определяя условия труда, от которых часто зависит не только их здоровье, но и жизнь. Дабы обеспечить им заработок, вернее, более или менее сносное питание, бригадир вынужден идти на всевозможные ухищрения и приписки. Неизвестно когда и кем выдуманные нормы почти всегда не выполнимы. Это заставляет составителя рабочего описания всячески изворачиваться и жульничать, иначе говоря, туфтить. Поэтому, оказавшись в роли бригадира, человек честный должен решать для себя серьезную моральную проблему: придерживаться ли привычных этических норм или пересмотреть их, повинувшись требованиям реальности. Патологическая ситуация выворачивает формальную этику, ибо речь идет о жизни людей, а обманывать нужно тех, кто на нее посягает.

Однажды я был свидетелем, как проверявший рабочие описания контрольный мастер, человек, не лишенный чувства юмора, сказал бригадиру лесобиржи:

— Слушай, В., твоя бригада убрала с лесовозных дорог весь снег, выпавший в этом году в Архангельской области. Так ты уж, пожалуйста, оставь снег Вологодской области для других бригад!

Еще сложнее роль и ответственность бригадира при составлении описания работы, итог которой проходит по заводской отчетности и бухгалтерской документации. В этом случае приходится особенно бдительно следить за тем, чтобы между всеми документами была согласованность, иначе приписки могут быть вскрыты.

Одним из наиболее трудоемких видов работы на лесопильном заводе была погрузка в вагоны готовых пиломатериалов. Эта работа производилась вручную без каких-либо вспомогательных механизмов. Три человека за три часа должны были загрузить

четырёхосный пульман, соблюдая при этом многочисленные железнодорожные правила и ограничения. Работа эта требует не только некоторой ловкости и навыков, но и большой затраты физической силы. Поэтому бригадир грузчиков всегда озабочен тем, чтобы они получали повышенную пайку. Ему без приписок не обойтись. Один из самых простых и распространенных видов приписки — завышение объема погруженного в вагон пиломатериала. Чем больше погружено, тем выше заработок грузчика. Скажем, погрузили в вагон 48 кубометров досок, а учетчик указывает в сопроводительных документах 54 или даже 56. От подобных приписок страдает потребитель, который оплачивает пиломатериал по документам.

Большие предприятия получают ежемесячно сотни вагонов с пиломатериалами и, естественно, не имеют возможности и времени проточковать доски в каждом конкретном вагоне и подсчитать их общую кубатуру. Поэтому на тех больших предприятиях, куда мы отправляли свою продукцию, раз в полгода или в год производили для острастки выборочную проверку одного или двух вагонов, а все остальное время без звука подписывали и оплачивали заводскую туфту. Весьма редко к нам на завод присылались рекламации с жалобой на недогруз вагонов и на несоответствие документации истинному объему полученной продукции. Если же подобную проверку и учинял какой-либо дотошный заведующий хозяйственной частью небольшого предприятия — тогда при следующей отправке ему досылали недогруженное. Все к этой туфте привыкли, и никого это не возмущало.

Систематический недогруз отправляемых потребителям вагонов приводил к тому, что на лесобирже скапливались тысячи кубометров излишков, никак не зафиксированных ни в бухгалтерии, ни в плановом отделе заводского и общелагерного управления. Разумеется, заводские начальники об этих излишках прекрасно знали, но до времени закрывали глаза на деятельность лесобиржи и погрузки. Раз в месяц или раз в несколько месяцев, особенно когда завод не выполнял план, начальник завода вызывал к себе заведующего лесобиржей или десятника и требовал, чтобы тот подписал фиктивный документ о получении лесобиржей от лесоцеха тысячи кубометров разного рода пилопродукции, дабы на этом основании рапортовать в высшие инстанции о перевыполнении плана.

Обычно разговор с начальником завода происходил примерно так:

— Что-то у тебя там, на лесобирже, много излишков! Ты, что, вагоны недогружаешь?

— Что вы, гражданин начальник, мы все грузим честно.

— А ты знаешь, что за недогруз и умышленное создание излишков можно пойти под суд? Тебе, что, твоего срока мало?

— Да нет, гражданин начальник, вероятно, лесоцех ошибочно указал объем переданной бирже готовой продукции.

— Мать твою, туфтите вы все там. Вот всыплю я вам!

— Ну, может быть, в какой вагон и недогрузили. Рекламаций пока не было.

— Ладно, ладно, я все знаю. Надо вернуть цеху то, что вы у него взяли. Сколько кубометров даешь в план?

— Ну, может, пару тысяч кубометров.

— Ты, что, смеешься надо мной! Восемь тысяч, не меньше!

Обычно начиналась долгая торговля, после чего составлялся акт о приемке биржей от

лесоцеха огромной партии якобы произведенной заводом пилопродукции.

Но во всей этой хорошо отработанной деятельности по производству и отправке потребителю воздуха было одно уязвимое место. Количество пиловочника, поступавшего на завод с лесоповальных ОЛПов, было фиксировано. При нормальной и честной работе лесопильного завода, с учетом потерь на опилки, горбыль и другие отходы, полезный выход пиломатериалов должен был составлять примерно 65–67 % переработанного пиловочника. В результате же приписок он достигал цифры выше 70 %.

И вот однажды зимой меня, тогда десятника лесобиржи, вызвал начальник завода и протянул какую-то бумагу.

— Читай!

Это был приказ начальника ГУЛПа — Главного управления лагерей лесной промышленности, подписанный также и министром лесной промышленности Орловым. В нем значилось, что целый ряд заводов, среди которых фигурировал и наш завод, благодаря умелой организации труда добились рекордного процента выхода полезной пилопродукции. В конце предлагалось распространить опыт этих заводов на все предприятия лесной промышленности, в том числе и на леспромхозы, где работали вольные. Отныне высокий процент, достигнутый на нашем заводе, становился обязательным для всех лесопильных заводов страны.

Я посмотрел на начальника вопросительно. В лице его не было радости, несмотря на то, что наш завод был отмечен среди лучших. Как всякий северянин, всю жизнь проработавший в лесной промышленности, он прекрасно понимал абсурдность полученного приказа.

— Ну теперь смотри, чтобы все было в порядке! — сказал он и дал мне понять, что все надежды завода основаны на моей туфте при погрузке, но что он за нее никакой ответственности нести не собирается, а отвечать буду только я.

Месяца через два меня вызвали к начальнику завода.

— Ты там, кажется, кандидат наук, — изрек он. — Тут приехали из Ленинграда изучать наш производственный опыт твои шибко грамотные ученые. Вот ты и побеседуй с ними, — и он поглядел на меня не без иронии.

Действительно, как выяснилось, из какого-то ленинградского научно-исследовательского института приехали четыре человека, дабы обобщить наш замечательный опыт в форме соответствующего научного отчета. Они пришли ко мне в конторку лесобиржи, трое сели передо мной за стол, вынули бумагу и приготовились записывать ответы на свои вопросы. Четвертый, постарше, как я помню, молча стоял у окна.

Я принялся объяснять причины нашего мнимого успеха, выражаясь по-лагерному, раскидывал чернуху, то есть сообщал им заведомо ложные сведения. Оказывается, каждые полчаса мы останавливаем в лесоцехе лесопильную раму и точим пилы, что уменьшает количество опилок, на пилораму мы подаем из сортировочного бассейна пиловочник строго по диаметру, максимально выгодному и экономному при производстве конкретного ассортимента пиломатериалов, что уменьшает размер отходов от горбыля, добиваемся сокращения отходов за счет производства низких сортов и так далее. Мои гости все аккуратно записывали. Прошло часа два, и молодые люди вышли покурить. Остался лишь старший.

— Ну так как же вы делаете? За счет погрузки? — спросил он.

— Да, — чистосердечно сознался я, не видя особых причин для утверждения истинности своих фантастических рассказов.

— Ну, конечно! Я всю жизнь работаю по лесному делу. Молодежь этого не понимает. Бревно как ни распили, будет все тот же процент опилок. Это знает всякий опытный мастер леса. Помолчали.

— Сидишь-то давно?

— Шестой год

— А всего-то сроку?

— Десятка.

— По пятьдесят восьмой?

— Да.

— У меня самого брат сидит на Воркуте по пятьдесят восьмой. С начальством не поладил. Такая уж наша жизнь. Куришь?

— Да.

Он протянул мне нераспечатанную пачку «Казбека». Мы бы и дольше беседовали, но вернулись молодые люди. У меня не было большого желания продолжать с ними разговор, и я постарался побыстрее его закончить.

Чужак

«Кавказ привезли», — однажды зимним вечером объявил дневальный, входя в барак. Я вышел на улицу и увидел большую колонну смуглых людей, ожидавших, когда кончится проверка и их запустят в расположенный внутри зоны, огороженный забором карантин. Вскоре все выяснилось — пришел этап из Армении, большую часть которого сразу же по прибытии отправили на лесо-повальные ОЛПы в глубинку.

На территории нашего лагпункта находился центральный госпиталь, куда привозили со всех лагпунктов больных и покалеченных на лесоразработках. Травматических повреждений во время лесоповала было много, зимой часто лес рубили по пояс в снегу, и не всегда можно было вовремя увернуться от огромных сучьев падающего дерева.

Месяца через два после прибытия кавказского этапа я проходил мимо госпиталя и услышал, как санитар пытался что-то объяснить человеку кавказского облика, а тот лишь беспомощно разводил руками. Поблизости не было никого, кто мог бы ему помочь, и я с некоторым удивлением посмотрел на человека, не знающего ни одного русского слова. И вдруг я отчетливо услышал французскую речь: «Же не компран па» («Я не понимаю»).

Я заинтересовался происходящим, подошел, а незнакомец, поняв, что я знаю язык, вцепился в меня и залопотал. Я перевел, что было надо. Оказалось, речь шла о пустяках: армянин выписался из госпиталя, и санитар требовал у него больничное белье.

Дня через два я возвращался с работы и вновь встретил в зоне моего нового знакомого. Он кинулся ко мне. Это был человек лет сорока пяти, небольшого роста, с милым и

простодушным лицом. Я пригласил его к себе домой, то есть, иначе говоря, в свой барак, угостил чаем, и он, усевшись на нарах, рассказал мне о своей судьбе.

Арам родился в Сирии. После окончания войны 1914–1918 годов Франция получила мандат Лиги Наций на управление двумя областями распавшейся Османской империи— Сирией и Ливаном, и там расположились оккупационные французские войска. Окончив армянскую школу. Арам поступил на службу во французскую армию не то в качестве счетного работника, не то интенданта и проработал в этой должности более пятнадцати лет.

После второй мировой войны Сирия обрела независимость, французские войска были выведены из страны, и Арам оказался без работы. В качестве чиновника, много лет служившего во французской армии, он получил французское гражданство и мог уехать во Францию. Но в это время советское посольство в Дамаске развернуло в армянских общинах страны активную пропагандистскую деятельность. Арам поддался пропаганде и решил репатриироваться в Советскую Армению.

— Я всю свою жизнь мечтал возвратиться в страну моих предков, — говорил Арам со слезами на глазах, — когда в советском посольстве мне сообщили, что я включен в число нескольких сот армян, которым разрешили уехать в Армению, я плакал от радости.

В Ереване у Арама возникли трудности. Какой-либо подходящей специальности у Арама не было, что ограничивало возможности выбора. Его направили в торговлю. Честный, привыкший к коммерческой деятельности в условиях капиталистического общества, он с первых же шагов оказался неспособным ориентироваться в новых условиях. Ему поручили заведование небольшим промтоварным магазином, и он полностью доверился подчиненным продавцам, которые обманывали его на каждом шагу. В магазине обнаружилась крупная недостача.

— У нас в Сирии, — говорил Арам, — коммерсанты верили друг другу без всяких расписок. Если бы торговец позволил себе обман и это стало бы известно в деловом мире, ни один уважающий себя коммерсант с ним бы больше никогда дела не имел. Я и здесь доверял деньги и товар без документов, когда же дело дошло до ревизии, все вокруг от своих слов и обязательств отrekliсь, и я оказался вором и растратчиком.

Казалось бы, учитывая неопытность Арама и незнание наших законов, его бы следовало не наказывать, а просто освободить от не подходящей для него работы. Однако начальство, которому Арам никогда не делал подношений и которое, видимо, желало свалить на Арама свои собственные грехи, рассудило иначе. Арама судили по знаменитому указу о наказании за государственные хищения, и он получил шесть лет лагерей строгого режима. Он был отправлен на лесоповальный лагпункт, во время работы в лесу получил травму и попал в госпиталь, где мы и познакомились. Теперь его выписали в нашу зону.

Меня всегда поражала страшная неэффективность лагерных лесоразработок. Вырубка леса производилась самым варварским способом. Лес рубили круглый год, причем на огромной территории, квадрат за квадратом убирали все деревья, вплоть до совсем молодых, толщиной в десять-пятнадцать сантиметров. На вырубленных участках оставалась пустыня, которая быстро заболачивалась. С сатанинским усердием лагерное (и леспромхозовское!) начальство стремилось очистить от леса как можно большее пространство. А между тем в Архангельской области много болот, и вывозка леса возможна только в зимнее время. Значительную часть пиловочника, по моим расчетам, не менее тридцати процентов, до весны вывезти не успевали, срубленный лес оставался на много месяцев на болоте и к следующей зиме сгнивал. Таким образом, тяжкий труд заключенных оказывался к тому же и бессмысленным.

Ко времени моего приезда в лагерь лес валили еще при помощи лучковых пил, перешедших к

нам, как говорили, от финнов. Для обращения с этими пилами нужен был навык, возникавший лишь в результате длительной практики, а поначалу, без должного опыта, работа с ними была сплошным мучением. Тонкое лезвие пилы все время зажималось стволом дерева. Нормы были огромные и для непривычных людей совершенно невыполнимые. Даже опытные архангельские лесорубы с большим трудом выполняли эти нормы. Если к этому прибавить, что от жилой зоны до места работы заключенные должны были пройти много километров, под конвоем, часто по болотистой местности, то и дело проваливаясь в холодную жижу, голодные и плохо одетые, то станет понятно, почему через несколько месяцев такого труда неопытные работяги часто становились инвалидами.

Сама по себе идея мудрых диспетчеров ГУЛага отправить суровой северной зимой непривычных к работе в лесу южан на лесоразработки в архангельскую тайгу свидетельствовала не столько о бюрократической нелепости, сколько о поразительной жестокости. Привезенных из Армении заключенных кое-как одели и начали ежедневно гонять за шесть-семь километров на лесоповал. Конечно, значительная часть прибывших вскоре оказалась нетрудоспособной.

Положение Арама на нашем лагунке также было нелегким. Армян у нас почти не осталось, и разговаривать ему было не с кем. Его послали работать на продовольственную базу, где он таскал мешки с мукой, ящики с овощами и консервами и вообще все, что придется. На каждом шагу его ругали за нерасторопность, и он горько жаловался на оскорбления, которые ему ежедневно приходилось переносить и от других заключенных, и от начальства. К счастью, он их речь плохо понимал.

Почти каждый вечер Арам приходил ко мне в барак, чтобы переброситься парой слов. Хотя он родился и вырос в арабской стране, местный диалект он знал плохо, ибо имел дело главным образом с французской военной администрацией. Тем не менее он мог много рассказать о стране, в которой жил, и мне как востоковеду было интересно его слушать. Я даже наметил для себя ряд интересующих меня тем и допрашивал его по каждой из них.

Однажды Арам пришел ко мне радостный и сообщил, что его этапируют в Ереван для пересмотра дела. Он был уверен, что теперь его несомненно освободят. Зная наши нравы, я был настроен менее оптимистически, однако виду не показал, и мы попрощались.

Прошло месяца четыре, и однажды вечером возле моих нар вновь появился Арам. За сравнительно короткий срок он сильно изменился — осунулся, постарел и поседел. Он поведал мне, что вместо того чтобы пересмотреть его дело, на него завели новое. По навету местных торговых работников прокурор предъявил ему обвинение в каких-то вновь открывшихся хищениях, к которым в прошлом он якобы был причастен. Этим, как он мне объяснял, начальство старалось замаскировать свои собственные воровские махинации. После того как его несколько месяцев мучил следователь, дело было передано в суд. Однако судья отказался признать его виновным, и он вернулся в лагерь со старым сроком. За полтора года, проведенных Арамом в тюрьме и в лагере, у него умерли, не сумев пережить арест сына, приехавшие с ним из Сирии старики-родители, а жена, уроженка Еревана, с ним разошлась, забрав с собой ребенка. Арам остался один на всем свете.

— всю жизнь я был чужим для тех, среди кого жил, — с грустью говорил мне Арам. — Как армянин и служащий французской армии, я был иностранцем в Сирии. Я надеялся почувствовать себя своим, приехав в Армению, но и этого не случилось. Хотя я говорил в Ереване на родном языке, я был для местных жителей человеком, свалившимся с другой планеты. Понять их до конца я так и не смог, равно как и они меня. Я был для них капиталист, незнакомый с их жизненным укладом, а они были для меня загадочными существами с непонятной для меня моралью. Ну а в тюрьме и в лагере я и вовсе всем чужой и по языку, и по мыслям, и по поведению. Что за судьба!

Я хорошо понимал этого вечного чужестранца!

Вскоре после смерти Сталина последовала амнистия по уголовным делам, и Арама освободили. Прощаясь, он меня утешал:

— Сталин умер, вскоре и вы будете на свободе!

Я лишь скептически пожал плечами. Из суеверия я гнал от себя подобные мысли.

Прошло лет шесть. Я давно уже освободился и работал в Институте востоковедения. Однажды секретарша нашего отдела сказала, что накануне в мое отсутствие приходил какой-то восточного вида человек, спрашивал меня и оставил письмо. Восточные люди часто заходили в институт, и в этом не было ничего удивительного.

Я распечатал письмо. В нем красивым бисерным почерком по-французски было написано, что мой старый лагерный знакомый Арам неоднократно пытался меня разыскать, узнал в Ереване от местного востоковеда, что я работаю в институте, и сожалеет, что не сумел со мной повидаться. Он писал, что никогда не забудет о моральной поддержке, которую я ему оказал в трудную минуту. В Москве он проездом, навсегда уезжает во Францию и желает мне всяческих благ.

«Но обретет ли Арам во Франции новую родину или опять окажется «посторонним»?» — подумал я.

Больше я об Араме ничего не слышал.

Шутка

В тот год лето выдалось необычно для Севера теплым, а когда нас пригнали с работы, было просто жарко. Раздевшись до трусов, я выскочил на крыльцо барака и устроил себе нечто вроде душа, черпая воду ковшом из бачка и обливаясь. Молодой дневальный проявлял ко мне особую снисходительность, разрешая столь щедро расточать воду, которую ему приходилось таскать ведрами с другого конца зоны. Но к этому времени мой лагерный стаж уже исчислялся годами, с дневальным я жил «вась-вась», то есть, говоря по-человечески, находился в дружеских отношениях, поэтому он спокойно взирал на мое занятие.

Освежившись, я залез на верхний этаж барачной вагонки, где в то время располагалась моя резиденция, извлек из-под матраца припрятанную еще со вчерашнего вечера книжку и отключился. Минут через сорок я отложил книгу и сделал дневальному знак, призывая его. Стремясь внести разнообразие в свое тоскливое бытие, лагерники вне зависимости от возраста часто предавались какой-нибудь странной шутовской игре. Вот и на этот раз, правильно поняв мой жест, дневальный, кривляясь и разыгрывая ревностного слугу, устремился ко мне со всех ног и вытянулся рядом по стойке «смирно».

«Воды», — грозным тоном повелителя приказал я.

«Бу зде!» — прорычал на весь барак дневальный и бегом ринулся исполнять команду. Напившись воды и возвратив дневальному кружку, я крикнул:

«Пшел вон!»

Полностью войдя в роль, дневальный заорал еще громче: «Слуш., гражд. чайник!» и, привстав на носки, «на цырлах» бросился прочь.

Увлеченный этим обычным лагерным спектаклем, я не обращал внимания на человека, лежавшего в противоположном углу барака на нижних нарах и напряженно следившего за мною. Примерно через час, незадолго до сигнала отбоя, я вышел на крыльцо, поглощенный своими мыслями, и уставился на надоевшую за многие годы картину: запретку с колючей проволокой, будку туалета, на солдата с автоматом на вышке. Но тут мои грустные размышления были прерваны заискивающим «Здравствуйте!». Я оглянулся и увидел молодого парня, лет двадцати, который искательно смотрел на меня. «Здорово», — ответил я, удивленный непривычным для лагерника обращением. «Вот, угощайтесь», — сказал молодой человек и протянул несколько карамелек в бумажной обертке.

Не в правилах старого лагерника отказываться от дарового угощения, тем более сладкого, и я с удовольствием им воспользовался. «Ты, что, недавно приехал?» — спросил я. Молодой человек отрекомендовался и охотно рассказал о себе. Павел К., москвич, служил где-то в воинской части, уж и не помню за что, по какой-то бытовой статье, получил шестилетний срок, накануне вышел из карантина, был направлен нарядчиком в нашу бригаду и потому оказался в одном бараке со мной.

Причину особого ко мне интереса и расположения парня мне удалось выяснить лишь позднее. Оказывается, в тюрьме он слышался рассказов о жизни в лагере, о блатных и их предводителях «в законе» и, глядя на сцену, разыгранную мною с дневальным, решил, что я и есть «первый блатной». Желая обрести в будущем мое покровительство, он действовал, как ему казалось, соответствующим образом.

В бригаде Павла сразу невзлюбили. Был он трусоват, заискивал перед надзирателями и различными начальниками, поговаривали даже, что водил дружбу с «кумом», то есть попросту был лагерным осведомителем. Но что более всего раздражало всех в бригаде, так это его безудержное хвастовство о действительных или мнимых любовных победах на воле. Вообще-то лагерники не прочь рассказать о своих любовных похождениях и при этом приврать, но Павел переходил в этом всякие границы.

Мысль сыграть с Павлом шутку принадлежала мне, в чем впоследствии я очень раскаивался. «Давайте напишем и отправим ему письмо от имени одной из его возлюбленных», — предложил я. Идея была встречена в бригаде с восторгом. Особенно меня поддержал бригадир.

Следует пояснить, что в то время в нашем лагере заключенный мог получать с воли сколько угодно писем, но размер отправляемой им на волю корреспонденции был строго ограничен и вся переписка официально проходила через лагерного цензора, должность которого обычно исполняли члены семей надзорсостава. К своим обязанностям они относились крайне нерадиво, и по их вине часть писем вообще пропадала. Однако все мы, работавшие на лесопильном заводе, фактически могли отправлять столько писем, сколько хотели. Делалось это, разумеется, нелегально. Во время погрузки пиломатериала предназначенные к отправке письма перевязывались и весь пакет аккуратно укладывался в укромном месте, между досками. После погрузки вагоны проверялись надзором, но, разумеется, пролезть во все щели между уложенным пиломатериалом надзиратели не могли. Важно было хорошо знать, куда отправлялся тот или иной вагон, что мне как бракеру было, конечно, известно. Рабочие, разгружавшие вагоны в местах назначения и обнаруживавшие наши письма, опускали их в почтовый ящик. К чести рабочего народа надо отметить, что за все годы моей работы на лесозаводе был только один случай, когда письма были переданы «куда надо», в результате чего было проведено особое следствие и большая группа заключенных была на длительный

срок лишена права переписки. Но этот прокол был связан с тем, что бригадир, не разобравшись, сунул нашу почту в вагон, предназначенный какому-то почтовому ящику МВД. Чаще всего мы отправляли письма с вагонами, которые шли на автомобильный завод им. Сталина (ныне ЗИЛ). Один раз грузчики даже написали на досках углем слова благодарности рабочим завода.

Сочинить Павлу письмо от имени его легендарной возлюбленной большого труда не составляло. В этом принимали участие почти все члены бригады, а писал письмо под диктовку корявым почерком бригадир. Текст письма почти полностью был основан на тех сведениях, которые непрерывным потоком поступали от самого Павла. Насколько я помню, письмо начиналось так: «Дорогой Павел! Я случайно узнала о твоей горькой судьбе. Ты сидишь в лагере, и твой адрес мне дала моя подруга (следовало одно из упомянутых Павлом женских имен). А помнишь наши золотые дни, как мы гуляли в Сокольническом парке...» Далее шло описание любовных свиданий. Завершалось послание клятвенными обещаниями возлюбленной сохранять Павлу верность до гроба и традиционными словами «Жду ответа, как соловей лета». снабженное вымышленным московским адресом письмо было положено в доски, в Москве брошено в почтовый ящик и с московским штампом прибыло к адресату.

Тут Павел в буквальном смысле этого слова разыграл. Он бегал по зоне, показывал всем письмо, без конца повторял: «Вот вы не верили, говорили, что я вру, а вот она пишет...» От гордости он просто рос на глазах. Тут же он припоминал все новые и новые эпизоды из истории своих отношений с девицей. Самое потрясающее заключалось в том, что он полностью верил в эти вымыслы. Я понял, что зарвался, и с ужасом думал о том, что будет с Павлом, когда вся эта история раскроется.

А между тем участники розыгрыша побуждали героя к все новым свершениям. «Пиши, Пашка, ответ, — говорили в бригаде, — и мы его отправим». Два дня подряд при активном содействии всей бригады Павел сочинял ответ своей возлюбленной. Несмотря на злобную ругань начальства, штабелевка досок и погрузка вагонов велись в эти дни кое-как. Все вкладывали в сочинение письма душу, как будто писали своим собственным возлюбленным. И каких только стилистических красот в этом письме не было! Клятвы верности перемежались с угрозами жестоко расправиться с вероломной возлюбленной за измену, любовные признания сопровождались ярчайшими описаниями былых свиданий. Словом, это был шедевр эпистолярного стиля, которому мог бы позавидовать и сам Сирано де Бержерак. К сожалению, никто этого письма так и не прочитал, ибо мы его изорвали, но сразу же сочинили не менее красочный ответ, и примерно через месяц наше послание, завершив свое путешествие через Москву, достигло адресата.

Между Павлом и нами, как говорится в романах, завязалась оживленная переписка. Каждое новое письмо Павла было для его коллективного корреспондента праздником. Острые на язык и не лишённые чувства юмора уголовники придумывали все новые и новые эпизоды и ситуации во взаимоотношениях Павла с его возлюбленной. В свою очередь, непрерывно хвастаясь, сам Павел снабжал участников розыгрыша обильным свежим материалом. Словом, можно сказать, что обе стороны, одна сознательно, а другая бессознательно, соучаствовали в создании грандиозного, богатого деталями мифа. Я страстно желал положить конец этой далеко зашедшей жестокой шутке, но, когда я однажды попробовал об этом заговорить, меня хотя и в вежливой форме, но вместе с тем достаточно твердо предупредили, чтобы я не вмешивался, а иначе мне несдобровать.

Кто-то из зека пожертвовал фотографию, на которой была изображена женщина лет сорока. С трогательной надписью она была послана Павлу, и бедняга до такой степени «вошел в роль», что публично признал подлинность изображенной на ней возлюбленной. «Приглядишься повнимательней, — зубоскалили участники розыгрыша, — она ли это?» — «Она, она, — кричал Павел, — мы с ней...» И далее следовал новый рассказ о свиданиях, разговорах, изменах и примирениях.

По мере формирования мифа всплыли подробности и о родителях девицы. Оказалось, что отец ее — генерал-полковник, командующий каким-то легендарным «особым» военным округом, квартира у ее семьи находится в центре города, «где-то на Садовой», и состоит из трех, нет-нет, четырех комнат (фантазии бедного лагерника на большее не хватило). «Может, он маршал?» — с постным видом, сочувственно спрашивал бригадир. «Нет-нет, генерал-полковник, я точно знаю», — волнуясь, выкрикивал Павел.

У кого-то возникла идея прислать Павлу от возлюбленной посылку. Дело было сработано довольно грубо. В поселке, в магазинчике для вольных, один из бескон-войников купил дешевые конфеты, карамель, подобные тем, которыми угощал меня Павел в день нашего знакомства, буханку белого хлеба и какое-то дешевое печенье. Все это было аккуратно упаковано и снабжено трогательным письмом. Дождавшись возвращения Павла с работы, один из оставленных для этой цели в жилой зоне зека принес ему посылку, объявив, что она была получена днем, когда Павел был на работе. Все, как говорится, «было шито белыми нитками», но Павел уже ничего не замечал и всему верил. «Что ж это твоя генеральская дочь так расщедрилась, — сочувственно спрашивал Павла бригадир, — не могла прислать тебе бациллы (то есть что-либо из еды) пожирнее?!»

На каком-то этапе возлюбленная выразила желание выйти за Павла замуж. Однако все в бригаде шумно протестовали. Под давлением общественности Павел вынужден был отвергнуть предложение. «Зачем она мне, я сумею выбрать и получше», — уверял он всех вокруг. Подобного отношения к себе возлюбленная, разумеется, перенести не могла. Начались взаимные упреки, обвинения, сменившиеся вскоре клятвами и новыми объяснениями в любви.

Эпистолярное мастерство сторон все росло. Новый импульс к переписке был дан появлением соперницы. Пришло письмо от другой девицы, на которой Павел некогда обещал жениться, соперницы познакомились, и между ними возник конфликт. Почерк у обеих женщин оказался до удивления сходным, на что кто-то обратил внимание Павла. «Ну, бывает», — сказал он. Однажды соперницы даже подрались, и утихомирить их удалось только наряду милиции. В другой раз, приревновав, возлюбленная Павла пыталась покончить с собой. Всплывали все новые эпизоды из прошлого. Обе стороны как бы состязались в припоминании подробностей своих сложных отношений, психологическая достоверность которых могла быть подтверждена всей мировой классической литературой.

Строгий читатель, исходя из высоких принципов гуманизма, вероятно, сурово осудит всех участников жестокого розыгрыша и будет, конечно, прав. Отнюдь не в оправдание, но лишь в объяснение хотелось бы заметить, что запертые на долгие годы в ограниченном пространстве лагерной зоны, погруженные в опостылевшую, состоявшую из тяжелого труда и сна рутину, заключенные ищут отвлечения в самых различных, порой крайне жестоких формах. Издевательство над человеком, проявляющим слабость, для лагерников — дело обычное. Горе тому, кого житейская неопытность или какой-либо физический или, может быть, душевный изъян втянет в водоворот этого своеобразного лагерного карнавала.

Финал рассказанной мною истории был достаточно трагичен. Как-то раз, рассердившись на Павла, истеричный и склонный к приступам бешенства бригадир выложил герою всю правду о его любовной переписке. Павел ничего не сказал. Он попросил перевести его в другую бригаду, ушел из нашего барака, весь сжался и притих. Миф, поддерживавший его более года в суровой лагерной жизни, рассыпался. Многие месяцы он ни с кем не разговаривал, и никто из обычно беспощадных лагерников не вспоминал при нем о происшедшем.

Когда немецкие войска в 1939 году подходили к Варшаве, мать сказала Моисею:

— Уходи на Восток, к русским, а я уж с маленьким останусь. Я все равно не дойду. Пусть будет, что будет.

Семнадцатилетний юноша отправился навстречу Советской Армии и после прекращения военных действий оказался в той части Польши, которая была занята советскими войсками. Беспокоясь о судьбе матери и шестимесячного братишки, Моисей месяца через четыре обратился к властям с просьбой разрешить ему возвратиться в Варшаву. Последовал отказ. Тогда Моисей решил действовать на свой страх и риск. Он попытался нелегально пересечь установившуюся границу, его задержали, судили и «за попытку изменить родине» приговорили к семи годам исправительно-трудовых лагерей.

Почти не владеющему русским языком и незнакомому с жизнью в Советском Союзе молодому человеку в лагере пришлось особенно трудно. Моисей работал землекопом на строительстве каких-то объектов Беломорско-Балтийского канала, а с начала войны его, как и других заключенных, перегнали пешеходным этапом в один из лагерей Архангельской области. В дороге многие погибли, однако молодой и от природы крепкий юноша выжил. Он работал на лесоповале, голод и тяжелые условия труда превратили его в доходягу, и он был списан из производственной бригады в лагерную службу. Но тут среди заключенных нашлись добрые люди, которые устроили его в портняжный цех, на вспомогательную работу, и обучили ремеслу. Он штопал лагерные бушлаты и телогрейки, шил варежки и со временем овладел портняжным искусством. Здоровье постепенно восстанавливалось.

В 1946 году Моисей вышел на свободу, поселился в Архангельске и устроился на работу по обретенной в лагере специальности. Однако мысль о возвращении на родину его не покидала. Вдобавок выяснилось, что его отец сумел выжить под немецкой оккупацией и после войны перебрался в Палестину. Все старания что-либо узнать о судьбе матери и брата оказались безуспешными, и Моисей решил предпринять новую попытку добраться до Варшавы. В это время проживавшие на территории Советского Союза выходцы из Польши организовали специальный комитет по репатриации. Однако просуществовал этот комитет всего несколько месяцев. Вскоре его руководство в полном составе было арестовано, а позднее аресты пошли и среди рядовых членов. Был арестован и Моисей. Он и на этот раз получил семь лет и оказался в нашем лагере.

Беседовать с Моисеем было очень интересно, ибо его лагерный опыт был до известной степени опосредствован опытом человека, выросшего в иной социальной и культурной среде. Хотя он начал свой скорбный путь еще очень молодым и большая часть его сознательной жизни прошла по лагерям и тюрьмам, он не стал закоренелым лагерником с блатными замашками. На все происходившее в лагере он смотрел как бы со стороны. Своим слегка хриплым голосом, с сильным польско-еврейским акцентом он рассказывал мне о своих детских годах в панской, как он иронически подчеркивал, Польше и о бесчисленных мытарствах в годы заключения. По натуре цепкий, он без какой-либо помощи извне в чужой стране сумел приспособиться к лагерной жизни. Работая портным на подсобной площадке, он выполнял иногда несложные заказы вольных и имел небольшой доход, позволявший ему кое-что купить в магазине за зоной. Был он практичен, но не жаден, умел себя держать среди уголовников, не заискивая и не заносясь, а когда это было надо, мог за себя постоять. Были в нем и какая-то патриархальность и доброта, он мог и пожалеть и помочь. Я помню, как он привязался к одному мелкому воришке-земляку, подкармливал его и воспитывал. Однажды,

избалованный заботой своего доброго наставника, тот обратился к Моисею с просьбой дать ему денег на покупку каких-то коврижек, которые продавались за зоной в местном магазине.

— Если бы ты попросил денег на хлеб, я бы тебе дал, — ответил Моисей, — а на коврижки пойди и заработай сам!

Меня Моисей облагодетельствовал по собственной инициативе и без какой-либо компенсации с моей стороны. Он сшил мне из каких-то лоскутов нечто вроде кепки, в которой я прощоголял добрых полсрока.

Была у Моисея еще одна удивительная черта — жажда знаний, которая ничуть не носила показного характера. Однажды вечером после работы я обратил внимание на Моисея, лежавшего в углу барака и что-то читавшего. Электрическая лампочка под потолком очень слабо освещала небольшое пространство. В помощь ей Моисей зажег свечку и закрепил ее над головой так, чтобы она отбрасывала свет на книгу. Кругом стоял гул от разговоров, смеха и ругани, а Моисей, обмотав голову полотенцем, полностью отключился от жизни барака.

Я подошел к Моисею и спросил, что он читает. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что предметом его интереса была знаменитая, недоброй памяти трехтомная «История философии» под редакцией Александра, второй том которой и был у него в руках.

— Зачем ты читаешь эту халтуру, ведь здесь вся история философии сводится к примитивной и пошлой идее о какой-то извечной борьбе материализма с идеализмом? — удивился я.

— Я все понимаю, — ответил Моисей, — но, видишь ли, я ведь не сумел получить образования. С семнадцати лет по тюрьмам и лагерям. А хочется хоть что-то узнать. Другого ведь ничего нет.

После смерти Сталина и ареста Берии положение в лагере начало меняться. Были введены зачеты. И вот однажды ко мне подошел Моисей и попросил взять его в бригаду грузчиков, которую я тогда возглавлял. Я удивился и спросил, зачем ему это надо.

— Мне осталось сидеть два года, а у грузчиков зачеты один к трем. Я сумею месяцев за восемь отмотаться, — объяснил он.

— Но грузчиками работают молодые люди. Это же адски тяжело!

— Это ваши московские евреи привыкли работать только головой, — вспылил Моисей, — у нас, в Польше, поляки больше сидели по пивным, а работали мы — евреи!

Перевести заключенного в бригаду грузчиков было проще простого, и уже через день Моисей вышел с нами на работу. Я поставил его на погрузку шахтовки, работу нудную, но не слишком тяжелую. Вечером Моисей подошел ко мне.

— Ты, что, боишься, что скажут, будто ты покровительствуешь еврею? Зачем ты ставишь меня на шахтовку?

— Но это же самая легкая работа в бригаде!

— А зачем мне нужна твоя легкая работа?! На ней зачеты маленькие. Мне нужны зачеты! За двенадцать лагерных лет я побывал на таких работах, которые твоим грузчикам и не снились!

На следующий день мне нужно было заменить одного заболевшего зека, и после некоторых колебаний я решил поставить на его место Моисея. Грузили мостовой брус — огромные

шестиметровые брусья с квадратным сечением 200 x 200 мм. Напарниками Моисея должны были быть два молодых, высоких и крепких парня.

Когда я сказал им, что с ними будет работать Моисей, они явно были недовольны. Работа требовала большой физической силы, а тридцатитрехлетний Моисей казался им уже стариком и к тому же не производил впечатления человека очень крепкого. Они стояли, переминаясь с ноги на ногу, и явно стеснялись выразить свое неудовольствие.

— У меня другой подмены нет, — сказал я, — работайте с ним, а нужный процент в рабочем описании я все равно выведу.

Началась погрузка. Как всегда, то там, то тут что-то не ладилось. В этот день нам поставили много вагонов — около шестидесяти, поэтому я сумел добраться до вагона, который грузил Моисей, только часа через полтора. Мостовой брус грузится в вагон типа гондолы не так, как обычный пиломатериал. Один человек залезает в вагон, два других забрасывают ему через борт брус за брусом, а он их выравнивает железным крюком. Работа должна идти очень четко, потому что, когда брус перебрасывают через борт, находящийся в вагоне грузчик должен вовремя отскочить в сторону, чтобы под него не попасть. Опытные грузчики принаравливаются к определенному ритму и короткими восклицаниями предупреждают друг друга об опасности.

Когда я подошел к вагону-гондole, мне представилась необычная картина. Спинай ко мне стоял голый до пояса Моисей, и от него шел пар. А надо сказать, что была поздняя осень и уже наступили холода, хотя снег еще не выпал. Густо обросший волосами, он слегка согбенной спиной и длинными руками чем-то напоминал наших симпатичных четвероногих предков, когда, вытянув вперед руки, хватался за свой конец бруса, чтобы вместе с напарником перебросить его в вагон.

— Ну как? — не столько даже словами, сколько выражением лица спросил я, обращаясь к стоящему ко мне лицом грузчику.

— Во! — ответил тот и поднял кверху большой палец.

Вечером в бараке Моисей занял свое обычное место в углу. Все так же горела свеча, все так же голова была повязана полотенцем, предохранявшим от барачного шума, а досуг его скрашивала очередная книга. Видно, неискоренимо жила в нем веками культивировавшаяся «народом книги» любовь к знаниям.

— Ты, как Синдбад-мореход, неизменно возвращаешься к своим книгам, — пошутил я.

Моисей улыбнулся. От меня он уже знал эту сказку из «Тысячи и одной ночи».

Шли годы, я освободился и жил дома, в Москве. Однажды меня позвали к телефону.

— Какой-то иностранец, плохо говорит по-русски, — сказала соседка.

Это был Моисей. Он позвонил мне, чтобы со мной попрощаться. Из короткого разговора я понял, что он сумел узнать мой телефон от общего лагерного знакомого. Ехал он из Архангельска, где жил после освобождения. Женился на женщине из Польши и теперь ехал с женой и ребенком на родину.

— Странствия Синдбада-морехода подошли к концу, и он возвращается в свой родной Багдад, только неизвестно, что его там ждет, — невесело сказал он.

Следуя идеям просветителей XVIII века, теоретики социалистического государства провозгласили, что сознание человека в момент рождения — «чистая дощечка», на которую жизнь наносит свои письмена. Надо только умело взяться за воспитание человека, и он станет хорошим членом проектируемого будущего общества. Если же человек из-за пробелов в воспитательной работе или из-за чуждых влияний не получился таким, каким был задуман, то следует лишь заняться его перевоспитанием и, стерев с дощечки ложные и вредные письмена, заменить их другими, нужными и полезными. Для такого перевоспитания была призвана служить густо разбросанная по всей территории страны разветвленная система исправительно-трудовых лагерей. Сталин дополнил это учение идеей о непрерывно обостряющейся классовой борьбе и о врагах народа, которых следует любыми средствами постоянно искоренять. На пересечении этих двух взаимно исключаящих теорий лежала практика — деятельность карательных органов. С одной стороны, загнав врагов на немислимые сроки в лагеря, их изничтожали голодом, холодом и непосильным трудом, а с другой, следуя догме о решающей роли перевоспитания, стремились начертать на дощечках их сознания новые письмена.

Для перевоспитания заключенных ГУЛаг имел соответствующее ведомство — культурно-воспитательную часть (КВЧ), призванное «спасти души» обитателей Архипелага и подтолкнуть их на путь исправления.

На каждом ОЛПе было свое отделение КВЧ. Его возглавлял офицер МВД, а при нем обычно состоял помощник — заключенный, реально осуществлявший всю воспитательную работу. В функции такого зека-наставника входили организация вечеров самодеятельности и кинопросмотров, получение газет, прием жалоб и выдача для их написания бумаги и, наконец, душевспасительные беседы с заключенными. В специальной кабине, где находилась резиденция КВЧ, иногда можно было прочитать более или менее свежую газету, если только кто-либо из зека ранее не стащил ее на курево.

Должность начальника КВЧ — одну из самых непрестижных в лагере — на нашем ОЛПе занимал лейтенант лет сорока. Это был горький пьяница, который никогда не просыхал. В зоне он появлялся крайне редко, никогда ни с кем не разговаривал, и никому не было известно, в чем заключалась его деятельность. В помощники ему был назначен некий П., бывший политработник войск МВД, сидевший за гомосексуализм: он совратил в части какого-то молодого солдата. Ему-то и поручили заботу о нашем перевоспитании. Это был толстенький человек невысокого роста, с рябым от некогда перенесенной оспы лицом. Довольно быстро он отыскал в зоне партнера — зека, пристроившегося на заводе экономистом, который принимал его в конторе лесозавода в свободные от работы дни. Лагерники со смехом отмечали каждое их свидание, а начальство смотрело на шалости своего агента и нашего просветителя сквозь пальцы, тем более что его друг в прошлом также исполнял какие-то функции в органах.

Поскольку лагерь был составной частью государственной системы, всякая проводившаяся на воле кампания здесь дублировалась, для чего пускался в ход несложный пропагандистский механизм. Не миновала нас и подписка на заем. Власть не гнушалась брать в долг, разумеется, строго «на добровольных началах», у осужденных на десятилетия зека их скудный заработок. И вот однажды П. получил задание провести подписку на нашем лесопильном заводе. После одиннадцати часов нелегкой физической работы, для многих на морозе, нашу бригаду загнали в курилку лесоцеха, где, кое-как рассевшись, мы должны были выслушать его сообщение.

Основной контингент заключенных цеха состоял из уголовников и бытовиков со сравнительно небольшими сроками, до десяти лет, и политиков, осужденных на большие сроки, до двадцати пяти лет. Усталые и голодные, все угрюмо слушали речь пропагандиста.

Вынув из кармана какую-то грязную, замусоленную книжонку типа «Блокнота агитатора», П. нудно бубнил, что страна находится в окружении врагов, которые спят и видят, как бы нарушить мирный ход нашей счастливой жизни. Дабы избежать вторжения злобных и коварных агрессоров. Советский Союз должен крепить свою оборону, для чего и проводится подписка на заем, в которой мы все как один должны принять участие.

Разумеется, никто эту болтовню всерьез не принимал, но мысль, что мы должны из нашего грошового заработка (я получал в месяц около двадцати рублей старыми деньгами) ежемесячно отдавать какую-то сумму, дошла до каждого. После доклада последовали вопросы. Начало им положили уголовники, которые подписываться на заем не собирались и рассматривали все происходящее как повод для зубоскальства. Первым вылез разбитной паренек Сашка: он, будучи одним из «друзей народа», не очень боялся распускать язык.

— А что, наш усатый их усачу в Германии скоро, наконец, задаст жару? — ухмыляясь, спросил он.

Пропустив мимо ушей не вполне уважительный эпитет в адрес Иосифа Виссарионовича, П. разъярил, что немецкие реваншисты во главе с Аденауэром только и думают о том, как бы вновь напасть на нашу родину.

Тут, неожиданно встрепенувшись, в разговор вступил плохо понимавший русскую речь крестьянин из глухой литовской деревни.

— А что, скоро уж война будет? — с надеждой в голосе спросил он.

П. с улыбкой превосходства вновь стал объяснять политически незрелому несмышленищу, что наша страна под руководством вождя упорно борется за мир, но наши враги не дремлют и готовятся к войне.

— Слушай, П., — невинным голосом спросил один блатнячок, — ты кем в армии был?

П. не без гордости разъярил, что служил политруком стройбата, закладывавшего шахты на большой глубине. При этом он, конечно, умолчал, что шахты строили не его солдаты, а те, кого они стерегли.

— Ямы рыли, дырки в земле делали, чтобы американцев на той стороне за ноги хватать, — ухмыляясь, резюмировал его рассказ паренек, своеобразно представлявший себе внешнеполитические задачи славных органов.

— А правда, что в Америке есть дома в сто этажей? — на первый взгляд, без всякой связи с темой доклада спросил другой разбитной урка.

П. нехотя ответил, что, действительно, такие дома в Америке есть.

— Ну, я за трофеями выше двадцатого этажа не полезу! — радостно, под всеобщий гогот изрек остряк, в сотый раз повторяя избитую, ходившую среди уголовников поговорку.

— Слушай, П., — снова вступил в разговор Сашка, — правда, что Сталин еврей?

Такого несправедливого выпада в адрес великого вождя П., разумеется, не мог оставить без ответа и с жаром стал доказывать, что Сталин — натуральный грузин.

— Ну, а сам ты случаем не еврей?

П. отверг и это обвинение и прочел короткую лекцию об интернационализме и братстве советских народов.

Все замолчали. Наконец П. решил прервать затянувшуюся паузу.

— Ну, так как же, будем подписываться? — неуверенно спросил он.

— Не буду я подписываться, сам подписывайся! — пробурчал тихо, опасаясь последствий своей смелости, один двадцатипятилетний.

— Если ты подпишешься на заем, то этим докажешь, что стал на путь исправления, — назидательно заметил П.

— Это тебе надо стать на путь исправления, чтобы на чужие задницы не заглядывался, — буркнул работага.

Раздался сдержанный смешок. П. сделал вид, будто не слышал реплики.

Агитация за подписку на заем явно не имела успеха, и разговор все время уходил в сторону. Тогда П. решил поднажать на присутствующих и без лишних слов спросил, кто хочет подписаться добровольно. Все молчали, никто такого желания не выражал. Оставалось крайнее средство, и П. взглядом попросил помощи у бригадира. Во главе бригады лесосоцеха стоял некий Митя, в прошлом военнослужащий, получивший десятку за какие-то махинации по линии интендантства. Он вел себя в лагере законопослушно и держал тесную связь с «кумом». Ему явно не хотелось вмешиваться в это дело, но деваться было некуда — он полностью отвечал за бригаду. Митя вынул полный список своих подопечных, и началось индивидуальное выкручивание рук.

Первым в списке значился все тот же Сашка.

— Да, да, подпишусь, — радостно, по-блатному зашепелявил он, — у меня с кирюхи по воле, Мишеньки-косого, остался должок в двадцать рублей. Он, сука, не отдал. Я могу и адресок его кинуть, пусть с него стребуют на самолет с моим именем. Мне ничего не жалко. А наличных у меня нет — все вчера в домино проиграл.

П., уже теряя терпение, вновь разъяснил, что подписка может быть оформлена только на деньги, заработанные в лагере честным трудом.

Следующим шел двадцатипятилетний, крестьянин из Эстонии, плохо понимавший русский язык. Он никак не мог взять в толк, чего от него хотят. А когда кто-то из соплеменников разъяснил ему, он замотал головой: нет, нет, ни на какой заем он не подпишется!

— У-у, куркуль, — заорали, юродствуя, урки, — небось, тебе, падло, каждую неделю из деревни ящики с салом шлют, а ты, фашист, не хочешь помочь нашей обедневшей родине социализм строить!

Третьим в списке оказался учитель из-под Харькова, осужденный за антисоветскую агитацию на десять лет. Это был смелый и физически сильный человек, уже прошедший многие лагеря. Он держался независимо, начальства не боялся, хотя на рожон и не лез. Его не раз предупреждали надзиратели, что он пожизненный зека.

«Ты будешь пахать в лагере до конца советской власти», — сказал ему как-то надзиратель, с которым он вступил в спор.

«Ну, значит, теперь осталось недолго!» — ответил учитель.

На вопрос П., будет ли он подписываться на заем, учитель только рассмеялся.

— Вот ты и есть настоящий классовый враг, — не выдержав елейного тона воспитателя, закричал П. — Тебе родина дала все, ты получил образование. А теперь вместо того, чтобы помогать воспитывать молодежь и служить народу, пособничаешь нашим врагам. Сразу видно, что ты — из чуждого класса.

— У нас в стране есть только три класса, — отвечал непокорный, — те, кто сидел, те, кто сидит, и те, кто будет сидеть. Других классов нет.

Дело с подпиской на заем не клеилось, и пора было принимать меры. Бригадир нашел привычный выход из положения и заявил, что бригада единодушно приняла решение подписаться на месячный заработок. А если кто из присутствующих не согласен — пусть заявит. Такого спишут в лесоповальную бригаду, и он будет ходить за восемь километров пилить лес, пока не станет доходягой. «Нам такие работяги, которые идут против мнения всего коллектива, не нужны», — заявил он. Все замолчали. Против был только учитель, но на него бригадир просто не обратил внимания.

О полном успехе своей воспитательной работы в бригаде лесоцеха инструктор КВЧ доложил по начальству в очередной реляции. По этому поводу он в разговоре с одним солагерником выразился так:

— Они там, наверху, любят, чтобы все было в порядке, шито-крыто. Им нужен стопроцентный охват зека подпиской — извольте! В этом деле я поднаторел, опыт есть. Их понять тоже можно, ведь и у них есть начальство — все под Богом ходим!

Встреча

Старые лагерники заметно выделяются на фоне новобранцев. Распознать тянувших свои сроки еще с довоенных времен и переживших голод военных и послевоенных лет политиков не составляет труда. Беззубые от цинги и пеллагры, с обострившимися от многолетнего недоедания чертами лица, они заметно отличаются от тех, кто попал в послевоенные наборы. Длительное пребывание в лагере накладывает отпечаток и на психологию и нравственность зека. Под влиянием уголовного окружения, с его цинизмом, жестокими законами и несложной звериной философией «умри ты сегодня, а я умру завтра», некоторые лишены надежной нравственной опоры старые политики часто теряли человеческий облик и становились озлобленными, мелочными, эгоистичными, нередко из их среды вербовались стукачи. «Старые лагерники — народ отпетый, продадут и предадут ни за понюшку табака, — поучал меня еще в Лефортовской тюрьме зека-повторник, — праведники среди них — птицы редкие, лагерь не делает человека лучше, наоборот, развивает эгоизм и цинизм».

Подобное мнение представляется мне не вполне справедливым. Влияние лагерной жизни на человека не столь однозначно. По моим наблюдениям, она его не портит и не улучшает, но беспощадно выявляет заложенные в нем еще на воле задатки. Экстремальные ситуации обнажают его сущность, измеряют его масштаб.

Судьба столкнула меня в лагере с одним из старых каторжан набора тридцатых годов — Владимиром Александровичем Ворониным*. Мы случайно разговорились, и я со своим неизбывным интересом к свежим людям сразу же прилип к новому знакомому. Он был расконвоированным и работал на какой-то финансово-экономической должности в

управлении Каргопольлага, то есть, по лагерным понятиям, был придурком самого высокого ранга. Подневольная жизнь, конечно, в какой-то степени сделала свое дело, но вместе с тем Воронин, человек лет шестидесяти, в отличие от многих других пожилых обитателей лагеря со стажем, был еще сравнительно крепким, сохранил и некоторое чувство собственного достоинства, и хорошее чувство юмора. Он охотно помогал сокамерникам. Так, по моей просьбе, используя знакомства с вольняшками, он устроил одного моего соученика по институту на придурочную должность нормировщика на подсобном предприятии, где тот смог прокормиться почти до самого освобождения.

По комсомольской привычке 20-х годов он сразу перешел со мной на «ты», хотя я, годившийся ему в сыновья, не позволял себе обращаться к нему столь фамильярно.

Воронин поведал мне, что еще гимназистом в начале революции вступил в партию, потом был парторгом одного из самых больших ленинградских заводов, позднее стал секретарем одного из ленинградских райкомов, где вел жестокую борьбу с «зиновьевским охвостом», а закончил свою партийную карьеру в должности секретаря обкома партии в Архангельске, куда был направлен «для выкорчевывания остатков троцкистско-бухаринской оппозиции».

— Для меня поговорить с рабочими на заводе по-настоящему, по-партийному, часа два-три без всякой бумажки никакого труда не составляло, — с гордостью говорил он. — В Ленинграде в 1928 году у меня было даже специальное задание от секретаря обкома — собирать распространяемую троцкистами литературу и уничтожать ее. Ни в какой оппозиции я никогда не состоял, хоть меня и посадили по самой страшной по тем временам статье — КРТД (контрреволюционная троцкистская деятельность), по ней могли и вышку дать.

После тяжелого следствия Воронина отправили с восьмилетним сроком в лагерь, а когда в 1946 году этот срок подходил к концу, его этапировали в местное управление МГБ и без всякого суда, решением Особого совещания, добавили еще восемь лет. К моменту нашего знакомства он уже провел в лагерях около четырнадцати лет, ни на какое освобождение в будущем не надеялся и считал себя зека до конца жизни.

— Владимир Александрович, — наивно спросил я его как-то, — а зачем же вас-то посадили? Ведь вы и революцию делали, и в партийную элиту входили, и служили существующему режиму не за страх, а за совесть. Какой в этом смысл?

— Смена опоры, — спокойно и просто ответил Воронин. — Сталину нужно было убрать всех нас и повсюду насадить преданных ему людей. Это закон революционного процесса. Ведь сказано: «Революцию задумывают мечтатели, осуществляют герои, а плодами ее пользуются подлецы». Наша революция не составляет исключения.

— Но вы ведь, наверно, считаете революцию делом нравственным и справедливым? — несколько обескураженный столь прямым ответом старого партийного функционера, спросил я.

— Моральные категории к политике, а тем более к революции не приложимы, — ответил Воронин. — Русская революция, как и английская и французская, была логическим продолжением всего хода отечественной истории. Всякая революция в конечном итоге поедает своих сынов. Ты Франса «Боги жаждут» читал? Революция — стихия, а я — песчинка в общем потоке.

— Ну, хорошо, — продолжал я свои вопросы простака. — Вы — партийный функционер, и Сталин бросил вас за решетку, потому что, как вы говорите, менял опору. Но зачем он сажает рядовых граждан всех возрастов и профессий? Мы-то, вроде, на власть в государстве не претендуем?

— А ты, когда ходил в институт, изучал диамат и истмат? — улыбнулся Воронин. — Вам ведь

говорили, что государство — это сложная машина с колесиками, винтиками и разными там шестеренками. Вот тебя в эти шестерни и втянуло. Сидишь по статье пятьдесят восемь. Что-то не то сказал? Больше не болтай!

Логика Воронина не показалась мне особенно убедительной, но я промолчал.

От Воронина я много узнал о жизни лагерников в конце тридцатых годов: о массовых расстрелах и пеших этапах, во время которых конвоиры пользовались каждым удобным случаем, чтобы пристрелить всякого, кто хоть на полметра выходил из колонны или за зону условного оцепления. Это был своеобразный спорт или выгодный промысел, потому что за каждого убитого конвоиры получали вознаграждение как за предотвращение побега.

— В случае опасности мы все сбивались в плотную кучу, — рассказывал Воронин, — чтобы не дать конвою повод пустить в ход оружие.

— Хорош ли такой порядок в стране «победившего социализма»? — дразнил я Воронина.

В ответ он лишь загадочно улыбался, как человек, допущенный к высшим, простым смертным недоступным государственным тайнам.

Однажды я застал Воронина за чтением газеты с очередным выступлением Сталина по случаю каких-то торжеств. «Настоящий партийный документ! — сказал с уважением Воронин, аккуратно складывая газету. — Надо будет еще раз прочесть повнимательнее». Сказано это было, по всей видимости, совершенно искренне.

Как-то вечером к нам в зону пригнали этап из Ленинграда. Среди разного рода блатного и воровского люда заметно выделялся человек лет пятидесяти, выше среднего роста, с лицом по-барски гладким и даже не по-тюремному раскормленным. Мы разговорились. Я не ошибся, он оказался из политиков. Это был некий Ш... осужденный по статье пятьдесят восемь, пункт десять-одиннадцать (антисоветская агитация с сообщниками), Особым совещанием.

Ш. всю жизнь занимался партийной работой, перед арестом был секретарем одного из ленинградских райкомов партии и проходил по нашумевшему делу Попкова — Кузнецова и других высших ленинградских партийных и государственных чиновников. В лагере Ш. был сразу устроен на какую-то должность в лагерном управлении и вопреки правилам вскоре был расконвоирован. Он много рассказывал о своем следствии, последними словами ругал инициатора ленинградского дела Маленкова, которого почему-то именовал «татаринном», и превозносил до небес Жданова. Ш. не всегда был в состоянии скрыть свою неприязнь к обидевшей его власти, а однажды, когда колонну гнали в зону мимо поселкового продовольственного магазина, вокруг которого змеилась длинная очередь местных жителей, он устроил целый митинг.

— Вот они, наши мужички, — кричал он, — хлебушек сеют, а досыта его не едят! Я сам из крестьян, горькую крестьянскую долю знаю!

Узнав, что Ш. из Ленинграда, я сказал ему, что в лагере сидит еще один бывший ленинградский партработник. Ш. заинтересовался, и я назвал ему Воронина.

— Владимир Александрович? — быстро переспросил Ш.

— Да, а вы с ним знакомы? — ответил я вопросом на вопрос.

— Встречались, — как-то неопределенно сказал Ш. — Он из бывших троцкистов.

— Хотите, познакомлю?

— Да-а-а, конечно, — весьма сдержанно реагировал ТТТ. По всему было видно, что особого

желания встречаться с Ворониным он не испытывал.

На небольшом пятачке зоны не встретиться было невозможно, и несколькими днями спустя Воронин заметил Ш.

— Ты не знаешь, кто этот человек? — спросил он меня.

Я объяснил.

— Ну, конечно, я его знаю. Незадолго до ареста в 1938 году против меня возбудили партийное дело. Обвиняли в связях с троцкистами. Припомнили, что я был знаком или работал с кем-то, кого позднее разоблачили как троцкиста. Ш. был главным моим обвинителем. Он в то время был восходящей звездой на партийном Олимпе, фабриковал персональные дела пачками.

Мною, как всегда, овладело любопытство, и, когда однажды во время моей беседы с Ворониным мимо проходил Ш., я его окликнул.

— Вот, познакомьтесь, ваш земляк, тоже ленинградец, я вам о нем уже говорил.

— Да, мы знакомы, — как-то криво заулыбался Ш., — вместе работали в райкоме, да и в ленинградском горкоме частенько встречались. Как говорят: «Гора с горой не сходятся, а человек с человеком...»

— Как же, как же, помню, встречались на партийной комиссии, когда меня исключали из партии, — сказал Воронин.

Я ожидал, что между бывшими недругами начнется выяснение отношений, но этого не произошло. Старые знакомые, они, как близкие друзья и сотоварищи по политическим играм, стали дружно обсуждать судьбы сослуживцев из ленинградской партийной верхушки, вспоминать, кто в какой системе работал. Выяснилось, что одни общие знакомые были арестованы и исчезли, а другие сделали головокружительную карьеру. Среди последних были и Жданов, и Косыгин, и Маленков.

Создавалось ощущение, что существовала огромная пирамида из партийных чиновников, причем каждый по мере сил карабкался вверх, и одни там удерживались, а другие соскальзывали вниз и вовсе исчезали из жизни. Дружелюбный тон их беседы меня поразил. Однажды я спросил у Воронина:

— Как вы можете так спокойно и даже миролюбиво разговаривать с этим человеком, словно он ничего дурного вам не сделал?

Воронин махнул рукой.

— Не он, так другой. Мы так понимали тогда свой партийный долг. И он его выполнял. Будь я на его месте, а он — на моем, я действовал бы точно так же.

— Простите, Владимир Александрович, — почти завопил я, — но ведь он действовал не бескорыстно! На ваших костях карьеру делал!

— Так мы все тогда понимали свое служение партии, — угрюмо повторил Воронин.

Бывшие секретари постепенно сблизились, и Ш. даже перебрался на соседние нары, чтобы быть поближе к своему собеседнику. Теперь его отделял от Воронина лишь узкий проход. Я редко принимал участие в их разговорах, но когда оказывался поблизости, до меня доносилось: «он был хороший коммунист», «демагог и болтун», «не всегда был принципиален», «оказался врагом народа». Постоянно повторялись формулы вроде: «на

пленуме горкома партии», «в закрытом письме ЦК» и тому подобные. Меня поражало, что даже в своих беседах здесь, в лагере, они не могли отказаться от лексики и фразеологии, позаимствованных из партийно-бюрократического реквизита и отличных от бытовой речи нормальных людей.

— Вот вы, Владимир Александрович, говорите про кого-то, что он оказался врагом народа, — спросил я однажды Воронина. — Вы, что, после всего вашего тюремного и лагерного опыта все еще верите в существование каких-то мифических шпионов, вредителей, диверсантов и тому подобных страшных преступников, коих сотни тысяч, если не миллионы?

Воронин как-то странно на меня посмотрел и промолчал. Казалось, он был раз и навсегда запрограммирован стереотипными партийными понятиями, отказаться от которых не мог. Я поражаюсь этой, с позволения сказать, принципиальности. Когда мой естествоиспытательский интерес к этой паре был исчерпан и пиквикская любознательность удовлетворена, я перестал с ними общаться.

К числу наиболее тяжелых испытаний лагерной жизни, несомненно, следует отнести полное и постоянное отсутствие «прайвеси» — возможности хоть на короткий срок побыть наедине с самим собой. Самые разные люди обитают вместе в тесном бараке, зажатые на нескольких метрах жилплощади. Отсюда множество бытовых неудобств и постоянных конфликтов. Малейший повод может привести к столкновению озлобленных и усталых людей, а иногда и к драке. Воронин и Ш. также нередко ссорились, что вызывало со стороны окружающих смех и ядовитые подначки. За долгие годы лагерной жизни у Воронина сложились определенные бытовые привычки, которые помогли ему выстоять в борьбе за существование. Он не имел родных на воле: жена была арестована вместе с ним и сгинула где-то в лагерях, а сын от него отказался. Никаких посылок он не получал и жил на то, что ему давал не слишком щедрый начальник. Ни на чью помощь извне он рассчитывать не мог и привык вести свое несложное хозяйство аккуратно и педантично.

В отличие от Воронина Ш. был человек избалованный и достаточно бесцеремонный. Он регулярно получал от жены из Ленинграда обильные посылки и не был склонен делиться со своим лагерным другом. Это был государственный придурок новой формации, чуждый и даже враждебный былым революционным идеям всеобщего эгалитаризма. Когда ему было нужно, он мог, не спросив разрешения, взять у соседа по нарам любой предмет и даже извлечь у того из «зачапки» что-либо из съестного. Это приводило к постоянным ссорам. Но однажды столкновение между друзьями было вызвано жестокой шуткой окружающих, неприязненно относившихся к Ш. А произошло это так.

Воронин принес в барак купленные за зоной брюки вольного образца и, положив их на нары, отправился в столовую. Минуты через две в бараке появился Ш. с большим мешком в руках — посылкой, которую он только что получил из дома. Бросив мешок на нары, он тоже куда-то вышел. Соседи по бараку решили разыграть друзей. Один из зека вскрыл посылку Ш., сунул в нее брюки Воронина и вновь аккуратно увязал мешок. Ш., возвратившись, стал перебирать присланные пожитки и, обнаружив брюки, очень обрадовался.

— Вот хорошо, догадалась жена прислать брюки, — с торжеством объявил он, — а я, когда получал посылку, их и не заметил!

Ш. примерил брюки, которые оказались ему впору, завернул их обратно в посылку и отправился в столовую. Тут возвратился Воронин и стал искать свою посылку.

— А ты посмотри у Ш. в мешке, — невинным голосом, как бы между прочим, посоветовал ему один из зека. — Он там чего-то копошился!

Воронин полез в мешок Ш., наткнулся на брюки и пришел в ярость.

— Этого еще не хватало, у старого лагерника и товарища воровать, — кричал он, — такого со мной не было уже много лет!

Тут в барак возвратился Ш., и между друзьями началась грубая перебранка. Сразу же образовались партии. Одни с пеной у рта доказывали, что видели, как Воронин принес купленные брюки, другие с не меньшим пылом свидетельствовали, что Ш. извлек предмет спора из посылки. Ощущая за спиной могучую поддержку сторонников, несчастные жертвы розыгрыша чуть не плакали, доказывая свою правоту, обвиняя и оскорбляя друг друга, а окружавшие их зека подначивали их и наслаждались потехой. Лагерники ценят всякую возможность посмеяться и особенно охочи до подобного рода жестокого цирка, когда поводом для смеха становится человеческое унижение. Когда, вдоволь натешившись и объяснив ссорящимся, что с ними сыграли злую шутку, обитатели барака разошлись кто куда, мы остались в бараке втроем, и тут Воронин и Ш. вдруг перешли к яростной политической перепалке. Унижение воскресило старые обиды, и все, что годами таилось под спудом, мучило их и волновало, всплыло на поверхность. Сказалась старая привычка придавать всякой личной вражде политическую мотивацию.

— Вы породили целое поколение стяжателей и воров, отступили от наших партийных идеалов, — кричал обычно сдержанный, когда речь шла о политических вопросах, Воронин, — помогли Сталину разгромить старую партийную гвардию, а сами стали обмещанившимися чиновниками. Вами движут только корыстные интересы, ради них вы готовы на любую подлость, уничтожали сотни тысяч преданных делу Ленина людей, обвиняли кого попало в троцкизме.

— А вы, что, были святыми, щадили своих противников? — кричал в ответ Ш. — Не громили тех же троцкистов и прочих уклонистов? Кто уничтожил еще в начале тридцатых годов всю ленинградскую партийную организацию — не вы ли? Мы, по-вашему, поколение партийных чиновников и циников. А кто воспитал в партии нетерпимость, подымал крик и требовал расправы над теми, кто вам перечил? Вы превратили партию и народ в послушное стадо, а теперь кричите о нашем цинизме. Мы ваши примерные ученики и ваши жертвы. Вы обвиняете нас в уничтожении старой партийной гвардии. А не вы ли, эта самая партийная гвардия, ради мнимого осуществления своих утопических идей уничтожили лучшую часть народа — крестьянство и интеллигенцию, вырастив покорных холуев и пьяниц? Вы утверждаете, что действовали бескорыстно. А разве вы не жили боярами с вашими привилегированными магазинами, когда страна голодала из-за ваших экспериментов? А мы последовали вашему примеру и старались жить послаще. За что боролись!..

Взаимные обвинения так и сыпались с обеих сторон, и каждое высказывание вполне тянуло на пятьдесят восьмую статью. Мое присутствие их не смущало. Но любопытно, что в своих страшных разоблачениях ни тот, ни другой не затрагивали саму основополагающую доктрину, не высказывали сомнения в том, что они именовали генеральной линией. И стоило мне заикнуться о некоторой безнравственности их позиции, как эти два представителя разных поколений партийной элиты объединились против меня, и Воронин, указуя в меня перстом, заявил:

«Вот какое беспринципное поколение вы воспитали!»

На следующий день после яростного спора они снова мирно беседовали, и до меня опять доносилось: «на последнем пленуме», «бухаринцы», «принципиальный коммунист» и т. п. Исповедуемое этими людьми учение со всей его фразеологией стало их второй натурой, и на другом языке они уже говорить не умели. Трудно решить, чего в их взглядах и речах было больше: привычки, фанатизма, лицемерия или элементарной дурости.

«Гвозди бы делать из этих людей», — сказал как-то один из зека, вспомнив известную строчку из баллады Тихонова. «Именно! Но только гвозди!» — подумал я.

Свобода воли

На соседних нарах барачной вагонки обитают два друга. Один из них, Лазарев, молодой человек лет двадцати восьми-тридцати, высокий, широкоплечий, темноглазый брюнет, с сильно развитой мускулатурой, выступающей даже из-под майки с рукавами, другой, со странной фамилией Коев, — его полная противоположность, человек лет под пятьдесят, невысокий, хилый и лысоватый блондин с серо-голубыми, тусклыми глазами. Лазарев родом из Карелии, из семьи сельского учителя. Коев — простой мужик из южноуральской деревни, из семьи раскольников. Друзья работают на пару в лесоповальной бригаде, при этом большую часть физической нагрузки при валке и распиловке леса берет на себя сильный Лазарев.

Лазарев — двадцатипятилетник, осужден по статье пятьдесят восемь, пункт один Б, за измену родине, иными словами, за пребывание в плену и службу во власовской армии. Коев, как здесь обычно о таких, как он, говорят, баптист и отбывает уже не первый срок. В восемнадцать лет он был арестован за отказ служить в армии, на его языке «принять оружие», после освобождения перед войной сел вторично, на этот раз по банальной статье пятьдесят восемь, пункт десять, за антисоветскую агитацию и проповедь пацифизма, получил традиционную десятку, а уже в лагере после войны получил по той же статье довесок в виде новой десятки.

Лежа вечерами на нарах, друзья ведут бесконечные дискуссии на разные темы, начиная с того, как лучше направить лучковую пилу, и кончая самыми «последними вопросами» — о мироздании и божественной истине.

Коев — своего рода религиозный мыслитель и моралист. Самостоятельно, без какого-либо существенного влияния извне, он выработал для себя сложную, хотя и несколько путаную философию, в которой старообрядческие и мистические идеи сочетаются с элементами толстовского учения. Один из главных его принципов жизни, которому он свято следует, — непротивление злу насилем.

Обычно я не обращаю внимания на бесконечные споры соседей и, приходя в барак после одиннадцатичасовой работы на морозе, заваливаюсь на нары и сразу же засыпаю. Однако в тот день я отогрелся и отдохнул, спать не хотел и невольно прислушивался к беседе друзей.

Спорят они на этот раз о свободе воли — проблеме, волновавшей человечество на протяжении всей его истории. В устах моих сокамерников она получает совершенно особое толкование. Лазарев твердо стоит на том, что за всю свою жизнь он не совершил ни одного более или менее важного поступка по собственной воле, но всегда подчинялся воле других людей или действовал в силу обстоятельств. Коев же доказывает, что человек сам волен творить свою судьбу и несет перед Всевышним ответственность за свои поступки. Заметив, что я не сплю, Лазарев решает привлечь меня в качестве арбитра и сообщает мне свои аргументы.

— Ты человек грамотный, поймешь, — говорит он, обращаясь ко мне. — Вот Серка (Коева звали Серафим) все толкует: свобода воли, свобода воли! А где она, моя свобода? Веришь или нет, я не помню такого дня за всю жизнь, чтобы я в серьезном деле действовал по своей воле. Родители мои учительствовали в селе и хотели, чтобы я получил образование. Ну

ладно, кончил я в Петрозаводске в 1939 году школу-десятилетку и поступил в пединститут. А тут, трах, вышел приказ всех студентов призывного возраста забрать в армию. Призвали и меня с первого курса. Так я и остался недоучкой на всю жизнь. Сунули меня в пехотное училище, поучился я с годик, а тут, хоп, война. Навесили на меня два кубика и на фронт. Два года я честно провоевал, дослужился до капитана, схватил два ордена. А тут вся наша армия попала в окружение, и я оказался в плену. Что я мог сделать? Да ровно ничего! Отправили нас в лагерь военнопленных. Судьба наша известна. Сталин сказал, что нет у нас военнопленных, есть лишь изменники родины, и отказался нам помогать через Красный Крест. Пухли от голода. Настроился я с дружками бежать, да один подонок продал нас, выслужиться захотел. Доказать он ничего не сумел, но взяли нас под особое наблюдение. А тут стали агитаторы вербовать русских военнопленных в немецкие вспомогательные части. Я прикинулся карело-финном, язык-то я их знал, и мы с двумя корешами, тоже в прошлом офицерами, договорились завербоваться, чтобы потом при случае перебежать к своим. Первоначально немцы, хоть и нарядили нас в свою форму, нам не доверяли и следили за нами вплотную, так что бежать было нельзя, а потом мы и не захотели, как узнали, что нашего брата Советы не жалуют, кто линию фронта переходит, особо не разбираясь, ставят к стенке.

Стали нас немцы бросать на карательные операции. Может, слышал, была такая бригада Каминского? Ну вот, мы в ней служили. Когда союзники высадились в Италии, мы там, помню, дрались с поляками. А ближе к концу войны нас перебросили на север Франции. Тут союзники высадились в Нормандии. Ясное дело, умирать за Великую Германию никто из нас не хотел, и, как только представилась возможность, мы и подались к американцам. Перевезли нас в лагерь для военнопленных в Штаты, куда-то под Нью-Йорк. Там мы впервые за всю войну отдохнули, вроде бы на курорте оказались. Кормили нас хорошо. Вокруг лагеря был такой невысокий заборчик, вечерами мы через него перелезали и бегали на танцуйки. Там такая площадка была, дансинг-холл называлась. Завелась у меня подружка-американочка, продавщицей в большом магазине работала. Как раз кончилась война, и я подумывал о том, чтобы у нее в Штатах остаться. Да разве я свою судьбу решал? Собрали нас, голубчиков, и перевезли в Ломбардию, в Северную Италию, а там, по договору со Сталиным, погрузили на судно и прямым путем в Одесский порт. Остальное известно. И чего я только не повидал за войну — и как уничтожали еврейское гетто в Варшаве, и как подавляли варшавское восстание, когда советские стояли на другом берегу Вислы. И партизан ловил в Белоруссии, и с карателями в Югославии и Италии побывал — все было. Ты мне только скажи, что за всю войну я делал по собственной воле? Не вступил бы в немецкую армию — сдох бы от голода, попытался бы удрать к своим — попал бы под расстрел. А он толкует — свобода воли.

— Врешь ты все, Андреич, — спокойно возражал Лазареву его старший друг. — И оружия не должен был бы брать у немцев, и в карателях не надо было служить. На все была твоя воля. Человек волен жить по совести.

— Вот ты и сидишь третий раз, и все по совести, — сбился на крик Лазарев. Видно, доводы друга давно его волновали, а в своих он не был так уж уверен.

— И четвертый, и пятый раз сяду, — спокойно возражал Коев, поглядывая на друга своими тусклыми серо-голубыми глазами, — дело житейское. Над жизнью моей злодеи властны, а над душой — нет. Душа моя свободна.

Этот спор шел между друзьями изо дня в день, причем Лазарев доказывал свое, крича и волнуясь, в то время как его друг возражал ему тихим голосом, слегка посмеиваясь. При этом лицо его светилось счастьем, и было в нем и чувство превосходства, и некоторая доля иронии по отношению к другу-несмышленишу, а вместе с тем было в нем что-то трогательно-детское и немного юродивое.

Периодически лагерное начальство перегоняло заключенных из одного барака в другой. Делалось это для того, чтобы между зека не устанавливались слишком тесные связи, а заодно и для того, чтобы, воспользовавшись общим переселением, насадить повсюду своих тайных осведомителей. Наша бригада кончала работу поздно, и однажды, возвратившись в зону, я застал в бараке полный разгром. Место мое на нарах занял какой-то блатнячок, а мое «имущество» — набитый соломой матрац, алюминиевая кружка, котелок и еще кое-какая мелочь — валялось на грязном полу, в проходе между нарами, и по ним ходили новые обитатели барака. Разумеется, кое-что из моих лагерных пожитков вовсе исчезло. Спорить по поводу случившегося было бесполезно, и я, собрав уцелевшее, намеревался отправиться на новое местожительство.

Но тут мое внимание привлекли вопли, доносившиеся из того отделения вагонки, где ранее на нарах располагались мои соседи-друзья. Коев качал права. Его негодование было вызвано надругательством, которому подверглась его скромная библиотека, состоявшая из старых журналов, черно-белые картинки в которых он любил раскрашивать цветными карандашами, и тетрадок, в которые он переписывал понравившиеся ему изречения. Все это, растерзанное и грязное, валялось на полу, как и мое имущество, а на месте Коева, на верхних нарах, восседал нагловатого вида молодой парень, которого явно забавляли вопли маленького лысого человека.

— Вали отсюда, батя, — лениво цедил парень сквозь зубы, — вали, пока я добрый, а то ведь, не ровен час, и рассердиться могу.

Однако Коев не отступал и требовал, чтобы парень возвратил ему какие-то книги и бумаги.

— Смешной ты, батя, все просишь и просишь, ну, как тебя не уважить?! — беззлобно и даже добродушно сказал парень. Он как-то весь искривился, ухмыльнулся и, не глядя на Коева, ударил его обутой в тяжелый ботинок ногой в лицо. Что-то хрустнуло. Коев упал на спину и на несколько секунд затих.

И тут случилось непредвиденное. Наблюдавший за происходившим Лазарев подскочил к нарам, схватил парня за ноги и, сбросив с верхнего лежака на пол, стал яростно топтать его ногами. На секунду барак затих, а затем целая куча дружков парня набросилась на Лазарева со всех сторон и начала его избивать. Когда через минуты две они отступились, Лазарев остался лежать неподвижно, а по полу барака растекалась небольшая кровавая лужица — видно, кто-то из нападавших ударил его в сутолоке ножом. Лазарева унесли в лагерный госпиталь.

На другой день после работы я отправился навестить Лазарева. Лагерный хирург, заключенный Б., уже сделал ему операцию, по его словам, ножом было задето легкое. Лазарев лежал на спине, тяжело дышал и еле говорил. Рядом с ним сидел Коев с большой повязкой на лице. Лазарев все время силился что-то сказать, но понять его было нелегко. Я наклонился над ним и еле разобрал его слова, скорее о них догадался.

— Вот тебе и свобода воли, один раз попробовал... — еле слышно пробормотал он. — Так всегда у меня...

Коев, казалось, также не столько услышал, сколько уловил смысл сказанных Лазаревым слов. Лицо его сморщилось, на секунду приняло скорбное выражение, но через миг снова стало радостным и лучезарным.

— Ну и молодец, — тихо сказал он, — доказал, что ты — свободный человек, вступился за правое дело.

— Что мне теперь твое правое дело, на черта мне свобода воли, — опять еле слышно забормотал Лазарев, — я жить хочу!

Через день я снова зашел в госпитальный барак, чтобы справиться о больном. В дверях я столкнулся с госпитальным санитаром, детиной огромного роста из числа бывших бандитов.

— Как там Лазарев? — спросил я.

— Ночью кончился, — сказал санитар, — кровь пошла из горла, а пока ходили будить врача, он и помер. Известное дело — легкое ему проткнули. Как тут жить будешь?!

Вечером мы сидели с Коевым до отбоя, пили чай со сладкими сухарями, присланными ему дочерью, вспоминали убитого. Словом, устроили скромные поминки. Коев был, как всегда, тих и приветлив. «Вот ведь поступил же Колька по собственной воле, когда за меня вступился, значит, я прав», — сказал он.

Казалось, для Коева главным было решить некую нравственно-философскую задачу, а судьба человека его интересовала во вторую очередь. Он вроде бы нимало не был огорчен трагической смертью друга, но лишь жалел, что теперь не сможет доказать ему свою правоту. Меня поразило это сочетание интереса к высшему и удивительная черствость к близкому человеку. Как и прежде, улыбаясь, он помянул умершего и заключил свою короткую речь традиционными словами: «Бог дал, Бог и взял!» Все в бараке равнодушно спали.

Ян Рокотов

Когда в 1961 году я узнал из газетного фельетона о суде над Яном Рокотовым, выглядевшим под пером журналиста страшным злодеем, и о смертном приговоре, вынесенном ему за валютные спекуляции, я невольно вспомнил хрупкую фигурку в грязной, рваной телогрейке, представшую перед нами однажды в зимнюю пору в лагерном бараке. Разумеется, о прошлой горькой судьбе Рокотова в фельетоне ничего не говорилось.

Это был невысокого роста худенький юноша, казавшийся значительно моложе своих лет. За годы работы на лесоповале в режимной бригаде, где его систематически избивали за невыполнение нормы (которую, к слову сказать, редко кто выполнял), он на время утратил способность сознательно воспринимать действительность. Потеря памяти у Яна была столь велика, что, когда к нему подошел мой сосед по нарам, ленинградский инженер Василий Степанович Дрокин, совсем незадолго до того находившийся с Яном на одном ОЛПе и работавший с ним в одной бригаде, Ян не мог его вспомнить.

История Яна Рокотова поначалу мало чем отличалась от десятков тысяч подобных. Отец его, Тимофей Рокотов, в прошлом главный редактор журнала «Интернациональная литература», аналога нынешней «Иностранной литературы», еще до войны был арестован и расстрелян. В то время Ян был ребенком, а после войны он, студент юридического факультета, дозрел до того, чтобы на него обратили внимание, и был, в свою очередь, арестован. Во время ареста живой, энергичный и предприимчивый юноша через маленькое окошко туалета сумел вылезти на улицу и бежать. Если только рассказ Яна достоверен, сразу же после побега он явился в дом к следователю Шейнину, жена которого приходилась ему родственницей, и тот, ругая Яна последними словами, снабдил его деньгами и велел больше у него не появляться.

Много месяцев оперативники МГБ старались ликвидировать свой «прокол» и разыскать молодого беглеца, пока не нашли его где-то на юге страны. Ян получил восемь лет по

пятьдесят восьмой статье, к которой ему добавили статью «за побег из места заключения», хотя в момент ареста он еще не был осужден и бежал из собственного дома. Вторая статья существенно ухудшила его положение в лагере. Вместе с бандитами и рецидивистами он был помещен в режимную бригаду, которую гоняли на лесоповал под специальным усиленным конвоем. Бригаду возглавлял некий Кацадзе, ссучившийся уголовник, мучивший и избивавший заключенных при попустительстве и даже сочувствии охраны.

К тому времени, когда Ян появился в нашем бараке, он отсидел уже значительную часть срока, с него были сняты режимные ограничения и он был переведен в нашу зону. Молодые жизненные силы Яна взяли свое, и через несколько месяцев его психическое состояние полностью восстановилось. Он даже сумел как-то приспособиться к лагерным условиям, устроился работать на подсобную площадку и, когда, уже после смерти Сталина, дело его было пересмотрено, покидал лагерь с большим, набитым имуществом чемоданом, в новеньком, неизвестно где сшитом костюме.

— Освобождаюсь вчистую, с полной реабилитацией! — радостно прокричал он мне, стоя на вахте, уже за пределами зоны, и помахивая реабилитационной справкой.

— Сколько же тебе пришлось зря просидеть? — спросил я.

— Около семи, — голос Яна упал.

Мой вопрос заставил его спуститься с неба на землю и спугнул его эйфорию.

Тюрьма и лагерь действуют на неустойчивые натуры деморализующе, особенно если человек попадает в заключение молодым, с еще не сложившимися убеждениями и этическими нормами. Негативный опыт лагерной жизни среди воров, бандитов, убийц и насильников чаще всего способствует выработке приклатенной психологии и морали. Выйдя на волю, Ян восстановился на втором курсе института, но после лагерного опыта вписаться в рутинную жизнь советского студенчества и учиться, как прежде, уже не смог. Ему захотелось после страшных лагерных лет пожить на всю катушку, а учеба в институте и грошовая стипендия давали слишком мало возможностей и сладкой жизни отнюдь не обеспечивали. Ян бросил институт и занялся подпольным промыслом. В этом ему помогали еще несколько человек из числа бывших заключенных нашего лагеря, которые в свое время также сидели по пятьдесят восьмой статье и были реабилитированы, но в лагере прониклись уголовным взглядом на мир и жизнь.

Я толком не знаю, в чем состоял бизнес Яна, но, по доходившим до меня слухам, суть дела заключалась в том, что Ян сумел войти в контакт с каким-то западногерманским банком. Внося в этот банк марки, приезжавшие в СССР иностранцы получали от Яна советские деньги по выгодному курсу, и, напротив, выезжавшие за границу советские люди, выдав Яну советские деньги, получали там соответствующую сумму в валюте. Одна моя бывшая солагерница шепотом рассказывала мне, что обороты Яна достигали многих десятков тысяч рублей. Ходили слухи о его легендарном богатстве, каких-то немислимых кутежах в московских и ленинградских ресторанах и о любовных связях с красотками полууголовного и артистического миров.

Самое любопытное, что, вопреки слухам, Ян не производил в это время впечатление преуспевающего дельца. Я трижды случайно встречал его на улице, и он всегда казался мне скромным и небогатым человеком.

Первая наша встреча с Яном произошла сразу же после моего освобождения. Ян тогда восстановился на факультете и жаловался, что не находит общего языка с сокурсниками, потому что старше их почти на десять лет, и что стипендии ему на жизнь не хватает.

Вторая наша встреча состоялась, видимо, в начале предпринимательской деятельности Яна.

Он особенно не хвастался своими финансовыми возможностями, но из разговора я понял, что он ни в чем не нуждается.

— Я бросил институт, — сказал он, — поздно мне, старику, сидеть за одной партой с не знающими жизни юнцами. Наш институт ведь особенный, там полно детей разных шишек. На черта мне сдалась эта специальность юриста. Я и так про нашу юриспруденцию все знаю, испытал ее милости на собственной шкуре! Сидеть юрисконсультантом в конторе или адвокатствовать?! Ну их к бесу!

Третья и самая удивительная встреча произошла у нас в Центральном универмаге. Это было незадолго до ареста Яна, когда я от сокамерников услышал о его баснословном богатстве. Ян держал в руках небольшой сверток.

— Вот купил пару немецкого теплого белья, советую и вам это сделать. Белье хорошее, — сказал он.

Ничто не выдавало в нем подпольного миллионера. Ян был скромнен и немного грустен, возможно, предвидел свою судьбу. Он торопился на концерт, и мы быстро расстались.

Появление в газетах фельетонов о Яне было для меня полной неожиданностью. В них Ян рисовался как некая демоническая личность, крупный валютчик и спекулянт, и даже неотразимый Дон Жуан, совратитель многих женщин, вроде Синей бороды. Все это не вязалось с его обликом. Ходили слухи, что он стал жертвой какой-то интриги в борьбе различных отделов специальных служб, работники одного из которых, занимавшиеся расследованием крупных валютных спекуляций, пытались сделать карьеру на этом деле и умышленно раздували его масштабы. Так это или не так, я не знаю, но Ян, несомненно, оказался жертвой чьей-то закулисной игры.

Может быть, при иных условиях недюжинная энергия Яна ушла бы не в «черный бизнес», а в общественно полезную деятельность. Из него вышел бы выдающийся экономист-практик, преуспевающий банкир или менеджер крупного торгового предприятия. Но этого не случилось. Смертный приговор, вынесенный Яну в 1961 году по прямому приказанию Н. С. Хрущева, был вопиющим нарушением законов, человеческих и божеских, равно как и общепринятых норм юридической практики. На первом процессе Ян был осужден на пятнадцать лет заключения. Однако, несмотря на то, что закон не может иметь обратной силы, Хрущев не только распорядился внести соответствующее изменение в Уголовный кодекс, установив смертную казнь за валютную контрабанду, но и пересмотреть дело Рокотова, чтобы приговорить его к высшей мере.

Наш общий сокамерник, ныне покойный журналист Э., присутствовал на втором процессе Рокотова. Он мне рассказывал, что Ян, понимавший, что ему не избежать смертного приговора, вел себя мужественно и даже дерзко, вступал в пререкания с судьей и прокурором и отвергал выдвигаемые против него обвинения.

— Они меня все равно расстреляют, они без казней не могут, — сказал он подошедшему во время перерыва к скамье подсудимых журналисту, — но хоть года два я пожил как человек, а не как тварь дрожащая!

Видно, Ян знал классику!

Валютные комбинации Яна были столь умело продуманы и настолько эффективны, что ходили слухи, будто в Западной Германии ему была присуждена премия за лучшую финансовую сделку последних десятилетий, а один из городов сделал его своим почетным гражданином. Даже если это легенда, то она сама по себе свидетельствует о том уважении, которое его финансовые способности вызывали в деловых кругах.

Во время процесса прокурор и судья умолчали о том, что обвиняемый еще в ранней юности был безвинно репрессирован, просидел в тюрьме и в лагере около семи лет, после чего был освобожден и реабилитирован в связи с отсутствием состава преступления. Об этом сообщил суду сам Рокотов, но ни судья, ни народные заседатели не пожелали обратить на это внимание. Карательные органы легко прощали себе свои преступления, ссылаясь на то, что незаконные аресты производились «во время культа личности», а они к этому вовсе непричастны. Никто не вспомнил о том, что государственная система, лишив его родителей и ни за что ни про что швырнув юношей в уголовный мир, несет изрядную долю ответственности за его судьбу.

И поныне у меня перед глазами Ян, каким я его увидел впервые, — маленькая, худенькая фигурка посреди барака, затравленный, растерянно бегающий взгляд исподлобья...

Беглецы

Бытует мнение, что бежать из советского лагеря крайне трудно или даже практически невозможно. Тем не менее история лагерей знает немало подобных попыток, иногда успешных, а иногда окончившихся для участников трагически. Существовало правило, согласно которому всех тех, кого оперативникам удавалось изловить, возвращали в тот же самый лагерь, чтобы убедить заключенных в безнадежности такого рода предприятий. Часто тела тех, кто при побеге был убит, привозили к воротам лагеря и на некоторое время оставляли там лежать в назидание другим. Впрочем, неудачи предшественников не останавливали новых смельчаков, и всегда находились предприимчивые или отчаявшиеся зека, готовые пойти на риск в поисках желанной свободы. За время моего пребывания в лагере с 1949 по 1955 год было несколько попыток побега, и некоторые из них увенчались успехом.

Я помню, как лагерь облетела весть о том, что с одного из соседних ОЛПов, где содержались в основном железнодорожники — строители ветки и obsлуга действующей ее части, бежал шестидесятилетний инженер, осужденный по пятьдесят восьмой статье. Это был опытный путеец, которого вскоре после прибытия в лагерь расконвоировали и назначили на работу по прокладке новой трассы. Однажды утром он, как всегда, отправился на свой участок и более не возвратился. Позднее в лесу нашли брошенные им геодезические инструменты. Одновременно с ним из Ленинграда исчезла его жена, ранее неоднократно приезжавшая на свидания к мужу. Выяснилось, что в прошлом инженер участвовал в строительстве железной дороги Ленинград — Петрозаводск и хорошо знал пограничный с Финляндией район. Высказывалось предположение, что он ушел в Финляндию. Так или иначе, но, несмотря на все усилия, оперативникам на след его напасть не удалось и к нам в лагерь его не вернули.

Трагически окончилась попытка побега бывшего священника, сына лидера обновленцев-живоцерковников Введенского. В прошлом он служил в церкви на одном из городских кладбищ и, по-видимому, был связан с НКВД. Это засвидетельствовал его сосед по нарам В. А. Савелов, видевший заявление Введенского в прокуратуру. В этом заявлении Введенский писал, что состоял секретным сотрудником и что в свое время по его донесениям были разоблачены и арестованы некоторые лица (шел их перечень). Свою прошлую деятельность он просил учесть при пересмотре его дела.

В лагере Введенский страшно опустился, связался с разными подонками, ходил грязный,

страшно сквернословил и производил впечатление психически больного человека. Видимо, от отчаяния он договорился с двумя уголовниками попытаться бежать из колонны заключенных прямо на марше. Суть такого побега «на рывок» состояла в том, что несколько человек по сигналу одновременно выскакивали из колонны и устремлялись в разные стороны. Расчет строился на том, что растерявшиеся от неожиданности конвоиры не сумеют сразу поразить несколько целей и кто-либо из зека сможет добраться до леса. В данном случае беглецам не повезло, и их всех настигли пули конвоиров, прежде чем они успели скрыться в лесной чаще.

В одном из побегов активное участие приняла вольная женщина, сообщница заключенного. Смелая операция была заранее продумана и осуществлена во время работы в лесу. Выводя колонну заключенных на работу, конвоиры делали вокруг отведенного под вырубку места оцепление и пропускали в него зека по счету. В конце рабочего дня та же процедура происходила в обратном порядке: создавалось оцепление для марша, заключенных заводили в него по счету, после чего вокруг участка снималось оцепление и колонну вели в зону.

В один из пасмурных зимних дней, при сильном снегопаде, на место лесоповала задолго до того, как были приведены бригады, пробралась женщина, подруга одного из уголовников, и спряталась в глубоком снегу. Конвоиры, как всегда, создали оцепление и запустили бригады на участок. Таким образом, женщина оказалась в оцеплении. Она обменялась со своим другом одеждой, вымазала лицо копотью от горевших повсюду костров и уподобилась работягам-мужчинам. Вечером, когда бригаду уводили с работы, она вышла со всеми и зека спрятали ее в середине шеренги, а дружок ее тем временем укрылся в снегу. Колонна ушла, оцепление сняли, и уголовник бежал. Во время обыска на вахте в темноте надзиратели не заметили женщину и пропустили ее со всеми зека в жилую зону. Счет повсюду сходился, и конвой был спокоен. Женщина легла на нары и укрылась бушлатом.

Следующий день был объявлен нерабочим, и утром на вахте разыгрался спектакль. К начальнику ОЛПа танцующей походкой подошел молоденький блатнячок и, как всегда кривляясь, изрек:

— Начальничек, что-то у тебя в зоне непорядок, режимчик не держишь, баб в зону пускаешь!

— Чего ты там болтаешь? — удивился начальник.

— Понимаешь, начальничек, — гнусавил блатнячок, переходя на доверительный тон, — просыпаюсь я сегодня, гляжу, баба рядом лежит. А я уж как не люблю, когда режимчик нарушают. Я ведь иду на исправление, а тут бардачок развели. Ну, думаю, надо начальничку сказать, чтобы мусоров приструнил. Заелись, падлы, мышей не ловят, работать не хотят!

Начальник огляделся вокруг и заметил группу блатных постарше, стоявших поодаль и с интересом наблюдавших за происходящим. Заподозрив неладное, он заорал:

— Чего кривляешься, где, какая тебе баба?

— Чего ругаешься, начальничек, — в восторге от своей роли в спектакле соловьем заливался паренек, — я же на исправление иду, стучать начал. Меня ценить надо! Твои-то козлы работают плохо. Я же хочу, чтобы порядок в зоне был. Тебе не угодишь!

Когда надзиратель прибежал в барак, он увидел, что на нарах действительно сидела молодая женщина лет двадцати и ухмылялась во весь рот. Она уже совершила свой утренний туалет и была густо накрашена, а на груди у нее болталось какое-то ожерелье из цветного стекла — видимо, подарок зека.

— Ты как здесь оказалась? — заорал надзиратель.

— Обидели меня, начальничек, изнасильничали, — заголосила женщина, — затащили вонючки в колонну, ножом пригрозили. А твои козлы на вахте не разглядели, пропустили в зону. Вот до чего дожили, нигде бедной женщине защиты нет!

Стали проверять заключенных по формулярам, и выяснилось, что из лагеря бежал вор-рецидивист, осужденный на двадцать лет. Начальство неистовствовало. Вызвали прокурора, чтобы получить у него санкцию на арест пособницы в побеге, однако прокурор такой санкции не дал. Дело выглядело так, что следовало привлечь к ответственности администрацию лагеря.

На следующий день после короткого допроса женщину отпустили. Выйдя за запретку, она обернулась и стала кричать:

— До свидания, мальчики, извините, если что не так! Сашок вам напишет, как пойдут дела.

— Прощай, Машка, привет Сашку, — орали в ответ ее новые друзья.

Надзиратели мрачно смотрели на происходящее. Одному лихому побегу я был свидетелем сам. Это случилось поздней осенью, снег еще не выпал, но было уже холодно. Я сидел один в конторке лесобиржи и готовил документацию по погрузке, когда открылась дверь и вошел высокий, красивый парень лет двадцати, одетый в лагерную телогрейку, тщательно подогнанную по фигуре, и в модной вольной кепке.

— Здорово, — сказал он, довольно бесцеремонно усаживаясь возле стола.

— Здорово, — ответил я, вопросительно на него посмотрев.

— Десятник-бракер?

— Да.

— Сидишь давно?

— Шестой год.

— Стаж подходящий! Небось пятьдесят восьмая, пункт десять?

— Да.

— Чего-то сказал, кто-то продал?

— Именно так.

— Ненавижу стукачей, давить их надо!

— Да кто их любит?!

Парень вынул пачку папирос, и мы закурили. — А что, с этого телефона можно позвонить на вахту? Я ответил утвердительно. Вопросы парня показались мне странными, но их смысл я понял лишь позднее.

Мы перебросились еще несколькими словами. Парень вышел из конторки и направился к запретке. Надо сказать, что в тот год лагерное начальство, чтобы сократить число постов вокруг заводской зоны, распорядилось уменьшить ее общую площадь. Всю основную часть лесобиржи вынесли за пределы зоны, а ограждение с за-преткой установили в непосредственной близости от конторки. В ограждении были сделаны ворота, рядом с которыми установили вышку. На вышке находился часовой, наблюдавший за тем, как вольные шоферы вывозили на лесовозах с завода пиломатериал или, наоборот, привозили

его для погрузки в заводскую зону. Из окна конторки я мог видеть большой отрезок лесовозной дороги, колючую проволоку ограждения, запрет-ку и ворота с вышкой.

Лесовоз представлял собой высокое, громоздкое сооружение, наверху которого помещалась кабина с водителем, а в нижней части, между четырьмя колесами, были вмонтированы зажимы из тонких и узких полос железа. Для того чтобы ухватить пакет с пиломатериалами (так называемые «сани»), водитель должен был наехать на него таким образом, чтобы пакет оказался между полосами зажима. Движением рычага он зажимал доски и поднимал их, после чего пакет можно было перевозить. Работа эта требовала от водителя некоторого навыка и глазомера, так как при неточном наезде можно было рассыпать пакет с досками.

В этот день два лесовоза почти непрерывно курсировали взад и вперед, завозя на заводскую железнодорожную эстакаду предназначенный для погрузки пиломатериал. Из зоны на лесобиржу они возвращались порожними. Часовой на вышке знал вольных шоферов в лицо и лениво наблюдал за движением лесовозов, изредка обмениваясь с водителями различными замечаниями. За пределами зоны заключенные женщины под специальным конвоем штабелевали доски.

Парень подошел к запретке и стал переключаться с женщинами. Скучающий на вышке часовой с интересом прислушивался к обмену репликами. Потом-то я понял, что парню было важно приучить часового к своему постоянному присутствию возле ворот ограждения. В самом общении уголовника с женщинами через запрет-ку не было ничего необычного или подозрительного.

Осенью на Севере рано темнеет, да и день этот выдался пасмурным. Был туман. К четырем часам пошел снег.

И тут у меня на глазах, как в детективном фильме, совершилось поразительное действие. Когда разгрузившийся на заводской эстакаде лесовоз на большой скорости возвращался на лесобиржу, парень весь изогнулся, прыгнул и с ловкостью акробата стал двумя ногами на тонкие полосы металлического зажима между колесами. Через секунду он оказался вместе с мчащимся лесовозом за пределами зоны. От глаз часового его скрыла кабина водителя. Я невольно зажмурился, а когда открыл глаза, увозивший парня лесовоз уже исчез из поля зрения.

Тут я понял смысл озадачивших меня вопросов. Парню важно было меня прощупать — кто я такой, есть ли опасность, что позвоню на вахту и предупрежу охрану.

Вечером, когда заключенные собрались на заводской вахте, ожидая конвоя, я шепнул друзьям, что мы, вероятно, не скоро попадем в жилую зону. Так оно и вышло. Сперва надзиратели, как всегда, лениво нас пересчитали. Выяснилось, что одного не хватает. Нас пересчитали снова, а затем стали проверять по формулярам. Тут мы узнали, что ушел известный вор-рецидивист по кличке Красавчик, уже не раз убежавший из мест заключения. Больше мы его не видели. Ходили слухи, что он якобы прислал начальнику лагеря издевательскую телеграмму:

«Проехал Ростов, настроение хорошее, Красавчик». По всей видимости, слухи эти были одним из вариантов популярного в лагере фольклора.

Профессионал

Шел пятый год моей лагерной жизни и первый год после смерти Сталина. Только что прошла так называемая бериевская амнистия, в результате которой освободилось множество уголовников, и на их место на наш ОЛП привезли большую группу двадцатипятилетников, осужденных за измену родине по статье пятьдесят восемь, пункты один А и один Б. В нашем бараке появились новые люди. В один из осенних вечеров 1953 года ко мне подошел человек лет пятидесяти, высокий, голубоглазый, рано полысевший блондин с крупными чертами лица, и представился: «Пауль Б.».

— Я о вас узнал, когда находился на другом ОЛПе, от такого-то (он назвал фамилию моего знакомого Леопольда Кальчика, выпускника философского факультета Ленинградского университета, погибшего на одном из лесоповальных ОЛПов нашего лагеря). Он мне рассказывал, что вы — востоковед, а я давно интересуюсь восточной культурой и религией, особенно буддизмом и исламским суфизмом. Хотел познакомиться.

Мы разговорились. А через несколько дней Пауль перебрался ко мне поближе, на соседние нары.

Пауль оказался аккуратным соседом, что при барачной скученности было немаловажно. Он был любознательным собеседником, читал все, что было нам доступно по истории восточных культур, и довольно много о них знал. Ко мне Пауль относился с подчеркнутым вниманием и проявлял заботу о моих нуждах. Отличный мастеровой, человек, как говорят, с золотыми руками, он по собственной инициативе занялся моим несложным имуществом, сколотил для меня в ремонтно-механических мастерских, где работал, прочный деревянный ящик, приспособил к нему замочек собственной конструкции и торжественно вручил в день моего рождения. Вечерами он охотно и подробно рассказывал о своей жизни.

Мой новый знакомый родился в семье немецкого колониста где-то в районе Славянска, и с детства два языка, русский и немецкий, были для него родными. Как и все немецкие колонисты, его предки были людьми зажиточными. У родителей Пауля был большой каменный дом с многочисленными подсобными помещениями, отличный породистый скот и по тем временам весьма совершенная сельскохозяйственная техника. Отец Пауля знал и любил немецкую литературу и был ее горячим популяризатором среди немцев-односельчан. Он организовал в колонии самодеятельный немецкий театр, в котором разыгрывались пьесы классического немецкого репертуара — чаще всего Шиллер, причем Пауль с ранних лет принимал в театральной деятельности отца самое горячее участие. Особо Пауль считал нужным подчеркнуть, что со сцены их маленького театра не сходила драма Лессинга «Натан Мудрый».

Жизнь в сельской местности не соответствовала честолюбивым замыслам молодого Пауля, и при первой же возможности, вопреки воле отца, с которым он позднее из карьерных соображений прервал всякие отношения, он перебрался в город, сумел поступить на рабфак, потом, несмотря на воспринятое в семье критическое отношение к существующему режиму, вступил в партию и вскоре был послан в Москву на курсы, готовившие газетных работников для провинциальной прессы. Окончив их, он стал сперва корреспондентом, а затем и заместителем главного редактора областной одесской газеты. О своем «кулацком» происхождении Пауль никогда и никому не сообщал, и, таким образом, прошлое не мешало ему делать партийную карьеру.

— Я был на хорошем счету в газете, — не без гордости говорил мне Пауль, — мне обычно поручали писать самые ответственные передовые, особенно во время важных политических кампаний. Тут я впервые понял, что мое мнение по тому или иному вопросу никого не интересует и что в статьях я обязан лишь проводить политическую линию партии. Особенно меня потряс поворот в отношениях с фашистской Германией в 1939 году. Еще вчера я писал

о фашистских злодеяниях, а сегодня я должен был сочинять статьи о любви немецкого народа к Гитлеру. Постепенно я все больше привыкал к тому, что одно могу думать, а другое должен делать, говорить и писать.

Началась война, и Одессу заняли румынские войска. Некоторое время Пауль ходил без работы, а потом сумел устроиться в местную газету, издаваемую румынскими оккупационными властями. Эта работа Паулю не нравилась, к тому же хотелось окунуться в немецкую культуру, поэтому при первой же возможности, воспользовавшись предложением одной берлинской газеты, Пауль перебрался в Берлин, где сотрудничал с разными немецкими газетами и журналами, куда писал, по его словам, лишь о культуре, быте и нравах российского Юга.

Война подошла к концу, в Берлин вступили советские войска, и вскоре в советской зоне оккупации, где жил Пауль, была основана новая газета. Руководили ею присланные из Советского Союза главный редактор и три его заместителя, а весь остальной штат, более двухсот человек, был укомплектован из немецких журналистов. Разумеется, Пауль, свободно владевший и немецким, и русским и поднаторевший в законах и нормах советской прессы, был для вновь основанной газеты ценнейшим сотрудником.

— Я мог без всякого труда перебраться в западную зону Берлина, граница тогда была открыта, — говорил Пауль, — но не сделал этого, потому что не чувствовал за собой никакой вины перед советской властью. Да к тому же мне очень хотелось побывать на родине.

Тут началась проверка на лояльность немецких сотрудников газеты. Оказалось, что большая часть работавших в ней журналистов в той или иной степени была скомпрометирована в прошлом участием в фашистской прессе. Их никто трогать не собирался. Но с Пауля, бывшего советского гражданина, спрос оказался другой.

— Меня вызвал главный редактор, — рассказывал Пауль, — и заявил: «Оказывается, ты работал в фашистских газетах!»

— Да, я писал для немецких газет статьи по культуре и никогда этого не скрывал, — ответил Пауль.

— Но как же это сочеталось с твоими политическими убеждениями, — спросил редактор, — ведь ты же был коммунистом?

— А какое это имеет отношение к моим политическим убеждениям? — ответил Пауль. — Я — профессионал-журналист. Портной шьет платье по заказу, инженер строит согласно проекту, а мое дело — грамотно и убедительно писать в соответствии с установками, которые мне дают мои заказчики, руководители газеты, где я работаю. Вы, что, недовольны качеством моих статей?

— Главный редактор со мной не согласился, — продолжал Пауль, — меня выгнали с работы как коллаборациониста, а через несколько дней арестовали как изменника, сотрудничавшего с врагом, и осудили на двадцать пять лет.

Все это Пауль мне подробно рассказывал, как бы предполагая во мне единомышленника. Хотя жизненная установка Пауля, мягко выражаясь, не вызывала во мне сочувствия, попрекать его мне не хотелось, ему и так было воздано полной мерой. Я лишь осторожно заметил, что, по-моему, человек во всякой деятельности должен исходить из моральных критериев, иначе возникает опасность незаметно перейти зыбкую грань, отделяющую допустимое от преступного. Пауль, вроде бы, на это не возражал.

Как и у многих старых лагерников, у Пауля в женской зоне была возлюбленная, с которой он регулярно переписывался. Иногда ему удавалось организовать с ней свидание, для чего он

давал взятку нарядчику, и тот его включал в ремонтную бригаду, направляемую в женскую зону. Однажды надзиратели перехватили письмо Пауля, и он за нарушение режима отсидел десять суток в штрафном изоляторе. Не прочь Пауль был и выпить, и его однажды задержали со спиртным во время обыска на вахте, что также стоило ему нескольких суток лагерного карцера. Но нарушения режима обычно сходили Паулю с рук, так как в механических мастерских его ценили как опытного и добросовестного работника.

После смерти Сталина из Москвы последовала команда усилить воспитательную работу среди зека. Стали всячески поощрять организацию самодеятельности заключенных. Вечно пьяный инспектор КВЧ, лейтенант Г., усиленно вербовал из числа зека артистов, музыкантов и певцов и готовил с ними программы к государственным праздникам. Одним из первых на его призыв откликнулся Пауль. Он неплохо играл на баяне и быстро стал ведущим музыкантом в кружке самодеятельности. Решили устроить концерт на лагерную тему, и Паулю как опытному журналисту было поручено составить программу и сочинить тексты.

Вечерами Пауль добросовестно работал над репертуаром. Программа была составлена под руководством инспектора КВЧ. До самого концерта тексты сохранялись в тайне, кроме занятых в концерте исполнителей, о них никто не знал. Наконец настал долгожданный день. Не избалованные развлечениями работяги собрались в столовой, где были расставлены деревянные скамьи, и разместились частично на них, частично на полу и подоконниках. На сцене, вокруг бюста Ленина, были развешаны портреты членов Политбюро. Мое неизбывное любопытство заставило и меня отправиться на это зрелище.

После краткого выступления лейтенанта, из которого следовало, что заключенные своей счастливой жизнью обязаны исключительно заботам партии и правительства, последовали концертные номера: трое эстонцев сыграли несколько мелодий на скрипках, четверо украинцев отлично спели несколько народных песен, а один быто-вичок, бывший актер, с большим пафосом прочел какие-то стихи о Ленине.

Но гвоздем программы были назидательные песни на лагерные темы, тексты которых сочинил Пауль на мелодии популярных советских песен. Сам Пауль вышел с баяном на сцену и, повернувшись лицом к бюсту Ленина и портретам членов Политбюро, пропел довольно приятным тенором под аккомпанемент баяна песню собственного сочинения, из которой следовало, что лично он, Пауль, всем, что у него есть, обязан партии и правительству, то есть в зарифмованном виде повторил главный тезис доклада инспектора КВЧ. После этого на сцену один за другим стали выходить певцы. Одни пели о замечательном социалистическом строительстве, в котором самое активное участие принимают заключенные нашего лагпункта, старающиеся выполнять и перевыполнять государственные планы, другие — о необходимости повысить производительность труда. Слушая эти идиотские песни, можно было подумать, что речь в них идет о пламенных энтузиастах, трудящихся сугубо добровольно себе и другим на радость, а не о несчастных заключенных, которых гоняют на одиннадцатичасовой рабочий день под конвоем. Некоторые из певцов бичевали общественные пороки: разоблачали лодырей, отказников и других нарушителей трудовой дисциплины. В песнях рассказывалось о плохих дядях, которые норовят встретиться с возлюбленными, носят в зону спиртное, нарушают правила переписки и совершают другие незаконные действия. Казалось, Пауль, сочиняя эти песни, взялся в них рассказать о своих собственных прегрешениях. Мне запомнился припев к песне об одном бесконвойном, который напился за зоной, был водворен в ШИЗО и законвоирован: Имел я пропуск, гулял повсюду, Отныне больше гулять не буду. За что суровый мне жребий дался? За то, что выпил я и подрался!..

Песню эту хриплым баритоном на ломаном русском языке пел какой-то двадцатипятилетний из прибалтов, которому, если бы он до этого дожил, может быть, удалось бы стать бесконвойным эдак лет через двадцать.

Я ничего не сказал Паулю по поводу его творчества, но все же ему, видимо, было передо мною стыдно, а может быть, стыдно перед самим собой. Когда мы встретились после концерта в бараке, он вдруг взволнованно заговорил, путаясь в словах и запинаясь:

— Вы, конечно, думаете, что эта моя халтура недостойна порядочного человека. Сочинять такое заключенному, сидящему по политической статье, неприлично. Но я— профессионал и всю жизнь работал на заказчика. Каков заказ, такова и продукция. Аморально? Безнравственно? А когда живущие на свободе писатели на все лады прославляют существующий режим и за это получают гонорары и премии, это что, нравственно? Они, что, не знают, что крестьяне живут, как при крепостном праве, не имеют паспортов и работают в колхозах за кусок хлеба, а миллионы ни в чем не повинных людей сидят по тюрьмам и лагерям? Они, что, верят в светлое будущее и в торжество коммунизма? Они — профессионалы и продают свой труд, но делают это по более высоким ставкам, чем я. Так за что же вы упрекаете меня, зека, за то, что я сочинил всю эту галиматью, чтобы хоть немного отдохнуть от опостылевших мне подневольных работ? Вот и следователь, и прокурор меня упрекали: тебе все дала советская власть, а ты пошел на службу к фашистам. А кто меня научил двоемыслию, не эта ли самая власть? А они сами кому служат? Они не знают, что фабрикуют липовые дела? Шолохов, прославивший коллективизацию в «Поднятой целине», не знал, сколько горя она принесла миллионам крестьян? Все-то он понимал и знал, а ведь он— человек свободный. Так чего же тут требовать от человека подневольного?! Вот и у нас тут, в лагере, как я слышал, интеллигент, кандидат наук А., сочинил в честь Сталина поэму, в которой ругал американских империалистов. Там даже строчки такие были: «Дядя Сам и тетя Самка!» Очень остроумно! Но ведь он, бедняга, зека, освободиться через эту поэму мечтал. А писатель Л. Леонов выступил в печати с предложением начать новое летосчисление со дня рождения Сталина! Обласканный властью, на воле выступил!

Мне с трудом удалось вставить слово:

— Но ведь так можно до чего угодно дойти и что угодно оправдать. Где тут грань?

Пауль на меня как-то странно посмотрел и ничего не ответил.

После этого разговора само собой так получилось, что мы с Паулем стали реже общаться. После очередного переселения он оказался в другом бараке, и мы лишь случайно встречались на улице. Поговаривали, что его ночами таскают к оперуполномоченному, а это всегда вызывало у зека подозрения. Как-то я его видел во дворе зоны — он очень похудел и производил впечатление тяжело больного человека. Однажды распространилась странная весть: Пауль, совершенно трезвый, подошел около вахты к сотруднику оперативного отдела и смачно плюнул ему в физиономию. Его арестовали и возбудили против него дело по обвинению в нападении на охрану. В тюрьме он рассказывал сидящему под следствием моему знакомому, что «кум» замучил его ночными вызовами и требованиями сотрудничать с надзором и он совершил свой поступок, чтобы навсегда избавиться от назойливых предложений и угроз.

Я — двадцатипятилетник, — сказал он знакомому, — что они со мной сделают? Расстрелять меня за это не могут, а добавят срок — так ведь и этот я до конца не высижу, помру. Надоело мне танцевать под их дудку, пусть они теперь со мной сами попляшут!

Вот когда, оказывается, и перед Паулем возник непреодолимый рубеж. Немного позже Пауля этапировали в какие-то дальние лагеря, и больше о его судьбе я ничего не слышал.

Настоящего его имени никто не знал, между собой заключенные называли его просто Колхозник. В этом прозвище, возможно, отразилось исконное презрение уголовников к мужикам, по их понятиям, людям тупым и корыстным, в отличие от них самих. Это был человек лет пятидесяти, среднего роста и крепкого телосложения. Он уныло бродил по лагерной и заводской зонам в поношенной и грязной военной гимнастерке, все время что-то выискивая и вынюхивая. Туповатое, с тяжелым подбородком и густыми бровями лицо его выражало одновременно и крайнюю озлобленность, и какую-то затаенную тоску. Казалось, что его голова была все время занята какой-то навязчивой и горькой мыслью, не дававшей ему покоя. Но при этом его маленькие светлосерые глазки зорко и настороженно смотрели вокруг и замечали всякий режимный непорядок. Особое удовольствие он испытывал, охотясь за нарушителями, сумевшими раздобыть спиртное или устроить любовное свидание. Если ему удавалось поймать виновных на месте преступления, обычная угрюмость исчезала с его лица, и он с наслаждением, даже с каким-то садизмом записывал имена провинившихся и добивался для них штрафного изолятора.

Между собой заключенные говорили и о его мелочной жадности, истинной причины которой, разумеется, никто не знал. Он любил заниматься раздачей домашних посылок, так как заключенные обычно совали ему что-либо из присланного. Тогда он оживлялся, глаза его светились откровенной радостью, но, сохраняя престиж, он говорил:

— Ишь грязи-то на столе навалили сколько. Прибрать бы надо!

После этого он тщательно упаковывал доставшуюся ему добычу в заранее припасенный для этой цели мешок.

Уголовники знали о его слабости. Когда он в своих бесконечных поисках нарушителей появлялся на заводе, кто-либо из работяг будто бы невзначай ронял:

— Я там, у сортплощадки, под опилками, бутылку видел. Надо бы подобрать, все же деньги.

— Почто болтаешь лишнее-то, — говорил Колхозник, — давно в ШИЗО не был?!

И хотя надзиратель понимал, что над ним смеются, он не мог удержаться от соблазна, и через несколько минут заключенные со злорадством наблюдали, как он отправлялся по указанному адресу в поисках легендарной бутылки.

Меня Колхозник особенно невзлюбил. Однажды в рабочее время в жилой зоне производился очередной повальный обыск, и, копаясь в моем скудном имуществе на втором этаже барачной вагонки, он наткнулся на станочек безопасной бритвы. Заводские обычно брились на работе, где у меня хранились лезвия, которые мне покупал в поселке один бесконвойный. Найдя станочек, надзиратель, естественно, заподозрил, что где-то спрятано и лезвие, и стал методично осматривать и прощупывать каждую вещь в поисках холодного оружия. Тщательнейшим образом, чуть не выламывая доски, он обследовал все отверстия в нарах вагонки. Он был убежден, что я, старый лагерник, нашел способ спрятать лезвия, и его профессиональная честь опытного следопыта была, видимо, задета. Заключенные, бывшие в бараке во время обыска, мне рассказывали, что он был взбешен и грозился, что посадит меня суток на пятнадцать в ШИЗО, где я стану «тонким, звонким и прозрачным». Но, как известно, не пойман — не вор. Эта неудача его очень обескуражила, он стал за мной особенно внимательно следить и придирался по всякому поводу.

Вскоре произошло еще одно событие. Приближался Новый год, и наша небольшая компания вознамерилась его отметить. Я взялся принести в зону «горючее», ибо полагал, что такого

законопослушного зека, как я, охранники вряд ли заподозрят в попытке нарушить режим. Операция прошла успешно. Один бесконвойный шофер привез мне на завод бутылку водки, и я, затесавшись в колонне между зека, понес ее в зону. У вахты я засунул бутылку в широкий рукав бушлата и, придерживая ее за горлышко и высоко подняв руки, двинулся навстречу обыскивающему. Был очень холодный декабрьский вечер, охранники торопились окончить досмотр и, похлопав меня по животу и спине, прощупав карманы бушлата и проведя ладонями по нижней части брюк, надзиратель пропустил меня в зону.

Вечером, в канун Нового года, мы впятером уселись на нижних нарах вагонки, извлекли, у кого что было из присланного домашними, и заперовали. Инстинкт лагерника подсказал мне, что следует проявить благоразумие. Часа за полтора до наступления Нового года я предложил друзьям распить спиртное. Так мы и сделали, а пустую бутылку выбросили из барака. Примерно без четверти двенадцать, когда мы мирно попивали чай и беседовали, дверь барака распахнулась и вошли, вернее сказать, ворвались надзиратели, причем каждый устремился к какой-либо из сидевших за новогодним застольем компаний. Колхозник ринулся прямо к нам. Он тщательно проверил, из чего состояла наша скромная трапеза, и, хотя по нашему довольному виду догадался, что мы уже угостились, никаких прямых улик против нас найти не сумел. Злобно на меня взглянув и матюкнувшись, он отправился обыскивать дальше, с завистью взирая на своих более удачливых товарищей, сумевших заполучить в другом конце барака ценные трофеи.

В нашем бараке проживал пожилой крестьянин из Западной Украины, с которым я частенько беседовал на разные темы. Звали его Семен. В 1940 году его как кулака и социально чуждого вывезли в Сибирь, а после войны арестовали за антисоветскую агитацию. Семен был человеком примечательным. Природа щедро наделила его тем, что мы обычно именуем здравым смыслом и мягким украинским юмором, столь ценным в тягостном лагерном существовании. Нисколько не идеализируя жизнь в довоенной Польше, он вместе с тем вполне разобрался и в жизни советской, постоянно иронизируя над ее теоретическим обоснованием в виде идеи социального равенства, счастливого будущего при коммунизме и тому подобными, стертыми от частого употребления, бессмысленными понятиями. Он откликался на всякое, самое незначительное событие лагерной жизни, с большим пониманием обобщал его до государственного уровня, и его наблюдения над советской действительностью и суждения о ней всегда были удивительно точны и глубоки. Это был настоящий народный философ-резонер, образ которого донесла до нас русская классическая литература и который почти полностью исчез в послереволюционной России, уцелев лишь на окраинах бывшей империи. Мне всегда было интересно с ним беседовать и выслушивать его суждения на разные темы. В лагере ему помогала жить редкая специальность опытного печника, и начальство широко его использовало для сооружения и ремонта домашних печей.

Как-то на завод не подвезли пиловочника, и начальство соизволило объявить свободный день. Мне предстояло либо валяться на нарах, либо слоняться с утра до вечера по душному барaku. Ни то, ни другое радости не сулило. Я поделился с Семеном своей маятой, и он предложил:

— Есть наряд на ремонт печи у одного вертухая, и, если надзор не воспротивится, я бы взял тебя подсобником. У тебя же пятьдесят восемь, десять, половину срока ты отсидел, и тебя могут выпустить за зону с одним конвоиром.

Ни надзор, ни нарядчик не воспротивились — кого еще нарядчик мог уговорить в свободный день добровольно идти ишачить. К нам приставили солдата, и мы отправились по указанному адресу.

Был зимний морозный, но солнечный день, и я с интересом смотрел по сторонам, шествуя под конвоем по мостовой поселка, который я до этого дня видел лишь один раз несколько лет тому назад, когда нас пригнали в лагерь этапом.

Мы подошли к жалкой развалюхе на окраине поселка и постучали в дверь. Послышалась возня, и на пороге появилась маленькая, растрепанная, одетая в рваную лагерную телогрейку женщина.

— Чего надо-то? — спросила она недружелюбно, с характерным для местных жителей выговором.

— Наряд у меня, печку ремонтировать, — сказал Семен.

Женщина молча повернулась и вошла в дом. Мы последовали за ней, а конвоир остался во дворе поболтать с подвернувшимся приятелем. Весь дом состоял из маленьких сеней и сравнительно обширной комнаты, в углу которой была большая, явно неисправная печь. Она сильно дымила. Представившееся зрелище могло озадачить даже привычного ко всему лагерника. Все имущество семьи состояло из грубо сколоченного, некрашеного стола, двух больших длинных скамеек и колченогого стула. В одну из стен было вбито несколько гвоздей, на которых висели телогрейки и бушлаты явно не первого срока и; несомненно, лагерного происхождения. Посреди комнаты, на полу, копошились четверо детей в возрасте примерно от года до шести лет. Повсюду валялись их игрушки. Это были всевозможные конфискованные у лагерников при обысках изделия: обрывки самодельных игральные карты, какие-то ножики и колечки из металла, изготовлявшиеся в большом количестве лагерными умельцами для хозяйственных нужд и в качестве украшений, косточки домино и несколько шахматных фигур, скорее всего, позаимствованных из КВЧ. Одеты дети были в какие-то отрепья, а самый маленький и вовсе ползал голышом. Но что повергло меня в крайнее изумление, так это вид главы семьи — нашего Колхозника, сидевшего, покачиваясь, на трехногом стуле. Рядом с ним, на столе, стояла початая бутылка водки. Колхозник уже изрядно поднабрался, но еще не совсем опьянел. Он уставился на нас каким-то мрачным, отрешенным взглядом, видимо, пытаюсь вспомнить, где нас видел.

Между тем Семен быстро осмотрел печь и вынес заключение:

— Никуда не годится, надо все переложить.

Мы принялись за работу. Я выносил на улицу обломки старых кирпичей, приносил новые, подготавливал раствор — словом, делал все, что мне указывал Семен.

Пока мы работали, надзиратель то и дело приглядывался к бутылке и к середине дня был, как говорится, хорош. Нас он наконец признал и даже назвал меня по фамилии. К этому времени хозяйка вскипятила у соседки воду, наварила целый чугунок картошки, и семейство село обедать. Нас, неприкасаемых, хозяйка, разумеется, угощать не собиралась и к столу не пригласила.

Мы также вытащили захваченные из зоны пайки и другие припасы. У Семена было полученное из деревни от родных крестьянское сало, а у меня — кусок колбасы и несколько дешевых карамелек — остаток присланной отцом посылки месячной давности. Когда я развязывал свой мешочек, четверо отпрысков семейства смотрели на меня такими жадными, ищущими глазами, что мне ничего не оставалось, как поделиться с ними колбасой и дать каждому по конфете. То же сделал и Семен, за что мы получили от хозяйки в дар по горячей картофелине.

Поев, мой общительный спутник вступил с хозяином в беседу.

— Ты, что ж, из крестьян будешь? — спросил он. |— Да-а-а, — как-то неуверенно промычал надзиратель.

— А чего ж в вольнонаемные надзиратели пошел, не крестьянствуешь? Из-за денег, что ли? И живешь так бедно и грязно. Даже огорода не развел и свиней не держишь. Небось, все

пьешь? Вот и стул починить не можешь, того и гляди на пол свалишься. И вешалку сколотить не сумел, на гвоздях одежда висит.

Колхозник отвечал вяло, нехотя, с трудом ворочая языком. Его уже крепко разобрало, лицо приняло странное, словно сомнамбулическое выражение, и он, более не слушая вопросов собеседника, стал произносить свой пьяный исповедальный монолог, который я попытаюсь воспроизвести более или менее точно.

— Все вы талдычите: «Из-за денег, из-за денег служить пошел». А что я сделать мог? Отец пономарем в деревне служил. Жили в достатке. Пошло раскулачивание. Рядом лагерь открыли. Меня опер вызвал, говорит: «Ты из кулаков, служителей культа, чуждый элемент!» Я: «Нет, нет!» А он: «Ты должен доказать верность нашему строю. Пойдешь к нам в лагерь надзирателем. Будешь обо всем, что услышишь, мне лично докладывать». Я и пошел. Поначалу не очень-то старался. Да вышел случай. Земляк в лагере был, наш, вологодский. Все разное говорил, больше про колхозы, а я помалкивал. Вызывает меня опер опять. «Ты что ж, мать твою так, советскую власть обманываешь? Мужик антисоветчину прет, а ты молчишь, покрываешь! Мы ж тебя, болвана, проверяли, он же наш человек. Еще раз поймаю— пеняй на себя!» Не верю я больше вашему брату зека. Любой продаст. Вот уже скоро двадцать лет, как служу. Всю войну в надзирателях проходил, врагов народа стерег. Все вы гады, ненавижу я вас.

Колхозник все больше хмелел, полились пьяные слезы. Речь его стала совсем бессвязной, и, положив голову на стол, он заснул. Мы еще часа полтора поработали, пока уставший от безделья конвоир не погнал нас в зону. По дороге Семен резонерствовал:

— Выхода у него не было, служить пошел. Ишь ты! Эти шкуры всегда так оправдываются. Бога у них нет. Заставили его! Не признаю я этого. Меня сколько раз вербовали, в дятлы хотели записать, стукачом сделать. У нас в Львовской области каждого второго вербуют. А этот честного труда испугался. С нашим братом, зека, зверует, совести нет. Его, видите ли, заключенный предал! И что он со своего надзирательства поимел — живет хуже собаки!

Слегка помолчав, Семен добавил:

— А так подумать, всем плохо, и зека, и стражникам.

— Ну, разница, положим, есть, — робко вставил я.

— Нет разницы, — отрезал мой философ, — при этом строе все заключенные. Мы все шагаем под конвоем. На всех печать Каинова!

На следующий день Колхозник во время работы появился на лесобирже. Он внимательно на меня посмотрел, явно стараясь что-то вспомнить. Чувствовал, что накануне сболтнул лишнее, но что именно, видимо, вспомнить не мог. Он подозвал меня:

— Ну ты, того, что я вчера по пьянке говорил, о том молчок. А то сам знаешь... Тебе, зека, все равно не поверят, — просительно и вместе с тем с угрозой в голосе сказал он.

— Да я и не помню, что вы там вчера говорили, — успокоил его я.

— То-то же, не помнишь, — согласился со мной надзиратель. У него был вид затравленного и усталого человека. Больше он ко мне не цеплялся и, казалось, меня избегал.

Я укладываю доски в штабель. Рубашка моя на спине, под телогрейкой, намочла от пота, хотя на дворе стоит зимняя архангельская стужа, и я ритмично, чисто механически, снимаю с саней все новые опостылевшие доски и толкаю их наверх. При этом мои мысли витают далеко за пределами лагерной зоны. Курсирующий между лесоцехом и лесобиржей лесовоз доставляет мне вагонку — доски, предназначенные для сооружения железнодорожных вагонов, и я уже достаточно опытен, чтобы отличать их от всяких других пиломатериалов. Но я — лагерник, труд мой — подневольный, качество работы и ее смысл меня не волнуют, и когда лесовозник по ошибке подбрасывает к моему рабочему месту доски, не подлежащие воздушной сушке, я все равно спешу уложить их в штабель — лишь бы набрать кубатуру и выполнить норму.

Неожиданно хриплый женский голос с характерным северным произношением прерывает поток моих невеселых мыслей и возвращает меня к реальной действительности.

— Почто в вагонку-то обычные пилообрезные лежишь, почто сорта мешаешь!

Я оборачиваюсь и вижу невысокую женщину лет сорока, с хозяйственной сумкой в руках, в старом поношенном пальто и кокетливо надетом набор беретом.

Ее помятое лицо похоже на печеное яблоко, а маленькие, невыразительные серо-голубые глазки смотрят на меня внимательно и даже пронзительно. «Вольняшка, — мелькает у меня в сознании, — верно, какой-нибудь чин из заводской администрации».

— Что привозят мне, то и штабелюю, — угрюмо бормочу я.

— Вот я пойду, бригадиру втык сделаю, небось, гад спит в курилке, мышей не ловит!

Подобный оборот дела меня не устраивает. Бригадир прекрасно знает, что я разбираюсь в пиломатериалах, верит мне, и за пересортицу будет мне нагоняй, да и бригадира подводить не хочется. Чертыхаясь, залезаю на штабель, скидываю одни доски и заменяю другими.

В перерыв в курилке работяги рассказывают историю этой женщины. Надежда Васильевна — главный бракер завода — состоит в этой должности уже много лет. Мужа у нее не было и нет, но есть семилетний сын. Хотя пользы от нее мало, ее все же держат на работе. Она, по-видимому, докладывает в управление обо всем, что творится на заводе, но зека ее за это не осуждают, потому что она стучит не на них, а на заводское начальство. Вообще же, она баба хорошая, добрая, как говорят работяги, ходовая, и многих зека она облагодетельствовала своим женским вниманием.

Со временем я стал бракером лесобиржи и, таким образом, попал в некоторую зависимость от Надежды Васильевны, или Надьки, как ее на заводе все называли. Она часто навещала меня на лесобиржу, давая мне различные ЦУ, и вскоре прониклась ко мне особым доверием. Подобно римским матронам, не считавшим рабов за людей и ходившим в присутствии слуг голыми, Надька с наивной откровенностью посвящала меня в свои интимные дела. Поскольку меня, зека, она человеком не числила, я считал себя вправе, в свою очередь, смотреть на нее глазами естествоиспытателя и изучать ее как особый вид советско-лагерной людской породы.

— Вообще-то я — некрасивая, знаю это, — говорила она. — Но в лагере баб нет, вот мужики ко мне и липнут. А как попробуют — не могут оторваться. Я уж как дам, так дам. Не то что ваши столичные птахи. Сладости в них нет, хоть и слабаки они на передок. Видела я их. Ты не смотри, что я худая, силенка во мне есть. С детских лет я приучена к труду, все с лесом

вожусь. Ездил я прошлым годом на курорт в Сочи, путевку мне дали, насмотрелась. Кому я там нужна, там красотки ходят о-го-го какие. Не понравилось мне на юге, люблю я наш север. Люди здесь хорошие, простые. Тут я королева, на кого глаз положу, тот и мой. Сама выбираю.

Надзиратели смотрели на похождения Надьки сквозь пальцы, ограничиваясь ядовитыми шуточками в ее адрес. В какой-то мере она была им нужна как надежный соглядатай, а в какой-то мере одинокая, неприкаянная землячка вызывала у них сочувствие. Надька не таилась, считала себя женщиной честной и порядочной хотя бы уже потому, что всякий раз свято блюла верность очередному возлюбленному. Обычно она выбирала себе молодых, красивых парней из уголовников. Ее партнеры также тайны из своих любовных связей не делали. Помню, как один блатнячок почти ежедневно бегал к нам на лесобиржу в поисках заначки для свидания с нею.

— Надоел мне Колька своими заначками, — доверительно говорила мне Надька, — как приспичит, так зовет. Вроде я у него раба. Совсем обнаглел. Проучить его следует, погоню я его.

— Что это вы, Надежда Васильевна, так часто меняете своих возлюбленных, — спросил как-то я, — верность долго не храните?

— А что им, паскудам, верность-то хранить? Сегодня, пока он в лагере, я ему дорога и любима, а завтра освободится, уедет и забудет. На воле баб навалом. А по мне — пусть катится. Хоть день, да мой, — отвечала Надька.

Особенно ценила Надька острые ситуации. Однажды при мне на лесобиржу прибежал один из ее ухажеров, бесконвойник, сидевший за какие-то хищения в армии, и устроил ей сцену ревности. Весь дергаясь от возмущения и злобы, он кричал:

— С кем ты вчера на станции стояла, сука? Думаешь, я не знаю о твоём блядстве? Тварь позорная. Гад буду, прирежу тебя.

Надька ничуть не обиделась и только загадочно улыбалась. В ее бесцветных глазках появились озорные огоньки. Она явно была польщена и даже как-то преобразилась и похорошела. Присутствовавших Надька ничуть не стеснялась, интерес свидетелей к происходящему лишь тешил ее женское тщеславие.

Как-то зимой в конторе лесозавода появился молодой экономист, парень лет двадцати восьми-тридцати, некий Леша, сидевший по пятьдесят восьмой статье по обвинению в измене родине. По его словам, он был со специальным заданием заброшен к немцам в тыл, но вскоре понял, что выполнить это задание не сумеет. Тогда он нанялся батраком к богатой немецкой фермерше, а потом стал ее сожителем. Когда в конце 1944 года советские войска пришли в Германию, его арестовали и он получил обычную для того времени десятку. Позднее по подобным делам трибуналы давали двадцатипятилетний срок.

До войны Леша где-то учился, с детства довольно прилично знал немецкий язык, был начитан, внешне привлекателен, вежлив и сдержан. К моменту появления на лесозаводе он уже отсидел около восьми лет и был расконвоирован. Ходили слухи, что он был связан с лагерным оперуполномоченным. Впрочем, такие слухи часто распространялись в зоне без всяких на то оснований.

Надька сразу положила на Лешу глаз. Принарядившись, она зачастила в заводскую контору, чтобы поговорить с Лешей как бы по работе. Леша отвечал на ее вопросы учтиво и сдержанно, но на ее женские уловки не реагировал. Это еще больше подогрело интерес Надьки к молодому человеку, на этот раз она крепко попалась. Однако ни манящие улыбки Надьки, ни попытки заговорить с Лешей без свидетелей в коридорах конторы или на улице,

ни все прочие средства примитивного женского кокетства успеха ей не принесли, и тогда она решила перейти к более активным действиям. Воспользовавшись классическим примером, она написала Леше письмо, которое он доверительно мне показал. В нем было все, что в таких случаях полагается: и пылкие любовные признания, и откровенные обещания. Со множеством стилистических красот соперничало множество грамматических ошибок.

Леша сдался, и свидание состоялось. Надька немедленно дала отставку предыдущему поклоннику, дабы, как она говорила, «соблюсти себя в своих чувствах». Поскольку Леша был бесконвойным, возлюбленные имели возможность встречаться за зоной в одиноком домике Надьки, где Лешу всегда ожидало угощение. Словом, у Надьки началось подобие семейной жизни, она расцвела, похорошела и стала с особой тщательностью следить за своей внешностью. После первых свиданий она заявила со счастливой улыбкой: «Я Леше все чувства отдала, ничего не пожалела!»

Но Надькино счастье продолжалось недолго. По должности Леша имел возможность разъезжать по всей многокилометровой лагерной железнодорожной ветке, бывать на женских ОЛПах и заводить знакомства. У него появились новые дамы сердца, и Надька, заходя на лесобиржу, горько жаловалась на его неверность:

— И чего ему еще надо?! Какую я ему, зека, жизнь создаю, как в раю живет, кормлю его, обстирываю и обшиваю, а он не ценит!

Однажды Надька застала Лешу в поселке с какой-то бесконвойницей, и разыгралась отвратительная сцена с грубой лагерной руганью, взаимными оскорблениями и угрозами. В бешенстве Леша кричал, что Надька сама напросилась к нему в любовницы и вешалась ему на идею, что связался он с ней лишь из жалости к ее одинокой доле и что такая страхолюдина, как Надька, ему и вовсе не нужна. Разумеется, Надька в долгу не оставалась. Многолетнее общение с лагерным миром сильно обогатило ее лексику. Присутствовавшие при этом зека потешались над Надькой и отпускали в ее адрес циничные шутки. Оскорбленная, она затаила злобу.

Донесение Надьки оперуполномоченному о сомнительных политических разговорах, которые, возможно, и на самом деле вел с ней Леша, получило ход. Лешу немедленно законвоировали, чуть не каждую ночь его тягали на допросы, а однажды после допроса его отправили в следственный изолятор.

— Не миновать Лешке нового червонца, — говорили зека, — а может, он и по старому делу четвертной огребет.

От нового срока Лешу, как и многих других людей, спасли непредвиденные обстоятельства. В 1953 году, после смерти Сталина и ареста Бериин, дело Леша было прекращено, и его возвратили в зону. А вскоре из Москвы пришло новое решение по делу Леша времен войны. С него было снято обвинение в военном преступлении, он вышел на свободу и уехал. Понемногу все стали о нем забывать. Постоянно нарушавшую правила режима Надьку начальство, наконец, решило выгнать с завода, и она нашла себе работу где-то в управлении.

Прошел еще год. Как-то летом я, уже расконвоированный, отправился по делам в поселок и неожиданно встретил Лешу. За последний год он сильно изменился, постарел и выглядел усталым и подавленным.

— Ты что здесь делаешь? — с удивлением спросил я. — Ты разве не уехал?

Какая-то жалкая, растерянная улыбка появилась на лице Леша.

— Да нет, — забормотал он, — я уезжал и вот вернулся. Прописался было в родном городе,

на работу поступил экономистом, как в лагере, и даже, вроде, как бы женился. Все равно прижиться там не сумел, чужое мне все на воле, лагерь забыть не могу. Жена меня не понимает, тянет все время куда-то — то в гости, то развлечься, а мне всего этого не надо. Покоя хочется. Прийти после работы домой, полежать, почитать. А как я стану что-либо из прошлой жизни рассказывать, она зевать начинает и говорит: «Ну, ладно пустое травить, пойдем лучше в кино или спать». Неинтересно ей все это. Может быть, она по-своему и права. Тут я Надьку и вспомнил. Она все же наша, лагерная. Хоть сама и не сидела, нашего брата понимает. Вот я и приехал, у нее живу. Очень она мне обрадовалась. Пока не работаю, но кое-что мне здесь обещали. Решил остаться.

— Но она же тебя хотела в тюрьму упечь, донесла на тебя! — вскричал я. — Ты ей, выходит, все простил? Леша тяжело вздохнул.

— Время было такое, да и я перед ней виноват был. Что было, то было. Чего уж тут прошлое ворошить. Может, зайдешь, — вдруг предложил он, — мы ведь здесь рядом живем?

Меня одолело любопытство, и захотелось взглянуть на Надьку в этой новой ситуации. И хотя нашему брату, заключенному, заходить в дома вольных запрещалось, я соблазнился.

Домик на окраине поселка явно был недавно отремонтирован и имел сравнительно пристойный, даже веселый вид.

— Надя все сама, своими руками сделала, — не без гордости сообщил мне Леша.

Надька встретила меня как родного, усадила за стол и начала угощать. Она тоже сильно изменилась за прошедший год, куда-то исчез налет лагерного вульгарного цинизма, и появилось выражение грустной серьезности. Мне показалось, что даже речь ее изменилась, стала не то чтобы более правильной и пристойной, но какой-то другой, не лагерной. Она принялась расспрашивать меня о моих домашних делах, спросила, когда освобождаюсь, и сокрушалась о моей судьбе, чего на заводской лесобир-же ей и в голову не пришло бы делать. По-матерински заботливо она подала Леше умыться, о чем-то его спросила, накормила.

Когда Леша на минуту вышел из комнаты, она сказала, как бы оправдываясь:

— Виновата я перед Лешей, из-за меня парень в тюрьму на новый срок чуть не угодил. Очень уж я на него тогда обиделась и рассердилась. Глупая я раньше была, распутничала, не встретился мне тогда мой милый. Все теперь пойдет по-новому. Со мной он не пропадет, я о нем позабочусь.

Надька помолчала, улыбнулась и неожиданно с чувством произнесла явно услышанные от Леша и странно звучащие в ее устах, несколько высокопарные слова:

— Мы ведь две души одинокие в этом скорбном мире!

Земеля

— Привет с Покровки!

Я вздрогнул и оглянулся. Нас только что пригнали с работы, и я крутился около столовой, ожидая, когда нашу бригаду впустят на ужин. Передо мной стоял молодой паренек, почти подросток, на вид лет шестнадцати, невысокого роста, и улыбался. Его пухлое, румяное, с растянутым в широкой улыбке ртом лицо казалось еще совсем детским.

— Ты, что, меня знаешь? — недоверчиво, с подозрением спросил я.

— Так мы же в одном доме, у Покровских ворот, живем. Дом семнадцать. Ты в двенадцатой квартире, с большим коридором, вход с улицы, с Покровки, а я во дворе, на галерее, на втором этаже. Славка я. Шустриков, что, не узнаешь? Я тебя хорошо помню, ты военным был, офицером. Вот ведь как получилось!

Парень весь сиял, радуясь неожиданной встрече в лагере со знакомым по воле человеком.

Я наконец сообразил, что это за парень. Мать Славы работала в домоуправлении не то счетоводом, не то бухгалтером, я неоднократно видел ее во дворе нашего дома, а когда, еще до войны, пару раз забегал в контору по делам, видел и мальчонку лет пяти, который крутился около нее и с любопытством меня разглядывал. Помню еще, что паренька во дворе мальчишки почему-то звали Зикой. Видел не раз и отца Славика, который позднее погиб на войне. У Славика был еще и брат постарше. Это была тихая и мирная, добропорядочная семья.

— Давно ты в лагере?

— Да вот шесть месяцев прошло. Осенью меня замели. Я сперва в колонию попал. Пошумели мы там. Один вольнонаемный надзиратель зверем был. Придирался, а иногда и бил на вахте. Мы его как-то подловили, одеялом накрыли и поддали ему хорошенько. Мусора набежали, а нас в ШИЗО. Следователь искал зачинщика, говорил: «Ты парень образованный, москвич, выходит, заводилой был». Судили. Мне срок добавили и сюда прислали.

Парень все это рассказывал весело, не без гордости, видно, он рассматривал все случившееся как забавное приключение.

— А где ты работаешь, в какой бригаде?

— Да я только второй день как здесь. Нарядчик сказал, что на моем деле написано — выводить только с режимной бригадой. Посмотрю, что за режим.

— А за что тебя посадили?

— Помнишь, во дворе подвал был. Мы с приятелем замок сбили и залезли. Интересно было, что там хранится. Рухлядь нашли всякую. Ничего мы не взяли, да и не собирались. Кто-то во дворе стукнул, и нам дали по два года.

Тут я вспомнил свое детство. Во дворе нашего старого дома, построенного еще в прошлом столетии по проекту архитектора Стасова в качестве гостиницы и объявленного после войны памятником архитектуры, был большой подвал. Я частенько заглядывал в него через замочную скважину и рассматривал глиняные черепки и куски битого стекла, отражавшие просачивавшийся в подвал свет и казавшиеся мне сокровищами, подобно кладам из бесчисленных, проглоченных мною приключенческих романов. Меня и самого не раз подмывало как-нибудь проникнуть в подвал, но, видимо, не хватило для этого смелости.

Мне очень хотелось расспросить парня о своих родителях, мы сели на ступеньки барака и закурили.

— Как же, как же, батю твоего видел много раз, — рассказывал Славик. — Ходит хмурый, ростом вроде поменьше стал. Понятно, единственного сына забрали. Во дворе много

разговоров было, когда тебя посадили. Дворничиха рассказывала, что была понятой и видела, как вынесли целый мешок с бумагами. По ее словам, ты крупным шпионом был. Ну, а мать знала тебя еще ребенком и говорила, что все это брехня, что, небось, сказал ты чего лишнего. Она в этих делах понимает. Дядю моего, ее брата, комбрига, в тридцать седьмом арестовали и с концами. Идеальный был, коммунист.

На следующий день я парня на разводе не встретил, видно, его поздно вечером забрали на этап.

Года через два, как-то зимой, я пробежал по двору зоны, торопясь поскорее укрыться в бараке от холодного ветра, когда меня кто-то окликнул:

— Привет, земля!

Это был Славик. Он сильно изменился, вырос почти на целую голову и похудел. От былых пухлых щек не осталось и следа, черты лица обострились, и, хотя парню было всего около девятнадцати лет, на лбу его появились морщины. Он заговорил скороговоркой, все время озираясь по сторонам, словно чего-то боялся. Свою довольно бессвязную речь он густо пересыпал матерными словами и, казалось, старался создать впечатление, что ему «море по колено». Но на мой, уже привыкший к лагерному сквернословью слух, в его потугах изобразить из себя отпетого блатного улавливалась какая-то фальшь. Новая роль ему явно не давалась. Смешно и грустно было наблюдать его усилия покрасоваться передо мной в роли прожженного лагерного волка. Но, может быть, мне так показалось, потому что я все еще видел в нем домашнего мальчика Славика, державшегося за юбку матери и выглядывавшего из-за ее спины в конторе нашего московского дома.

— Сняли с меня режим, — говорил Славик, — отправят теперь в лесорубную бригаду на четырнадцатый. Там друзья есть, помогут. Упереться рогами не стану, так, у костра посижу. Пусть посмеет кто что сказать! — слегка шепелявя, с интонацией матерого бандита скороговоркой бормотал он.

Я случайно знал от друзей обстановку на четырнадцатом лесоповальном ОЛПе. Когда я был в карантине, в лагерь привозили целые этапы рецидивистов и осужденных судом за разные лагерные преступления и отправляли дальше, в глубинку. Для этого предназначался именно четырнадцатый ОЛП. Там недавно была большая резня, вновь прибывший этап блатных выяснял отношения со ссученными, и несколько жертв этого разбирательства привезли на наш лагпункт в госпиталь. Поэтому я слушал речи Славика скептически, но возражать не стал.

— Ну, а от матери что-нибудь получал? — спросил я, чтобы переменить тему.

Тень пробежала по лицу Славика, он как-то сразу скис, видно, слова мои задели за живое.

— Приезжала на свидание, но мне в свидании отказали. Режимник. Мать дошла до самого Карабицына. Упросила. Дали всего два часа, все время плакала.

Говоря о свидании с матерью, Славик преобразился, он перестал шепелявить и сквернословить. И, казалось, обрел облик обычного мальчика из порядочной семьи.

Вечером с этапом Славика отправили на четырнадцатый ОЛП.

В нашей зоне, в лагерном госпитале, работал статистиком мой друг, милый старик Семен Петрович Гальченко, сидевший за «украинский национализм». В 1918 году молодым человеком он посещал в Киеве кружок по изучению украинской культуры, знатоком и любителем которой был всю жизнь. Уж я и не знаю, как в МГБ в 1950 году докопались до этого «ужасного преступника». Мерзавец-следователь непрерывно оскорблял его, называя

«бандеровской сукой», хотя последние сорок лет Семен Петрович прожил в Москве и всю войну проработал экономистом в военном ведомстве. Как-то, встретив меня в зоне, Семен Петрович сказал:

— Твоего земелю Славика привезли с четырнадцатого. Саморуб. Отхватил себе топором кисть руки. Истекал кровью. Едва спасли. Начальник санчасти сказал, что после операции его отправят в поселок, в тюрьму. Будут судить за умышленное нанесение себе увечья.

Я побежал в госпиталь. Медбрат долго не пускал меня к Славке, ссылаясь на строгий запрет, но полпачки махорки сделали свое дело, и мне разрешили ненадолго войти в палату.

Славка лежал на койке неподвижно, уставившись в потолок, и как будто не был ни удивлен, ни обрадован моим появлением. Рука его была плотно перевязана, а на поверхности бинта были видны следы свежей, просачивавшейся крови.

— Земеля, — прошептал Славик.

— Когда тебя привезли? — спросил я.

— Третьего дня, кажется, не помню.

— Болит?

— Болело, сейчас нет.

— Но зачем же ты так? — бестактно и ни к месту спросил я.

Славка горько усмехнулся и ничего не ответил. Тут пришел медбрат и сказал, что врач-вольняшка делает обход и, если я не уберусь, у него будут неприятности. Я поднялся, но Славка сделал мне знак здоровой рукой. Я наклонился к нему, и он тихо, с усилием спросил:

— А что, говорят, после того, как меня засудят, опять на четырнадцатый отправят?

При этом на лице его выразился такой неподдельный ужас, что мне стало не по себе.

Через день я снова посетил Славку. На этот раз дежурил другой санитар, и мне удалось пробраться в палату без особого труда. Славка был в состоянии говорить и поведал мне свою грустную историю:

— Привезли меня на четырнадцатый и сунули в бригаду рецидива. Бригадир — ссучившийся блатной, а вокруг его дружки-прихлебатели. Не работают, а что мы напилим — им записывают. Кто норму не дает — бьют. Посылку от матери получил, едва до барака дошел — отняли. Я дурной был, думал, помогут мне. Пожаловался. Вызвал меня опер, вежливенько так поговорил со мной, расспросил о доме, о матери. А потом говорит: «Ты, я вижу, парень умный, правильно все понимаешь. Переведу тебя на хорошую работу — инструменты выдавать, пилы затачивать. Но ты уж и нам послужи. Будешь мне рассказывать, что в зоне делается, какие разговоры слышал, кто там в побег собирается». Я отказался, сказал, не могу. А он: «Ну не хочешь — пеняй на себя!» И отправил меня в ту же бригаду. А на следующую ночь опять вызвал, а через неделю еще раз. Тут в бригаде заговорили, что не зря меня к оперу по ночам водят, что стукач я. Мне еще горше стало. Придираются, бьют. Житья вовсе не стало. Понял я, что забьют меня до смерти. А тут еще такой случай был. Штабелевали мы березовый лес — вагонов под погрузку не дали. Штабель высокий был. Я внизу стоял. Один парень слегка ногой кругляк толкнул, я еще увернуться успел, а то перебил бы позвоночник. Вот я и не выдержал. Положил руку на пенек да как жахнул топором. Дальше ничего не помню. Пришел в себя, когда сюда привезли. Что теперь будет, не знаю. Наверное, новый срок дадут. Но лес пилить уже не пошлют. Мне здесь, в госпитале, ребята говорили,

что таких отправляют на инвалидный. На другой день Славку куда-то увезли.

В конце шестидесятых годов я уже не жил у Покровских ворот, но частенько забегал на старую квартиру навестить отца. И однажды, проходя по двору дома, нос к носу столкнулся с пожилым на вид, высоким и худым человеком. Левая кисть, одетая в черную перчатку, высовывалась из-под рукава его куртки. Я не то чтобы узнал, скорее угадал.

— Слава, земля, ты ли это?

Тупо глядя на меня, словно не узнав, Слава пробормотал слова приветствия.

— Как ты живешь? — глядя на его руку, смущенно спросил я.

— Да вот так и живу, — нехотя ответил Слава, — комиссовали недавно, пенсию по инвалидности назначили. Да пенсия-то грошовая. У меня ведь стажа никакого нет, весь стаж — лагерь, не считается.

— А как мать?

— Прошлым летом померла.

— Ты, что ж, в той же квартире живешь? — не к месту спросил я.

— Да, там. Братеня, помнишь его, сука, выписал, когда меня забрали. Так что на птичьих правах живу. Правда, сейчас не гонит. А в милиции мать хорошо помнят, не придираются. Видно, знают все, что я не жилец на свете. Уделал меня лагерь. Курить есть? — неожиданно прервал он свою речь.

— Не курю я, бросил после лагеря, — смущенно сказал я.

— Ну, правильно, жить будешь.

Неожиданно Славик повернулся и, не простившись и не оглядываясь, зашагал прочь, словно хотел поскорее убежать от своего прошлого.

Противостояние

Одно из самых драматических воспоминаний о моем лагерном бытии связано с забастовкой, вспыхнувшей в нашем Каргопольском лагере суровой зимой 1953–1954 годов. Повествуя о восстаниях заключенных в Джезказгане и других лагерях, А. И. Солженицын упомянул и о событиях в Каргопольлаге, назвав их «заварушкой поменьше». Это событие действительно нельзя назвать восстанием в точном смысле слова, но, несомненно, оно было одним из случаев массового неповиновения властям, охватившего в этот период многие острова лагерного Архипелага.

Произошло это после, а в какой-то мере и вследствие бериевской амнистии уголовникам, существенно изменившей соотношение сил в нашей зоне. Часть уголовников освободилась, и администрация вынуждена была заменить их на производстве политическими, до того отбывавшими свой двадцатипятилетний срок на отдаленных лесоповальных ОЛПах, а сейчас перевезенных к нам. Ныне политики— двадцатипятилетники, осужденные в основном «за

измену родине», и десятилетники, осужденные за антисоветскую агитацию, — оказались на нашем ОЛПе в большинстве.

На первых порах прибытие этапа из глубинки мало что изменило в жизни лагеря. Как и прежде, ни собственность зека, ни их личность не были ограждены от непрерывных домогательств уголовников, случаи насилия и грабежей были обычным явлением, а на кухне повара в первую очередь обслуживали блатную элиту.

Как и всякое значительное событие, наша забастовка началась очень буднично. Трудно установить, кому первому пришла в голову мысль, что было бы неплохо избавиться от произвола уголовников, вероятно, идея эта витала в воздухе. Как и в других лагерях в этот период, инициатива здесь принадлежала заключенным из Прибалтики, в первую очередь эстонцам, которые сразу же взяли дело в свои руки. Хотя представители различных национальных групп были в лагере предусмотрительно перемешаны, разбросаны по бригадам и по баракам, тем не менее земляческие связи существовали и были довольно прочными, особенно среди латышей, эстонцев и литовцев, в значительной мере отделенных от остальной массы зека языковым барьером. В их среде еще жила память о независимом национальном существовании до начала второй мировой войны и о традициях политической борьбы в условиях буржуазной республики.

Эстонцы, литовцы и латыши договорились между собой и наметили план действий. Однажды, когда я, десятник на лесобирже, зашел по делу в контору завода, бухгалтер, литовец Строгание, в прошлом офицер Генерального штаба литовской армии, как бы между делом спросил меня:

— Фильштинский, мы тут собираемся после конца работы задержаться, откажемся идти в зону и потребуем, чтобы администрация убрала уголовников. Как вы к этому относитесь?

Я сразу сообразил, что к чему, и согласился.

На нашем лагпункте собралось человек двадцать из московской и ленинградской интеллигенции. Двое моих друзей-москвичей работали на электростанции. Оба — Ф., студент МГУ, и К., военный летчик, подполковник, служивший в Главном штабе авиации, — сидели по статье пятьдесят восемь, десять. Я отправился к ним, чтобы предупредить о готовящейся акции, которую они, разумеется, одобрили. И, когда в шесть часов вечера раздался гудок съема, все без исключения политические и некоторые бытовики не вышли на вахту, а остались на рабочих местах, работавшие же на заводе уголовники ринулись к вахте, где их подхватил и увел в зону конвой. Я помню, как один из них, забыв свой обычный гонор, истерически кричал: «Я не хочу бунтовать против советской власти!» — и просил поскорее увести его с завода. Кто-то из зека-активистов позвонил на вахту и сообщил администрации о наших требованиях. Но лагерное начальство немедленно ответило на них своими мерами. Огромную территорию завода окружила усиленная охрана со множеством овчарок, на вышках появились нацеленные в зону пулеметы, словом, готовились к решению возникшей проблемы с позиции силы.

Однако обе стороны старались вести себя сдержанно. Заключенные не хотели давать администрации лагеря повода для активных действий, а начальство, радея о плане и о премиях за его выполнение, побаивалось прекращения работы. Поэтому в семь часов вечера, как положено, конвой привел на завод еще полторы сотни рабочих ночной смены лесоцеха, которые стали к рабочим местам, а дневная смена разбрелась по заводской территории в поисках места для ночлега. Таким образом, в нашем полку прибыло. В маленькой курилке лесобиржи дневальный жарко натопил небольшую печурку, и зека улеглись на полу, плотно прижавшись друг к другу, так что между телами почти не осталось прохода.

Я вышел на мороз и, добравшись до заводской конторы, где работали мои знакомые, составил из конторских стульев нечто вроде ложа, накрыл его старыми папками, положил под голову бушлат и попытался заснуть. Но вскоре мою чуткую дремоту нарушил чей-то голос:

— Фильштинский, ты не спишь?

— Нет.

— Тебе не страшно?

Я открыл глаза и поднял голову. Рядом стоял инженер С., работавший на заводе конструктором. Как и я, он был осужден по пятьдесят восьмой статье. Мы были едва знакомы. Видно, ему хотелось с кем-то разделить свою тревогу. Я попытался, как мог, успокоить его и убедить, что все кончится благополучно, хотя в душе и сам не был в этом уверен. Мне было хорошо известно о том, как в других лагерях расправлялись с подобного рода выступлениями зека.

Между тем события шли своим чередом. На следующее утро ночная смена отказалась возвращаться в жилую зону и осталась на заводе, а в семь часов, как положено, рабочие дневной смены, невыспавшиеся и голодные, приступили к работе. Заключенные по-прежнему старались не давать начальству повода для каких-либо крайних действий. Часов в двенадцать дня был объявлен перерыв, и на завод пожаловал сам начальник Каргопольлага полковник Карабицын, прибывший с огромной свитой. В прошлом солдат конвойной охраны и надзиратель, он за многие годы честной службы достиг высокой должности и теперь был не только полномочным хозяином над душами и телами многих тысяч заключенных, но и генерал-губернатором над всеми вольными жителями района. Сцена переговоров выглядела внушительно: по одну сторону запретки толпой стояли зека-бунтовщики, по другую, взгромоздившись на наскоро сооруженный помост, возвышался Карабицын, требовавший, чтобы мы немедленно прекратили нарушать режим и подчинились администрации. В ответ ему было предъявлено наше условие: уголовный элемент должен быть удален из жилой зоны.

Надо сказать, что спектакль, хоть и без всякой предварительной репетиции, был разыгран великолепно. Никто из заключенных не солировал, говорили все вместе, но не одновременно, а ловко сменяя друг друга, без интервалов. Особенно интересно было слушать заключенных из Прибалтики, выражавших наши общие претензии на ломаном русском языке. Карабицын и его спутники так и рыскали по толпе глазами, пытаясь обнаружить зачинщиков, но выявить главарей было невозможно. Между тем Карабицын угрожал. Никакого снисхождения бунтовщикам не будет, мы должны подчиниться, а потом начальство само разберется с уголовниками. Однако заключенные твердо стояли на своем:

«Блатные нас грабят, мы с ними в одной зоне жить не согласны». Тут же, как бы вскользь, было сказано, что мы будем работать еще только одну смену, а потом, если нам не привезут горячей пищи, прекратим.

Лагерная администрация воспринимала требования заключенных как политические. «Сегодня они хотят, чтобы из зоны удалили блатных, а завтра, чего доброго, потребуют улучшения условий труда и жизни», — такова, вероятно, была их логика. Впрочем, и сами зека смотрели на происходившее как на известную пробу сил и подготовку к неизбежным конфликтам в будущем.

Вечером положение начальства осложнилось. Все бригады, работавшие в лесу, в ремонтно-механических мастерских и в других местах за пределами лесопильного завода, после окончания рабочего дня отказались возвращаться в жилую зону и, несмотря на энергичные угрозы конвоя, двинулись к нам на завод. Конвой укладывал зека на снег и посылал над их головами длинные очереди из автоматов, но стрелять в толпу не решался и в

конце концов вынужден был отвести их в заводскую зону. К ночи на территорию завода перебрались практически все работающие зека, а в жилой зоне, кроме уголовников, осталась лишь лагерная обслуга.

Опасаясь, что мы прекратим работу, начальство распорядилось прислать на завод несколько бачков с жидкой кашей и хлеб. Ночная смена приступила к работе, а дневная устроилась на ночлег, кто где смог.

Между тем мятежники готовились к борьбе. В механических мастерских завода, распиливая металлические трубы и затачивая их концы, делали нечто вроде пик, сабель и кинжалов, а в столярной мастерской для всего этого оружия изготавливали рукоятки. Нам было известно, что в других лагерях при аналогичных обстоятельствах администрация жестоко расправлялась с заключенными. Однако чувство безнадежности, которое мы испытывали после бериевской амнистии, почти не затронувшей пятьдесят восьмую статью, побуждало всех нас попытаться напомнить о себе вершителям наших судеб. Хотя будущее, разумеется, не рисовалось нам в радужных красках, настроение было бодрое.

На исходе третьих суток, зная, сколь болезненно лагерное начальство относится к остановке производства, забастовщики решили усилить на него нажим и предупредили, что, если в ближайшие двадцать четыре часа требования зека не будут удовлетворены, работа на заводе прекратится. Это мотивировалось тем, что трудиться без нормального сна, при скудном и случайном питании невозможно.

Администрация оказалась в сложной ситуации. Положение осложнялось еще и тем, что бунтовщики находились не в жилой зоне, а на территории завода, на которой был расположен ряд промышленных объектов и цехов: лесопильный цех, электростанция, питающая электроэнергией весь поселок, ремонтные мастерские, шпалорезка, гаражи с машинами и лесовозами, мебельное предприятие, большая лесобиржа, где были уложены в штабеля многие тысячи кубометров разнообразных пиломатериалов, проходивших воздушную сушку, и многое другое, что в случае вооруженного вторжения охраны могло сильно пострадать. Вместе с тем администрация понимала, что усмирение бунтовщиков, немислимое без кровавой бойни, могло иметь неприятные для нее последствия. Москва в таких случаях часто наказывала лагерное начальство, разумеется, не за человеческие жертвы, а за то, что «были допущены незаконные действия заключенных, повлекшие за собой ущерб для производства». Могли последовать понижения в должностях, увольнения на пенсию и другие неприятности.

Существенную роль играло также и то, что события разыгрывались уже после смерти Сталина и ареста Берии и его ближайших сподвижников. Было не вполне ясно, как посмотрит на жесткие меры против бунтовщиков Москва. Но, с другой стороны, потакать зека и исполнять их требования начальство не хотело, это противоречило всей традиции Архипелага, незыблемым принципам, на которых многие десятилетия держалась лагерная система. Видимо, ни управление лагерями в Архангельске, ни Москва четких указаний не давали.

Тогда Карабицын, вероятно, первый раз в жизни решил стать на путь дипломатии. Одному Богу известно, сколько горьких минут пришлось ему пережить. Нашему «ЦК», как иногда в шутку мы называли руководителей забастовки, намекнули через посредников, что при некоторых условиях конфликт может быть разрешен. Между бунтовщиками и лагерным начальством состоялось как бы молчаливое соглашение: нам было разрешено возвратиться в жилую зону без обычного досмотра на вахте и самим расправиться с уголовниками. Начальство умывало руки.

И вот поздно ночью в сорокапятиградусный мороз огромная, более чем тысячная толпа усталых от бессонных ночей, голодных и озлобленных людей, вооруженных самодельными

пиками и кинжалами, которые для проформы прятали под бушлатами, двинулась в зону, окруженная со всех сторон автоматчиками с собаками. Для усиления конвоя из глубинки прибыла специальная рота.

Почти все зека имели за плечами опыт войны. Тут были бывшие военнослужащие разных рангов, что-то кому-то сказавшие и осужденные за антисоветскую агитацию, солдаты и офицеры, попавшие в окружение, вышедшие из него или оказавшиеся в плену в немецких лагерях и осужденные за измену родине, бывшие советские партизаны, власовцы, воевавшие сперва в советской, а потом в немецкой армии, украинские, белорусские, польские, молдавские, эстонские, латышские, литовские и другие националисты или «зеленые партизаны», жители оккупированных немцами территорий, сотрудничавшие или вовсе не сотрудничавшие с оккупантами, реально служившие у немцев полицаи, люди, прошедшие немецкие лагеря смерти или побывавшие в режимных лагерях нашего Дальнего Севера. Предыстории у зека были самые разные. Я помню одного бывшего офицера эстонской армии, который во время финской войны 1940 года по льду перешел из Эстонии в Финляндию, чтобы воевать добровольцем в финской армии, а после подписания мира был выдан Советскому Союзу финскими властями и получил у нас большой срок за измену родине, не ясно только, какой. Но в тот момент всю эту пеструю массу объединяло стремление покончить с произволом уголовников и создать на ОЛПе приемлемые условия жизни.

На территории нашей жилой зоны находился центральный лазарет, куда со всего Каргопольлага привозили больных и получивших травму на лесоповале заключенных. Это был длинный узкий барак, в котором в те дни находилось более полусотни больных. Здесь-то и укрепились уголовники, понимавшие, что они не в состоянии вести с политиками полевую войну. Они надеялись, что администрация не пойдет на уступки политическим, и стремились выиграть время. Разумеется, они были вооружены не хуже нас.

Войдя в зону, зека быстро организовались. Офицерского состава среди нас было более чем достаточно, и все понимали, как надо действовать. Создали штурмовые группы, которые плотным кольцом окружили лазарет. Наши электрики притащили большие лампы и ярко осветили все пространство перед лазаретом. Буквально через десять-пятнадцать минут все приготовления к штурму были закончены и блатным был предъявлен ультиматум: они должны добровольно уйти на вахту и покинуть зону. В противном случае их ожидала расплата. Предстоял нелегкий бой. Узкие двери, окна и коридоры лазарета облегчали оборону. Задача осложнялась еще и тем, что в палатах лежали больные и увечные, которых в темноте невозможно будет отличить от укрывшихся в бараке и уберечь.

Архангельская зима страшна не только морозами, но и ветрами, обычно дующими с океана. Однако эта ночь, хотя и безветренная, была особенно холодна. Термометр у входа в лазарет показывал сорок пять градусов. Небо было чистое и все усыпано звездами. Усталые, плохо одетые, голодные и промерзшие зека неподвижно стояли вокруг лазарета, ожидая команды.

Неписанный кодекс чести блатных требует от них проявления доблести и пренебрежительного отношения к смерти. Составляя в лагере среди мужиков меньшинство, они, дабы держать заключенных в повиновении и сохранять свои привилегии, должны всегда производить впечатление людей сильных, бесстрашных и беспощадных, готовых идти до конца. Но сейчас, увидав через окно барака мрачную и грозную массу политиков, они не выстояли и заявили, что готовы покинуть зону. Еще не вполне веря в свою победу, мы выстроились в две шеренги, образовав коридор, по которому уголовники двинулись на вахту под улюлюканье и свист тех самых мужиков, которых они еще вчера так лихо третировали и презирали. У вахты их подхватил конвой и повел на какой-то лесоповальный ОЛП. Ходили слухи, что тамошние блатные учинили над блатными из нашей зоны суд и расправу и даже кое-кого убили за проявленное малодушие, компрометирующее всю воровскую корпорацию, и за сдачу без боя комендантского ОЛПа с лазаретом.

На следующий день, желая подчеркнуть лояльность к власти, выполнившей свои обещания, дневная смена, несмотря на бессонную ночь, в положенное время собралась у вахты и вышла на работу. А надзор, отправив все рабочие бригады за зону, начал повальный обыск, который длился с перерывами несколько дней подряд. Искали всюду и везде, только что бараки не ломали, пока полностью не очистили зону от самодельного оружия и от всех колющих и режущих металлических предметов.

Наконец в лагере воцарилось спокойствие. Прекратились террор уголовников и воровство. «Можно сто рублей положить на нары, и никто не возьмет», — удовлетворенно говорили уставшие от произвола работяги. Всей внутрилагерной жизнью на ОЛПе стало управлять родившееся в ходе забастовки «правительство», которое теперь вышло из подполья. Была создана специальная полиция, наблюдавшая за порядком и выходявшая на вахту в момент прибытия новых этапов. Всех, у кого на руках обнаруживали блатные наколки, выгоняли из зоны. Изгоняли и выявленных стукачей. Одного ленинградского интеллигента, заподозренного в связях с надзором, вызвали на ковер и подвергли строгому допросу. Впрочем, он, кажется, доказал свою невиновность.

Я помню, как однажды поздно вечером в барак, где я жил, ввалилась компания, человек пять, лица которых были до неузнаваемости разрисованы углем. Они стащили с нар одного зека и стали его избивать. Я вмешался, пытаюсь его защитить, и тоже получил по физиономии. Утром я обратился к одному из наших новых главарей и выразил свое возмущение: «Что ж, опять те же порядки, как при блатных!» Мне объяснили, в чем заключалась вина пострадавшего. Это был двадцатипятилетний, осужденный за дезертирство из армии на территории Польши и работавший на продовольственной базе в поселке. Дабы удержаться на блатной работенке (ему как двадцатипятилетнику это было не положено), он докладывал вольному заведующему базы о всех случаях, когда зека брали оттуда продукты. Ведь, как известно, всякая мораль обусловлена! Казалось, в зоне установился более или менее приемлемый для жизни режим. Но вскоре начались новые серьезные осложнения.

Как я уже говорил, контингент людей, осужденных по пятьдесят восьмой статье, был достаточно пестрым. Среди нас были и такие, которые действительно совершали в военное время на оккупированной немцами территории серьезные преступления: убивали, грабили, выдавали немцам партизан, служили полицаями. Они не могли рассчитывать на благоприятный для них пересмотр дел и потому стремились обострить ситуацию. Одним из величайших преступлений режима было заключение в тюрьму наравне и без разбора реально виновных и полностью безвинных. К тому же среди руководителей отдельных групп, особенно национальных курий, часто попадались люди амбициозные, претендовавшие на большую власть внутри зоны. Начались конфликты, иногда выливавшиеся в столкновения. Дабы оградить главу лагерной республики от возможных покушений на его жизнь, была создана специальная охрана из пяти человек, дежуривших возле лидера день и ночь. Для этого их сумели освободить от работы. Словом, развернулась некая пародия на борьбу за власть в государстве, в котором бездействует закон, отсутствуют правовые нормы и выборность. С каждым днем кризис назревал все явственнее и в конце концов достиг своей трагической кульминации.

Главой «внутреннего правительства» был эстонец, а наибольшие претензии, как бы мы ныне сказали, экстремистского характера предъявляли украинские националисты, требовавшие радикальных действий. Наши руководители из Прибалтики реально смотрели на вещи и понимали, что лагерные выступления не изменят порядка в стране, но, наоборот, могут дать начальству основание для ликвидации отвоєванных нами прав. К тому же ходили слухи, что администрация хочет уничтожить внутрилагерное самоуправление, ищет лишь повода и для этого намерена этапировать часть политических в другие лагеря, заменив их уголовниками, которые через весьма короткий промежуток времени после амнистии в большом числе стали возвращаться в места заключения.

И вот однажды во время какого-то спора пьяный бандит кинулся с ножом на лагерного лидера. Попытавшийся его заслонить литовец-охранник был тяжело ранен ножом и на следующий день умер. Присутствовавшие при этом инциденте зека бросились избивать убийцу, которого едва удалось спасти, взывая к благоразумию и объясняя, что это второе убийство может послужить поводом для разгрома нашего самоуправления.

Заупокойный обряд по убитому охраннику продолжался всю ночь, вел его литовский католический священник. Зека были потрясены, однако и после этого, несмотря на всеобщее осуждение убийцы, внутрилагер-ная борьба за власть не прекращалась. Рано или поздно она должна была ослабить самооборону политических. Так и получилось. В лагерь стали под разными предлогами проникать блатные. Однажды днем, когда основная масса заключенных находилась на работе, группа уголовников под видом больных прибыла на ОЛП в лазарет. В схватке с подвернувшимися им под руку обитателями ОЛПа уголовники проломили головы двум «полицейским» и на несколько часов захватили лазаретный барак.

Трудно сказать, чем бы окончилась война с уголовниками в дальнейшем, если бы не начавшееся массовое освобождение политических, изменившее всю ситуацию. В феврале 1955 года я и сам освободился. Мне рассказывали потом, что борьба в каких-то формах продолжалась и завершилась лишь после освобождения большинства политических и перевода оставшихся в специальные лагеря.

В пестрой лагерной массе с разнонаправленными, порой взаимоисключающими интересами и целями конфликт — дело естественное. Но если в нормально функционирующем общественном организме взаимоотношения между различными группами регулируются конституцией и законами, то в условиях лагеря, разумеется, этого не было, что и привело к трагическим последствиям и распаду сложившегося на короткое время пестрого социума.

С тех пор прошло много лет, но я часто мысленно возвращаюсь к зиме 1953–1954 годов. Я ощущаю ночную стужу, вижу молчаливую мрачную толпу людей, окруживших лагерный лазарет, вспоминаю и ссорящиеся между собой национальные группы и борющихся за власть лидеров... События прошлого, казалось бы, в общем потоке истории незначительные, многому меня научили и неоднократно помогали и помогают в понимании и оценке различных явлений общественной жизни, на которые я невольно проецирую свой лагерный опыт. Как и все экстремальные ситуации, он оставляет после себя, может быть, жесткую, но четкую систему ценностей.

Это горькое слово "свобода"

Я откровенно радовался смерти Сталина. Был убежден, что теперь в стране произойдут большие перемены. Однако мои надежды разделяли далеко не все зека. Многие лагерные мудрецы были настроены мрачно, полагали, что к власти придет Маленков, которого считали одним из главных палачей, и все пойдет по-старому, а то и хуже. Вспоминали его роль в организации ленинградских процессов пятидесятых годов и многое другое. Оптимистично смотрел на будущее лишь один из моих соллагерников — человек простой, но со здравым смыслом, бывший директор какого-то ленинградского магазина. Он бежал из немецкого плена, где пробыл всего один месяц, вышел к Советской Армии, воевал, а после войны был осужден за сотрудничество с врагом на десять лет. В первый же день после смерти Сталина он мне сказал:

— Теперь они его заколотят в гроб, отпоют и начнут крутить колесо в другую сторону. Ведь не может же страна вечно существовать, держа за колючей проволокой пятнадцать миллионов человек!

Хотя в принципе мой собеседник оказался прав, он ошибся в сроках. В России все делается небыстро.

Поначалу все говорило, что для оптимизма нет больших оснований. Хотя реабилитировали «врачей-убийц» и прошла широкая амнистия уголовникам, в результате которой на волю вышли целые банды воров и бандитов, мы, политики, как сидели, так и продолжали сидеть. Из нашего лагеря вышло на волю лишь несколько человек, осужденных по пятьдесят восьмой статье на срок до пяти лет.

Позднее, с приходом к власти Хрущева, было принято решение начать разгрузку тюрем и лагерей, но так, чтобы не нанести ущерба производству. Таким образом, и при Хрущеве действовало старое правило — пусть лучше невинные люди будут в заключении, лишь бы крутилась производственная машина. Таковы были представления у руководителей первого в истории социалистического государства о ценности человеческой жизни!

За все годы моего заключения я не припоминаю случая, чтобы на волю по прекращении дела вышел хоть один из осужденных по пятьдесят восьмой статье. Все сидели от звонка до звонка, а после окончания срока либо отправлялись в вечную ссылку, либо получали право жить лишь в отдаленных от больших городов районах. Кое-кого из политических выпустили в конце 1953 года, но реально мы ощутили перемены лишь в 1954-м. Я помню, как лагерь облетела весть, что некий Софронов, сидевший по статье пятьдесят восемь, один Б (был в плену), выходит на свободу с полной реабилитацией. Добрая половина обитателей лагеря набилась в тесный барак, чтобы посмотреть на счастливого. Софронов сидел на нарах и тупо смотрел по сторонам, силясь понять и осмыслить происходящее. Дня через два — новое сообщение: два двадцатипятилетника, литовца, освобождаются «по чистой», то есть по прекращении дела. После этого каждые несколько дней одному-двум лагерникам сообщалось о благоприятном пересмотре их дел. Освобождение безвинно осужденных людей растянулось почти на три года.

За все годы заключения я не написал ни одной жалобы. Все, что я думал и что сказал, что было признано клеветническими измышлениями и за что мне дали столь большой срок, было истинной правдой, и я не намерен был просить прощения. Впрочем, я хорошо понимал, что это было бы и бесполезно. Прошение о пересмотре моего дела отец написал по собственной инициативе.

Последний год в лагере я работал на погрузке. Однажды на завод позвонил кто-то из жилой зоны, кажется, нарядчик, и сообщил, что один заключенный из нашей бригады на следующий день идет на освобождение. Заведующий погрузкой почему-то решил, что речь идет обо мне, и начал меня поздравлять. Я отнесся к сообщению с недоверием. И действительно, как выяснилось на следующий день, речь шла о ком-то другом.

— Моисеич, не тушуйся, — сказал мне работяга из нашей бригады, как все старые лагерники, суеверный, — тебя дернули, это примета, теперь вскорости освободят.

Спустя месяц, возвращаясь в зону после тяжелой погрузки поздно вечером и проходя мимо барака управления, я вдруг отчетливо услышал свою фамилию. До сих пор для меня остается загадкой, как это могло получиться. Стояла зима, все окна в конторе были тщательно заделаны, и услышать с улицы сказанные в помещении слова было решительно невозможно. Это была какая-то сверхъестественная интуиция.

Перескакивая через ступеньки, я вбегаю в контору, поднимаюсь на второй этаж и влетаю в комнату, где сидит дежурный офицер. Он разговаривает по телефону и, увидев меня, орет:

— Чего надо? Вон отсюда!

— Что с Филипптинским? — не контролируя себя, ору я в ответ еще громче.

Услышав мою фамилию, офицер некоторое время молчит, а потом уже другим голосом говорит:

— Телефонограмма из лагерного управления. Будем тебя готовить завтра на освобождение.

В эту ночь я плохо сплю и нахожусь во власти какого-то странного чувства. Это не радость, а какая-то поднимающаяся из глубины и все растущая горечь. Я пропускаю через сознание все бессмысленно прошедшие в лагере годы: тяжелую, порой непосильную работу, оскорбления, мат надзора, конвоя и солагерников, голод и холод. Теперь этот чиновник, капитан, сообщает мне, что завтра меня будут готовить на освобождение. Благодарствую!

Утром меня фотографируют во всей моей зековской амуниции, я обхожу с бегунком зону (администрация должна быть уверена, что я не унесу лагерное имущество: ботинки, бушлат или валенки). Оказывается, за все годы заключения я так и не сумел заработать на всю эту одежку! Принимая от меня лагерные тряпки, добрый каптерщик, зека, сидящий по пятьдесят восьмой статье, сует мне пару нового белья, и у меня образуется узелок килограмма на полтора — это все имущество, которое я накопил за шесть лет, перевоспитываясь трудом. Я получаю в бухгалтерии накопившиеся на моем лицевом счету за все отсиженные годы деньги. Частично это остаток тех денег, которые иногда присылал мне отец и которые мне на руки не выдавали, а частично — «от начальничка». Беспокоясь о моей после лагерной судьбе, бухгалтерия лагеря ежемесячно вычитала из моей грошовой зарплаты некий процент «в фонд освобождения», и вот теперь я — счастливый обладатель огромного, по моим понятиям, капитала в размере шестисот с лишним рублей «старыми деньгами».

Во второй половине дня я наконец получаю справку об освобождении и выхожу на вахту. Как выясняется, я не реабилитирован. С меня снято обвинение по пятьдесят восьмой статье, но... статью переклассифицировали на другую — пятьдесят девятую, пункт семь, по которой полагается срок до двух лет. Таким образом, я подпадаю под амнистию. Вообще-то пятьдесят девятая статья посвящена таким преступлениям, как бандитизм, а в особом, седьмом пункте речь идет о наказании за разжигание национальной вражды. Веселенькое дело! Я никогда, ни в лагере, ни на воле, не встречал человека, осужденного по этой статье. Уж и не знаю, за что мне выпала такая особая честь. Но стоила мне эта статья почти двухлетней борьбы уже на воле за полную реабилитацию, которой я добился лишь в 1957 году.

Предстоит получить «имущество», изъятое у меня в Москве в момент ареста, и я отправляюсь в спецчасть лагеря. Изучив мой документ об освобождении, молодая женщина выдает мне два диплома, справку о защите в МГУ диссертации, медали и еще какую-то мелочь.

— А пояс от брюк и шнурки от ботинок, изъятые у меня в момент ареста, где? — с трудом владея собой, иступленно и злобно кричу я.

Женщина смотрит на меня со страхом, видно, соображая, не сумасшедший ли я, и, запинаясь, говорит:

— Это все, что нам шесть лет тому назад прислали из Лефортовской тюрьмы.

Я забираю свое имущество и выхожу из спецчасти. Мне стыдно за мой нелепый срыв. Ведь эта молодая девчонка в каптерке в моей судьбе и вовсе не виновата.

До отхода московского поезда остается еще много часов, и я захожу перекусить в местную

столовую. Перед окошком раздатчицы я капризничаю и качаю права: почему все холодное? Можно подумать, что до этого дня я обедал только в московском «Метрополе». Раздатчица с любопытством на меня смотрит: по характеру речи я вроде бы не из блатных и даже не из приблатненных. Ей понятно мое состояние — за годы работы она видела немало выходящих на волю зека.

— Освободился?

— Два часа тому назад.

— Я и сама психовала, когда освободилась. Это пройдет, — говорит она и накладывает мне полную миску гуляша.

Я ем не торопясь, чтобы полностью оценить вкусовые достоинства вольного блюда.

На дворе февраль, а у меня на голове рваная лагерная шапка-ушанка. Возникает желание принарядиться. Захожу в местный универмаг и за пять рублей покупаю какую-то шапку из собачьего меха, предварительно долго примеряя ее перед зеркалом. Шапка по качеству не лучше лагерной, но все же другая.

Теперь, наконец, я могу отправиться на станцию за билетами. Вообще-то, по правилам мне надлежит получить паспорт в местном районном центре, но я принимаю решение ехать прямо в Москву. На станции я вижу нескольких знакомых уголовников, также освободившихся сегодня из нашего лагеря. Они уже под хмельком, и мне не очень хочется ехать с ними в одном вагоне. Я покупаю купейный билет, надеясь таким образом избежать ненужных встреч. Отходя от кассы, я замечаю человека, который пристально на меня смотрит. Это представитель какого-то латвийского предприятия, приехавший в лагерь за пиломатериалами. Накануне во время погрузки, он видел меня и уловил из разговора, что мне еще сидеть и сидеть. Он, видимо, думает, что я собрался в побег. Мне это кажется забавным, и я не делаю попыток рассеять его заблуждение.

На станции я встречаю знакомую женщину, бывшую лагерницу, отсидевшую срок, вышедшую замуж за бывшего лагерника и работающую в поселке. Она едет в отпуск в Москву, к отцу. Мы улавливаемся, что в дороге она навестит меня в вагоне.

Но вот, наконец, должен прибыть поезд Воркута — Москва. На станцию прибегает меня проводить мой друг Иван Андреевич Бондин. Все эти годы мы проработали вместе на заводе, и он только что вместо меня провел очередную погрузку. Подходит поезд, и мы обнимаемся на прощание. «Жду тебя с последней почтой», — говорю я, повторяя слова персонажа из рассказа Джека Лондона.

Поезд трогается. Я смотрю в окно. Позади остаются леса и болота Архангельской области, конвои и собаки, барачная духота, лесопилка, бесконечные бревна и доски. Прощай, Ерцево. Шесть лет молодой загубленной жизни. Но я выстоял и еще жив, жив!

Однако приключения мои не кончились. Я захожу в купе и вижу знакомые форменные кителя и фуражки с розовыми кантами. Три офицера из дальних лагерей. Они смотрят на меня враждебно и настороженно. Мой вид не вызывает у них сомнения — освободившийся лагерник. Я ругаю себя за мысль ехать в купейном вагоне, кидаю узелок на верхнюю полку и выхожу в коридор. Из соседнего вагона приходит моя знакомая, и я шепотом сообщаю ей о неудаче со спутниками. Она уходит. Я стою у окна и курю. Проходит минут пять, и вдруг открывается дверь вагона и появляется компания моих солагерников. Приятельница по глупости сказала им, что я еду в одном купе с лагерными охранниками и меня обижают. Ребята крепко выпили и рады всякому поводу учинить драку с ненавистными начальничками, а тут такой отличный повод.

У меня мелькает мысль: ребята устроят дебош, кого-либо отколотят или даже изувечат, и я снова попаду в лагерь, на этот раз как инициатор хулиганской выходки. Я умоляю непрошенных защитников: «Ребята, меня никто не обижает!» После долгих уговоров мои разочарованные дружки удаляются. Я с облегчением вздыхаю, вхожу в купе, залезаю на полку и ухожу в свои мысли. Впереди меня ждут заботы, заботы.

Освободившийся за год до меня мой друг М. прислал в лагерь письмо, в котором с суровой прямотой сообщал по пунктам всю правду: мать вскоре после моего ареста умерла от непонятной болезни, скорее всего, просто от горя, жена вышла замуж и родила от нового мужа ребенка, ВАК лишил меня ученой степени, устроиться нашему брату в Москве нелегко, и он все еще обивает пороги разных учреждений в поисках работы. Письмо кончалось словами: «Скорее приезжай, будешь сам улаживать свои дела». «Ничего себе, дела!» — думаю я.

В Москве я схожу с поезда и беру такси, не хочется в лагерной телогрейке щеголять в городе.

— Освободился? — спрашивает водитель.

— А что, видно? — отвечаю я вопросом на вопрос.

— Каждый день вожу с вокзала вашего брата, — смеется он.

На радостях я отваливаю ему от своих богатств двойную плату.

Мое появление в коммунальной квартире вызывает сенсацию. Соседские девочки за годы моего отсутствия выросли. Они затаскивают меня к себе в комнату и кормят. Кто-то бежит искать отца.

Начинаю привыкать к московской жизни. Все вокруг такие вежливые. В троллейбусе какая-то женщина говорит мне: «Передайте, пожалуйста, на билет», — и хотя эта формула стилистически не безупречна, я с благодарностью спешу выполнить просьбу. Я слышу на улице мат и воспринимаю его как младенческий лепет или как мирную беседу воспитанных девиц. На погрузке не так ругались! Я оказываюсь свидетелем драки. Все расходятся живы и здоровы. Почему-то вспоминаю первый день в лагере и столкновение с уголовником, обещавшим высадить мне гвоздем глаз, если я не буду дергать за него на сортплощадке доски. Смотрю на шагающих по улице людей, и мне все время кажется, что я ношу какую-то неведомую им тайну. Когда я встречаю в компании бывших зека, мы улыбаемся друг другу со значением. Мы — что-то вроде масонского ордена и храним особые секреты, в которые другие не посвящены. Да и что они могут понимать в наших былых и нынешних заботах?

Мне нужно прописаться в Москве, и я отправляюсь в милицию. Паспортистка с подозрением смотрит на мою справку об освобождении. Ведь у меня бандитская статья! Правда, я амнистирован, но все же...

Она отправляет меня за разрешением на прописку к начальнику уголовного розыска. Открывается железное окошко, кто-то берет мои документы и опускает железный намордник, почти такой же, какие были в Лефортовской тюрьме. Проходит минут десять, окошко вновь открывается, из него высовывается голова высокого милицейского чина. Он с любопытством на меня смотрит — я не его клиент, однако ему интересно взглянуть на человека, который кого-то когда-то обозвал жидовской мордой. Теперь за подобные преступления никого не наказывают, а раньше за него или за подобные ему давали эту статью. Но статья эта, вроде бы, ко мне не подходит.

Я начинаю хлопотать о реабилитации и об устройстве на работу. Я готов на любую: библиотекарем в районную библиотеку, корректором в типографию, учителем, ночным

дежурным в больнице. Все безуспешно. Чиновная дама, директор Издательства иностранных словарей, слывущая за человека интеллигентного и либералку, в оскорбительной форме отказав мне в работе, предлагает из милости записать мой телефон «на всякий случай». Но у меня ведь, собственно, нет телефона.

— Не трудитесь, — говорю я, — ведь выражение «я запишу телефон» — обычный прием для вежливого отказа.

— Как угодно, — надменно отвечает дама-патронесса. Начинается изнурительная война с ВАКом. Беседу с ученым секретарем этой организации.

— Вы же занимаетесь наукой, — говорит он, — неужели вы не понимаете, что за шесть лет наука ушла вперед и ваши разработки устарели? Вот и пишите новую диссертацию!

— А вы, что ж, каждые шесть лет лишаете степени всех, кто когда-то защитил диссертацию, на том основании, что их разработки устарели? — парирую я.

Но находится человек, который проявляет ко мне доброе отношение, — это директор Библиотеки иностранной литературы Маргарита Ивановна Рудомино. Сколько бывших лагерников приютила она в стенах библиотеки, сколько приняла на работу изгнанных из разных научных учреждений менделистов-морганистов, генетиков, безродных космополитов и других страшных преступников, превратив таким образом библиотеку в одно из самых культурных и в научном отношении представительных учреждений Москвы. Спасибо ей за это! Меня берут в библиотеку на временную работу, каждые два месяца приказом отчисляют и тут же новым приказом зачисляют. Так я работаю почти два года. Платят мне шестьсот рублей старыми деньгами, а в обязанности мои входит писать аннотации на книги по философии и психологии. Каждое утро мне на стол наваливают два десятка книг на всех языках (кроме венгерского и финского — для них имеются специальные референты), и я читаю, читаю. Сколько там интересного для меня, изголодавшегося по живому слову! Многие годы психология была фактически под запретом как наука буржуазная, и такие ее области, как социальная психология, национальная психология, бихевиоризм (теория поведения), экспериментальная психология, считались лженаучными, выдумкой буржуазных идеологов и расистов, а книги по этим разделам знаний отправлялись в спецхран. Теперь их извлекали на свет Божий, и я пишу на них аннотации, хотя потребителей этой литературы пока что мало.

И вот однажды меня вызывает Рудомино: пришел какой-то докторант по социальной психологии из закрытого института, и надо показать ему наши фонды. Я радостно бегу его встречать, показываю свои картотеки, увлеченно говорю о каждой книге. Докторант молчит.

— Простите, — говорю я извиняющимся голосом, — может быть, все эти книги вам давно известны. К сожалению, это все, чем библиотека располагает.

— Нет, — говорит мне будущий доктор наук голосом, в котором не чувствуется смущения, — я не владею иностранными языками.

Я в недоумении.

— Как же вы будете работать над темой?

— Ну, — говорит он спокойно, — мне там все, что надо, переведут.

Как и начальники в лагере, он привык жить за счет чужого труда.

Постепенно жизнь налаживается, меня наконец реабилитируют. Те же люди, которые однажды дали моей диссертации положительную характеристику, а затем, когда меня арестовали, ту же самую диссертацию оценили отрицательно, ныне, в новых условиях,

подтвердили свой первоначальный положительный отзыв, и мне возвращают степень. Судьба сводит меня с моей будущей женой. Отходит злость, и ко мне возвращается присущее мне от природы благодушие. Но я гоню его от себя прочь. Я не имею права так легко и просто забыть о доносчиках, о мучивших меня во время ночных допросов следователях, о лагерных надзирателях, о чиновниках, отказывавших мне после освобождения в работе. Кто из них хитрый мерзавец, использующий свое служебное положение в корыстных целях, а кто — оболваненный идиот, ломавший жизнь людям, но для себя не извлекавший из этого занятия большой пользы? Я еще не знаю, что и в моей последующей жизни подобным людям суждено будет сыграть немалую роль. Я не люблю, когда бывшие зека, из числа тех, кому не пришлось хлебнуть тяжкого лагерного труда, говорят, что в лагере было неплохо, они там читали, занимались языками и общались с себе подобными интеллектуалами. Это лишь свидетельствует об их душевной сухости и моральной ущербности. Мне повезло. Я вернулся из лагеря живым и сравнительно здоровым, но я не имею права забывать о тех, кому там сломали жизнь. Может быть, поэтому я так часто возвращаюсь мыслью на станцию Ерцево, через которую шли поезда на Воркуту, в Инту и в другие лагеря Дальнего Севера и вижу бесконечную череду товарных составов с мощными прожекторами на крышах и по бокам, которые несколько раз за ночь, грохоча и пылая, подобно огненному вихрю, проносятся мимо нашей станции, унося с собой тысячи человеческих жизней.

Фильштинский Исаак Моисеевич (р.1918) востоковед

1918, 7 октября. — Родился в Харькове. Отец — Моисей Исаакович Фильштинский, инженер.

1920. — Переезд семьи в Москву.

1941. — Окончание исторического факультета ИФЛИ. Призыв в армию и направление на военный факультет Института востоковедения.

1940-е гг. — Преподавание в Военном институте иностранных языков (б. Институт востоковедения).

1949, 7 апреля. — Арест в Москве.

1949, апрель — конец года. — Следствие в Лубянской и Лефортовской тюрьмах. Приговор: 10 лет ИТЛ (ст. 58–10).

1949, конец года — 1955, январь. — Каргопольлаг (Архангельская область). Администрация. Уголовники и «политики». Состав осуждённых по 58-й статье. Женщины в лагере. Быт, нравы, «порядки». Работа на лесопильном заводе и лесобирже (нормировщик, бракер). Окололагерная среда. Побег из лагеря. Судьба сына лидера обновленчества А.И.Введенского. «Добровольная» подписка заключённых на государственный заём. Национальный вопрос в лагере.

Осужденный по 58-й статье Я.Т. Рокотов. Встречи с ним в лагере и на воле, его реабилитация, последующее осуждение и расстрел.

1953, зима — 1954. — Забастовка в Каргопольлаге с требованием удалить уголовников из жилой зоны. Начальник лагеря М.В.Коробицын. Создание «лагерного правительства» из заключённых. Изменения в жизни лагеря после 1953. Судьбы заключённых.

Известия о смерти матери; уходе жены; о лишении ученой степени.

1955, февраль. — Пересмотр дела И.М. Фильштинского. Переквалификация статьи 58–10 на статью 59-7 («разжигание национальной вражды») и освобождение по амнистии.

1955, 19 февраля — 1957 (?). — Возвращение в Москву. Поиски работы. Поступление в Библиотеку иностранной литературы. Директор библиотеки Маргарита Ивановна Рудомино.

1957. — Реабилитация. Возвращение учёной степени.

1958–1978. — Работа в Институте востоковедения АН СССР.

Участие в правозащитной кампании 1968 г. Отстранение от преподавательской работы в Московском университете. Обыск на квартире (с изъятием самиздатской литературы). Увольнение из Института (1978).

1989–1990-е гг. — Написание книги воспоминаний.

С 1992. — Педагогическая деятельность в Московском государственном университете. Профессор, доктор наук.

Краткая библиография работ И. М. Фильштинского

Фильштинский И. М. История арабской литературы (V— начало X века). М.: Наука, 1985. 524 с.

Фильштинский И. М. История арабской литературы (X–XVIII веков). М.: Наука, 1991. 724 с.

Фильштинский И. М. Арабская литература в средние века. Словесное искусство арабов в древности и раннем средневековье. М.: Наука, 1977. 290 с.

Фильштинский И. М. Арабская литература в средние века. VIII–IX вв. М.: Наука, 1978. 285 с.

Фильштинский И. М. Арабская классическая литература. М.: Наука, 1965. 310 с.

Фильштинский И. М., Шидфар Б. Я. Очерк арабо-мусульманской культуры. М.: Наука, 1971. 256 с.

Жизнь и подвиги Антары: Средневековый народный роман/ Пер. с араб. И. М. Фильштинского и Б. Я. Шидфар; Вступ. ст. И. М. Фильштинского. М.: Наука, 1968. 454 с.

Жизнеописание Сайфа, сына царя Зу Язана: Средневековый народный роман/Пер. с араб. И. М. Фильштинского и Б. Я. Шидфар;

Вступ. ст. И. М. Фильштинского. М.: Наука, 1975. 604 с.

Абу-ль-Аля аль-Маари. Стихотворения/Пер. с араб. А. А. Тарковского; Вступ. ст., примеч., подстрочный пер. И. М. Фильштинского. М.: Худож. лит., 1979. 183 с.

Из классической арабской поэзии/Пер. с араб. С. В. Шервинско-го; Вступ. ст., примеч., подстрочный пер. И. М. Фильштинского. М.: Худож. лит., 1979. 317 с.

Ибн-Туфейль. Повесть о Хайе ибн Якзане/Пер. с араб. И. П. Кузмина; Вступ. ст., коммент. и науч. подготовка текста И. М. Фильштинского. М.: Худож. лит., 1978. 149 с.

Абу ар-Рахман аль-Джабарти. Египет периода экспедиции Бонапарта (1798–1801)/Пер. с араб., предисл., примеч. И. М. Фильштинского. М.: Наука, 1985. 540 с.

Абу Али аль-Мухассин ад-Танухи. Занимательные истории и примечательные события из рассказов собеседников/Пер. с араб., предисл., примеч. И. М. Фильштинского. М.: Наука, 1985. 311 с.

Арабская поэзия средних веков/Сост., предисл., примеч. И. М. Фильштинского. М.: Худож.

лит., 1975. 768 с. (Б-ка всемир. лит.; Т. 20),

Маджун. Стихи о Лейле/Пер, с араб. Е. Елисеева; Вступ. ст., подстрочный пер., примеч. И. М. Фильштинского. М.: Худож. лит., 1984. 158 с.

Тысяча и одна ночь: Избранные сказки/Пер, с араб. М. А. Са-лье; Вступ. ст., примеч. И. М. Фильштинского. М.: Худож. лит., 1983. 540 с.

Избранные сказки, рассказы и повести из «Тысячи и одной ночи»:

В 5 т./Сост, вступ. ст., примеч. И. М. Фильштинского. М.: Правда, 1986–1989. Т. I. 605 с.; Т. II. 606 с.; Т. III. 637 с.; Т. IV. 636 с.; Т. V. 588 с.